ГОСТИНЫЙ ДВОР

Литературно-художественный и общественно-политический альманах
Издаётся с 1995 года

Издание осуществлено на средства
Правительства Оренбургской области



Оренбург
2015

«Гостиный Двор» № 50, май 2015
Альманах

Учредители:
Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, Оренбургская областная общественная писательская организация, областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова

Главный редактор Н.Ю. Кожевникова

Редакционный общественный совет:
председатель – **Е.В. Шевченко, министр культуры и внешних связей Оренбургской области**

Д.Е. Кан (Новокуйбышевск)
П.Н. Краснов
В.Н. Кузнецов
В.А. Лабузов
А.В. Лигостаева
Г.П. Матвиевская
В.М. Молчанов
А.Г. Прокофьева
П.Г. Рыков
Л.П. Сковородко
В.Б. Соколов
Т.В. Судоргина
А.Г. Филиппов
А.П. Ялфимов (Уральск, Казахстан)

Почтовый адрес редакции: 460014, г. Оренбург, ул. Правды, 10
Телефон 8-903-394-32-60
Телефон/факс (3532) 78-37-91
E-MAIL: Gdvor56@yandex.ru, editor@orenlit.ru. Веб-сайт: orenlit.ru

Почтовый адрес издателя: 460014, г. Оренбург, ул. Правды, 10, ГБУК «Областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова»
E-MAIL: Domliteratorov28@mail.ru
Телефон/факс (3532) 78-41-29

На первой и последней страницах обложки – фотоколлажи **В.Б. Соколова**
Компьютерный дизайн – **Ю.В. Стрельникова, Л.И. Потехина**
Компьютерный набор, корректура – **Ю.В. Стрельникова**
Художник – **В.В. Кожевникова**

В спорных случаях оставляются стиль, орфография и пунктуация авторов, которые несут ответственность также и за достоверность фактов. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи

Сдано в набор 05.05.2015 г.
Подписано в печать 15.05.2015 г.

Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. Объём 22,5 печ. л.
Тираж 1 200 экз.
Заказ № 287

Цена свободная

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ56-00542 от 19 мая 2014 г. в Управлении Роскомнадзора по Оренбургской области Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Отпечатано в ООО Универсальная типография «Альфа Принт»
620030, г. Екатеринбург, ул. Карьерная, 14
ISBN 978-5-905617-20-1
© Альманах «Гостиный Двор», 2015

…Не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными! И пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник славян!

Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, они именно в защиту от России это и сделают.

Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись…

Может быть, целое столетие, или ещё более, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия России; они будут заискивать перед европейскими государствами, будут клеветать на Россию, сплетничать на неё и интриговать против неё.

Особенно приятно будет для освобождённых славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации. У них, конечно, явятся, с самого начала, конституционное управление, парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет это чрезвычайно утешать и восхищать.

Разумеется, в минуту какой-нибудь серьёзной беды они все непременно обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя её в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный враг их единству, была им и всегда останется, а что если они существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный магнит — Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает их целость и единство.

Фёдор ДОСТОЕВСКИЙ
1877 г.

ГОСТИНЫЙ ДВОР

АЛЬМАНАХУ «ГОСТИНЫЙ ДВОР – 20 ЛЕТ

6 **Поздравления с юбилеем**

32 **«Высоты, которых отдавать нельзя!»** Интервью с Дианой Кан

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

41 **Пётр Краснов.** Еврофашизм против России. *О сущности сегодняшних отношений России и Запада*

ФРОНТОВЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ

46 **Виталий Молчанов.** «Нельзя нас, русских, победить…» *Стихи*

49 **Александр Волженцев.** «Сообщаю, что я жив и здоров…» *Фронтовые письма*

ОРЕНБУРГСКАЯ ДИАСПОРА

67 **Диана Кан. «**Нет, ничто на Руси не забыто!» *Стихи из новой книги*

73 **Эдуард Анашкин.** «Звёзды окликая…» *О новой книге стихов Д. Кан*

79 **Нина Лукьянова. «**Готовы к полёту крыла…» *Стихи*

82 **Виктор Дубовицкий.** Полковник странных дел. *Реставрация событий*

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

95 **Владимир Шадрин.** «Пусть вечною будет река…» *Стихи*

100 **Георгий Саталкин.** Бином Ньютона. *Рассказ*

110 **Николай Волженцев.** Скорость слуха. *Рассказы*

НАША ГОСТИНАЯ

128 **Светлана Замлелова.** Сторожка. *Рассказы*

139 **Бэла Иордан.** «На этом языке живу я и дышу…» *Стихи*

142 **Лидия Сычёва.** Тополь серебристый. *Рассказы*

157 **Ольга Лукьянова.** «Сияет Божия строка…» *Стихи*

Послесловие Дианы Кан «Ведомые родимой речью…»

165 **Владислав Бахревский.** Перовские. *Роман. Продолжение*

КАЗАЧЬЯ ЛИНИЯ

205 **Иван Веневцев.** Урал – быстра река. *Главы из романа*
Предисловие Валерия Кузнецова *«Казачий роман-реквием»*

СВИТОК

235 **Елизавета Боброва.** «Средь шумного бала…» *Фамильная история*

ЛИТКЛУБ

252 **Анна Ганюшкина.** Божье время. *Рассказ*
255 **Николай Миронов.** Красные жернова. *Главы из поэмы*
260 **Александр Барсаев.** «Чем встречу я весну?» *Стихи*
263 **Сергей Парамонов.** «Где была моя деревня…» *Стихи*

ГОСТИНЫЙ ДВОРИК

266 **«Вы ещё будете нами гордиться…»** *Стихи и рассказы литературного творческого объединения «Детский стиль»*

В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ

277 **Галина Матвиевская.** «Мне жаль, что я не отец ваш…» *В.А. Перовский и братья Брюлловы*
293 **Николай Куроедов.** Наполеон из пробки. *Отрывки из статьи «Николай Борисович Нагаткин». Предисловие Ольги Титовой*
317 **Пётр Радченко.** Лето 1939 года. Халхин-Гол. *В режиме военного времени*

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

332 **Алла Прокофьева.** Николай Пряшников и Оренбург. *К 125-летию со дня рождения*
342 **Валерий Кузнецов.** Неведомый сын удивительных вольных племён. *О посмертной славе Н. Рубцова*
347 **Лола Звонарёва, Лидия Кудрявцева.** Горящая свеча Александра Алексеева. *Возвращение имени*

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Общероссийская общественная организация
ПРАВЛЕНИЕ

ТЕЛЕГРАММА
Главному редактору альманаха
«Гостиный Двор»
Н.Ю. Кожевниковой

Уважаемая Наталья Юрьевна, дорогие друзья и коллеги!

Правление Союза писателей России поздравляет литературно-художественный и общественно-политический альманах «Гостиный Двор» с двадцатилетним юбилеем. Ваш альманах – прекрасный пример сотрудничества писателей и работников Министерства культуры, администрации Оренбургской области. «Гостиный Двор» все эти годы являлся авторитетнейшим духовным, культурно просветительским и нравственно охранительным центром пограничья Русского мира.

Тематическая всеохватность издания, масштабность и глубина проработки материалов, патриотизм и гражданственность авторов сделали альманах настоящей энциклопедией жизни страны и общества в провинции, а высокий уровень художественных публикаций ввёл «Гостиный Двор» в число самых значимых периодических изданий литературного процесса России. Страницы альманаха щедро украшены именами уже известных мастеров пера вашего богатого на таланты края и открытиями ещё только-только начинающих свой писательский путь. За двадцать лет о нём узнали, по достоинству оценили и стали искать сотрудничества писатели из многих других регионов России. Среди благодарных читателей и заинтересованных авторов всегда есть и немалое число литераторов столицы.

Зная, каких трудов стоит создание вашего замечательного издания, каких сил требует продолжение его выпусков, желаем коллективу редакции и всем, кто помогает «Гостиному Двору», в этот славный юбилей самых смелых планов на следующее двадцатилетие! Дай Бог вам сил, здоровья, веры, надежды, любви и желания работать на благо русской культуры и литературы!

Валерий ГАНИЧЕВ, председатель Союза писателей России,

Геннадий ИВАНОВ, первый секретарь правления Союза писателей России

Главному редактору альманаха
«Гостиный двор»
КОЖЕВНИКОВОЙ Н.Ю.



Дорогая Наталья Юрьевна!

От лица Координационного Совета Ассоциации писателей Урала и от себя лично сердечно поздравляю Вас и коллектив Вашего альманаха с двадцатилетием!

На Урале и в Западной Сибири, да и во всей России и за её пределами, знают, любят и ценят Ваш замечательный альманах, восхищаются Вашей неустанной работой по сшиванию разорванного литературного пространства, пропаганде разностороннего творчества известных писателей Южного Урала и воспитанию молодых авторов.

В этот памятный день желаем Вам благополучия, неиссякаемого вдохновения и новых творческих побед на благо России!

С искренним уважением —

Александр КЕРДАН

Координатор Ассоциации писателей Урала,
сопредседатель правления Союза писателей России



БЛАГОДАРЮ ЗА ТРЕПЕТНУЮ ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ДЕЛУ!

Альманах «Гостиный двор» встречает своей 20-й день рождения. Так много сделано редакцией альманаха за эти годы! Каждый томик издания — это не только новые открытия, поддержка молодых и начинающих ав-

торов, данная нам возможность прикоснуться к творчеству уже завоевавших признание оренбургских писателей, но и огромный вклад в развитие литературы нашего края, труд неравнодушных к своему делу сотрудников редакции альманаха, по крупицам собирающих драгоценные строки, давая им новую жизнь, сохраняющих память о них на многие годы вперёд.

Я особенно признателен коллективу редакции альманаха «Гостиный двор» и лично Наталье Кожевниковой и Павлу Рыкову за возможность совместного проведения литературной премии молодых поэтов «Чаша бытия», учреждённой нами в 2010 году. В Год Культуры мы вместе встретили 200-летие со дня рождения Михаила Лермонтова и поощрили юных авторов, а в юбилейный для альманаха год поздравим не только молодых поэтов, но и совсем юных писателей, авторов приложения к альманаху «Гостиный дворик». Пользуется большой популярностью и сайт «Гостиный двор», и я рад, что смог помочь в развитии и этого творческого проекта.

Мы обязательно должны поощрять развитие литературы и поддерживать начинающих авторов. Умные и продвинутые сегодня не те, кто рассуждает за компьютером о политике, а те, кто творят. Желаю вам свежих идей, новых авторов, процветания, и благодарю за трепетную любовь к своему делу!

Владимир Киданов, депутат Законодательного собрания Оренбургской области



ИДЕЯ ОБРЕЛА СВОЁ РЕАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ!

Жизнь наша суматошна и суетна, за всеми её витиеватыми перипетиями, в устройстве здоровья телесного и душевного, иной раз забываешь просто-напросто взять в руки приглянувшееся тебе печатное издание, внимательно прочитать его и сделать для себя какие-то пометки и выводы. А ведь именно вместе

с чтением приходит понимание того, что надобно и читать, и писать, высказаться так, чтобы тебя понимали, ибо с этим самым пониманием появляются новые друзья и соратники, люди, с которыми интересно общаться, делиться с ними сокровенными мыслями и задумками.

Как сейчас помню тот грустный январский день, когда в последний путь провожали маститого писателя земли уральской Николая Фёдоровича Корсунова, выступающие с прощальным словом говорили монотонно и привычно соболезнования родным и близким, а я вдруг поймал себя на мысли о том, что нужно внести что-то полезное, запоминающееся в литературную жизнь нашего края. А что если?... В тот же день предложил главному редактору альманаха «Гостиный Двор» Наталье Юрьевне Кожевниковой учредить совместную региональную премию имени Валериана Правдухина. И вскоре идея обрела своё реальное воплощение, нашими лауреатами стали известные и начинающие литераторы, первым же лауреатом (посмертно) единогласно был признан Николай Корсунов.

В этот год литературы я имел честь опубликовать в нашей скромной поселковой газете «Пригородный курьер» стихотворения и публицистическую статью Натальи Кожевниковой «Место писателя в современном мире». Мы вновь попали в цель, я получил от читателей массу одобрительных отзывов, среди которых особенно ценно следующее высказывание: «Подобные материалы делают газету востребованным и интеллигентным изданием».

Убеждён в том, что альманах «Гостиный Двор» является визитной литературной карточкой нашего края, отвечает своему истинному предназначению: «Глаголом жечь сердца людей!» Главный редактор, авторы издания живут в литературе и литература живёт в них.

Желаю альманаху новых авторов с их западающими в душу произведениями!

Искренне Ваш, Самигулла Баймурзин

учредитель, член Правления
благотворительного фонда «Совесть»,
депутат МО Пригородный с/совет,
редактор газеты «Пригородный курьер»



ПОД СЕНЬЮ «ГОСТИНОГО ДВОРА»

Как хорошо, что время от времени у человека и у издания бывают юбилеи. При всей их хлопотности, это явно не лишний повод сказать те добрые слова, на которых мы экономим время в будничной гонке — времени, событий, людей... Альманах «Гостиный Двор» — юбиляр! И мне приятно пожелать ему и в дальнейшем, как всякому гостиному двору, много интересных гостей, интересных встреч. Тем паче, что гости альманаха — люди званые, талантливые и статусные в пределах России... Тем паче, что хозяевам есть о чём поговорить, поспорить, поразмышлять с гостями. Себя я к гостям не отношу: Оренбург — то место на карте Евразии, где я родилась, как поэтесса, где в пении оренбургских вьюг ощутила ту вселенскую музыку, которую всю свою жизнь пытаюсь с той или иной долей творческой успешности воплощать в русское Слово. Как автор, я благодарна «Гостиному Двору» в том, что он стал мостом, соединившим в моей творческой судьбе два больших периода, стал местом возвращения моих стихов к моим оренбургским читателям-землякам в пространстве уральско-волжского междуречья. Но не менее, чем как автор, я благодарна «Гостиному Двору» и как читатель. Как ни банально прозвучит — за то, что в альманахе есть что почитать даже на мой очень привередливый вкус! Благодарна радушной хозяйке «Гостиного Двора» — одной из лучших поэтесс России Наталье Кожевниковой за ту высоту творческого горизонта, которую он держит многие годы. А это ой как нелегко — быть одновременно интеллектуальным элитарно-литературным и в то же время читабельным, интересным массовому читателю, изданием. Потому то немало современных литературных журналов фактически стали настолько «самодостаточными», что превратились в некие корпоративные писательские издания, где писатели пишут, печатаются, и писатели же и читают друг друга. Как говорится, мы, писатели, жили бы

ещё лучше, если бы нам не мешали читатели! Пишущих людей ныне немало, но не будем забывать, что литература создаётся в первую очередь для читателей. И будем благодарны редакции «Гостиного Двора», что она помогает встречам читателя с писателем не просто состояться, но быть взаимно интересными. В моём понимании «Гостиный Двор» – это такая литературная визитная карточка Оренбуржья, которую приятно взять в руки, интересно почитать, не хочется выпускать из рук, но всё-таки надо дарить гостям – на доброе чтение и неспешное раздумье. Желаю коллективу альманаха, всем его авторам и читателям много интересных встреч. И пусть ещё долго под сенью «Гостиного Двора» нас встречает его радушная хозяйка Наталья Кожевникова.

Диана КАН, член Союза писателей России

С ВЕРОЙ В ЯСНЫЙ РАЗУМ И ВОЛЮ



Вот уже 20 лет прошло с момента выхода первого номера оренбургского журнала «Гостиный двор». За эти годы издание обрело постоянных авторов, внутреннюю цельность, стали отчётливо выраженными главные направления публикаций. Соединяя на своих страницах писателей Оренбуржья с авторами других регионов России, «Гостиный двор» интуитивно выбрал верный путь: замыкание в узких границах изначальной местности ведёт к оскудению творческого потенциала журнала – множество примеров на литературной карте России свидетельствуют об этом как о печальном опыте прежних десятилетий. Вместе с тем, ориентация только на «тяжёлые» столичные имена убивает саму привязку к родной почве практически любого издания, которое, словно птица, наблюдая за землей под своим крылом, одновременно должно видеть и дальний лес, и озеро у горизонта, и парящего в отдалении сородича.

С приходом на редакторскую должность Натальи Кожевниковой, проникновенной поэтессы российского масштаба, творчество которой пронизано картинами и видениями оренбургского края, «Гостиный двор» обрёл в её лице искреннего подвижника. Интеллектуальная напряжённость каждого выпуска журнала стала очевидной — искусно соединяя исторически-конкретное и духовно-общее, молодое литературное высказывание — и зрелое, расширяя местную почву до всей неохватной российской земли...

Уже своим присутствием в литературном поле России «Гостиный двор» утверждает простую, но в практическом приложении очень трудную мысль: сегодня можно и нужно не только сохранять драгоценные достижения прошлой эпохи, но ещё и утверждать новые проекты, в которых живое дыхание современности неуловимо соединяется с приметами традиции. И ещё — с любовью к русскому человеку, с верой в ясный разум и волю наших взрослых детей и пока ещё юных внуков.

С двадцатилетием, «Гостиный двор»!

Вячеслав ЛЮТЫЙ,
заместитель главного редактора журнала «Подъём»,
председатель Совета по критике Союза писателей России.



Уважаемая Наталья Юрьевна!

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с двадцатилетием альманаха «Гостиный двор»!

За эти годы ваше издание стало неотъемлемой и важной частью культурной жизни России. Яркое своеобразие альманаха, его высокий художественный уровень, содержательность представленных в нём материалов — убедительное свидетельство богатого духовного потенциала Оренбургской области.

Каждый выпуск «Гостиного двора» — это результат интенсивной работы писателей, учёных, деятелей культуры и искусства. Альманах не только объеди-

няет творческие силы, но и служит камертоном подлинной интеллигентности, нравственности, бережного отношения к культурному наследию. Радует, что на его страницах широко представлены юные таланты.

Оренбуржье — особое, заповедное место нашей Родины. Это один из крупнейших центров литературной жизни. Это гостеприимная территория, где сохранились и развиваются лучшие традиции патриотизма, межнациональной дружбы, духовности. В формировании такой уникальной атмосферы велика роль создателей и постоянных авторов альманаха — людей одарённых, компетентных и преданных своему делу.

Светлана СЫРНЕВА,
поэт, секретарь Союза писателей России, г. Киров

Дорогая Наталья Юрьевна!
Уважаемые друзья и коллеги!



От имени редакции журнала «Простор» сердечно поздравляю вас с 20-летием альманаха «Гостиный двор»!

Мы с вами — соседи по земле, собратья по литературе. Дружно жили в одной стране, а теперь так же дружно живём и работаем в нашем общем Евразийском Союзе, в Содружестве Независимых Государств.

Мы давно, наверное, с самого начала видим и читаем ваш замечательный альманах, который год от года всё лучше, серьёзнее по содержанию и краше по вёрстке и оформлению.

У нас с вами много общих авторов — это лучшие писатели России и Казахстана.

С большим удовольствием мы печатали и печатаем произведения оренбуржцев Петра Краснова, Дианы Кан, Натальи Кожевниковой и других. Благодарны вам за то, что вы представляете наших казахстанских авторов — Александра Ялфимова, Татьяну Азовскую, Тамару Шабаренину, Александра

Курлапова. А такие имена, как Евгений Курдаков и Николай Корсунов, одинаково дороги и в Оренбуржье, и в Казахстане, — они принадлежат всей нашей русской литературе.

От души радуемся вашему празднику!

Желаем альманаху «Гостиный двор» и его славному дитяти — «Гостиному дворику» жизни и процветания — во славу российской государственности и русского слова.

Христос Воскресе!

Валерий МИХАЙЛОВ,
главный редактор журнала «Простор» (Алма-Ата).



У ВАС ПОЛУЧИЛОСЬ!

От всего сердца поздравляю творческий коллектив альманаха «Гостиный Двор» с двадцатилетием! Вы начинали работать в сложные, трагические для русской литературы годы и выбрали единственно верную стратегию на объединение литературных сил под знаком высоких смыслов высокой литературы. Это было непросто, но у вас получилось! С альманахом «Гостиный двор» нас связывает давняя дружба — впервые в 2001 году меня пригласил на его гостеприимные страницы замечательный прозаик Николай Фёдорович Корсунов. И для меня эта публикация стала выходом в широкое литературное пространство страны. Думаю, таких авторов у вас немало. Выстраивая литературный диалог Оренбурга и России, вы сегодня откликаетесь на животрепещущие темы и острые вопросы, остаётесь открытыми для разных мнений и направлений, во всём следуя животворной русской литературной традиции. Желаю творческому коллективу здоровья, понимания и поддержки близких, а альманаху — процветания, талантливых авторов и не менее талантливых, преданных читателей, и в каждом номере — новых творческих открытий на благо всей нашей литературы.

Нина ЯГОДИНЦЕВА, поэт, переводчик, литературный критик, секретарь Союза писателей России, кандидат культурологии.

ЭТО ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ!



Здравствуйте, Наталья!

Получил альманахи и прямо-таки ахнул от восхищения. До того замечательная, впечатляющая обложка! Интересное решение и по формату. Мне кажется, правильно, что Вы отошли от стереотипов и применили книжный стандарт: и читателю удобно и удельный расход бумаги ниже. Прочитав альманах, убедился, что и содержание на самом высоком уровне. Материалы на любой, самый взыскательный, вкус. А главное, все они написаны на высоком профессиональном уровне. Молодцы, что и для художников прилично места отвели. Поздравляю!

То, что Вы на протяжении 20-ти лет не только на плаву, но и объединили вокруг себя таких известных авторов — это духовный подвиг. Кланяюсь Вам и Вашим коллегам до земли и желаю продолжать подкладывать дрова в Ваш яркий, освещающий и очищающий костёр-очаг Российской культуры.

Ваш верный слуга и почитатель,

Камиль ЗИГАНШИН, заслуженный работник культуры России, Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии им. Салавата Юлаева.

Главному редактору альманаха
«Гостиный двор»
КОЖЕВНИКОВОЙ Н.Ю.



Дорогая Наталья Юрьевна!

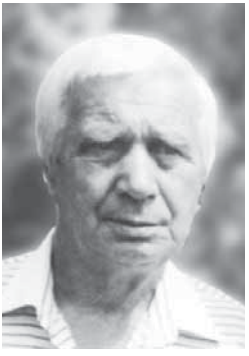
По поручению редакционной коллегии нашего журнала и от себя лично позвольте поздравить Вас — замечательного русского поэта, главного редактора альманаха «Гостиный двор», а в вашем лице всех авторов и сотрудников издания, со знаменательным юбилеем — двадцатилетием со дня выхода в свет первого номера альманаха.

Созданный два десятилетия назад, «Гостиный двор» за эти годы стал заметным явлением на литературной карте большого Русского Мира. Среди авторов издания — десятки поэтов, прозаиков и публицистов из самых разных уголков нашего большого Отечества, имя которому — Русская Словесность. При всём разнообразии творческих дарований ваших авторов, гражданская позиция самого издания прослеживается чётко и последовательно — для издания главным является настоящая культура, настоящее чувство и, как результат, настоящее творчество.

Горжусь тем, что среди авторов «Гостиного двора» есть и моё имя. Считаю это данью высокого уважения к русской литературе братской Беларуси.

От всей души желаем изданию и вам лично, дорогая Наталья Юрьевна, ещё многие лета радовать читателей высоким слогом публикуемых произведений, душевной открытостью и творческим огоньком.

Анатолий АВРУТИН
Главный редактор,
член-корреспондент Российской Академии
поэзии и Петровской Академии наук и искусств



СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!

Главного редактора регионального литературного журнала вполне можно сравнить с капитаном корабля. Потому что талант его сродни умению кормчего провести в наше «штормовое» для литературы время журнал, как корабль, между рифов официоза, мелей финансовых кризисов и дефолтов, между пиратов с либеральным оскалом и псевдопатриотов с узким обывательским аршином, которым они время от времени пытаются померить литературу всея Руси... А ещё надо учесть, что, помимо штормов, бывают штили безвременья-замалчивания — не менее опасные для корабля. Вопрос вопросов в том, куда и во имя чего ведёт тот или иной

капитан-редактор свой корабль-журнал. Иной капитанишко предпочитает не заплывать за региональные «буйки».Другой десятилетиями обживает родную бухту, даже не задумываясь о том, что «большому кораблю — большое плавание».Сколько загинуло по России журналов-кораблей, так и не вышедших из «местечковых» гаваней исключительно местного авторства! Авторов журнала, в свою очередь, можно сравнить с командой корабля, подбираемой в идеале не только по принципу землячества, но и по принципу профессионализма.

А читателей я бы сравнил с пассажирами. Если они берут журнал в руки, т.е. всходят на палубу корабля, то вправе полагать, что их путешествие в страну русского слова не ограничится привычной бухтой-барахтой. Да и региональной власти вряд ли захочется финансировать «корабль», годами ржавеющий в своей бухте на приколе. Утверждение о том, что капитанство — дело сугубо мужское, опровергает пример Натальи Кожевниковой, талантливой оренбургской поэтессы и одновременно — талантливого главного редактора оренбургского литературного журнала «Гостиный Двор». Правду говорят: если человек талантлив, то талантлив во всем! Пишу о «Гостином Дворе» как о журнале, хотя официально он является альманахом. Регулярная периодичность «Гостиного Двора» позволяет позиционировать его в качестве журнала.

Одна из поэтических книг Натальи Кожевниковой называется «Домовитая ласточка». Тоненькая талантливая книга, хотя Наталья Кожевникова как поэт давно достойна, чтобы «попасть в переплёт»! Однако какой бы «домовитой ласточкой» ни была лирическая героиня стихов Натальи Юрьевны, как главный редактор журнала-корабля она менее всего склонна отсиживаться в «домашней гавани». Вот уже лет семь с неженским мужеством Кожевникова ведёт «корабль» «Гостиный Двор» навстречу всероссийским литературным ветрам. Причём не ищет только попутных ветров. дальновидно полагая, что без встречных ветров успешного плавания не бывает. Она постоянно пополняет команду авторов талантливыми иногородними писателями, тем самым расширяя горизонты читателей журнала. Делает всероссийский журнал с оренбургской пропиской. Помогает пассажирам-читателям увидеть литературный мир огромной России — от Москвы до самых до окраин — во всём его многообразии. И в свою очередь помогает

литературному миру России встретиться с талантливыми авторами, проживающими на территории Оренбуржья: Петром Красновым, Александром Филипповым, Павлом Рыковым, Сергеем Бурдыгиным, Вадимом Бакулиным... Это только несколько имён из последних, прочитанных мной номеров «Гостиного Двора». А вообще-то, на страницах журнала, если смотреть в совокупности, целая россыпь оренбургских талантов, как знаменитых уральских самоцветов.Немаловажная деталь: я покуда не встречал ни одного регионального журнала, где бы председателем общественного редакционного совета был бы министр культуры. А в «Гостином Дворе» мы это видим, что несомненно, свидетельствует об уважении региональной власти к литературе. Если продолжить сравнение редактора с капитаном, то Наталья Кожевникова — капитан дальнего, не окрестного плавания. Потому и желаю ей как капитану-редактору семь футов под килем!

Эдуард АНАШКИН,
член Союза писателей России, Самарская область.



Поздравляю авторов и читателей альманаха «Гостиный Двор»
с 20-летием!

С самого первого номера большое внимание в альманахе уделяется публикации как статей на исторические темы, так и архивных документов в постоянных рубриках: «Культурный слой», «В зеркале истории», «Казачья линия». Альманах стал для нас серьёзной Школой — мы научились работать в коллективном издании. Сначала на суд редакции были предложены статьи об эвакуации на оренбургскую землю в годы Великой Отечественной войны выдающихся представителей литературы и искусства, затем дружно искали сведения о дате первого сеанса кинематографа. Учитывая тематику каждого номера, готовились публикации, посвящённые самым актуальным,

острым, как экономическим, так и социальным проблемам — мы изучали опыт борьбы и с саранчой, и с проституцией. Увлекательным было выявление ранее неизвестных документов об организации отдыха в Тополёвом саду.

Благодаря предоставленной возможности работники архивов области использовали страницы «Гостиного Двора» и как трибуну для патриотического воспитания молодежи. Приятно было получать высокие оценки творческих работ специалистов архивов от учёных-историков, преподавателей истории различных учебных заведений, краеведов, отмечавших, что юные оренбуржцы занимаются собственными исследованиями.

Между тем, и сами архивисты с большим интересом изучают публикации рубрики «Народные мемуары» — её авторы прекрасно дополняют некоторые страницы истории Оренбуржья.

Постоянно напоминая о необходимости сохранения документального наследия предков, «Гостиный Двор» вносит свою лепту в пополнение источниковой базы для противодействия фальсификации истории, обогащения краеведения новыми фактами.

Желаю альманаху дальнейшего процветания!

Татьяна СУДОРГИНА,
консультант комитета по делам архивов
Оренбургской области

ЧИТАТЕЛИ–ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ !



Замечательный оренбургский альманах «Гостиный двор» отмечает в текущем году свой двадцатилетний юбилей. Поздравляем учредителей, главного редактора, редакцию и всех читателей альманаха с этим знаменательным событием! Двадцать лет жизни периодического издания в столь непростых и нестабильных финансово-экономических условиях убедительно свидетельствуют о востребованности издания, о его заметном влиянии на культурную жизнь региона в целом и её поэтическо-лите-

ратурную составляющую, в частности.

Мне, дальневосточнику, посчастливилось познакомиться с альманахом не сразу, а лишь десять лет после его рождения. Произошло это случайно при посещении транзитом оренбургской научной библиотеки имени Н.К. Крупской в поисках материалов о переселенцах в Оренбургско-Тургайскую губернию в начале XX века. Первые же попавшие в руки сборники альманаха мне понравились. Меня — уроженца Оренбуржья — привлекли, прежде всего, публикации о природе края, статьи и очерки историко-краеведческой направленности. Видимо, ностальгия по малой родине — категория генетическая. Мне повезло: отныне свои духовные запросы по этой части я «черпаю», по большей части, со страниц сборников «Гостиного двора», с которым я «подружился» и стараюсь, по мере возможности, уже не расставаться.

А помогает мне в этом появившийся в сравнительно недавнее время в Интернете сайт альманаха «Гостиный двор». Размещение сайта в веб-пространстве — это был прекрасный ход учредителей и главного редактора, сразу расширивший границы читательской аудитории на всю страну и за рубеж и сделавший издание известным и популярным не только в своём регионе, но и за его пределами. И, надо заметить, сайт придуман и оформлен оригинально, привлекательно и с фантазией. Великолепная работа! До появления сайта читать сборники удавалось нерегулярно, так как, в частности, в наш край их печатные издания не доходили. С появлением сайта всё изменилось. Теперь можно полистать не только свежие номера, но, при желании, и ранее изданные.

Как я уже отмечал в своём более раннем отзыве на этот сайт (ГД № 41), с его появлением в веб-медиа у оренбургской диаспоры, проживающей в разных уголках страны, появилась возможность возродить духовную связь со своей малой родиной. А в наше смутное время, раздробившее и разъединившее общество, лишившего его идеологического стержня и выставившего главной ценностью личности её материальные запросы, уже это — дорогого стоит!

Говоря об оренбургской диаспоре, я имею в виду, прежде всего, дальневосточную. А она здесь — от Байкала до Тихого океана — немалая. В истории освоения нашей огромной страны, её дальневосточных окраин, оренбуржцы, прежде все-

го, оренбургское казачество, сыграли весьма заметную роль, мало кому известную и незаслуженно мало упоминаемую. С середины XIX века и по настоящее время можно насчитать, по меньшей мере, четыре мощных потока вольных и невольных переселенцев из Оренбуржья на восточные просторы российской ойкумены. Первая волна — это ссыльные участники пугачёвского восстания, затем — добровольные казаки-переселенцы в Уссурийский край на рубеже XIX-XX веков, следом — остатки отступившей в годы Гражданской войны вместе с армией Колчака Оренбургской белоказачьей армии, осевшей после победы советской власти в Китае, в районе Харбина и КВЖД, и, наконец, — достаточно большая волна оренбуржцев, ставших по разным мотивам дальневосточниками уже в советские годы.

Здесь, во Владивостоке, на острове Русский, обрываются следы Оренбургских юнкерского военно-казачьего училища, Неплюевского и 2-го кадетских корпусов, эвакуированных на восток в 1919 году вместе с частью отступившей на восток Оренбургской белоказачьей армии и затем расформированных в городе Иркутске. Современным оренбургским преемникам тех славных учебных заведений стоило бы включиться (под руководством старших наставников) в активный научный поиск архивных документов и иных следов своих достойных предшественников, до конца сохранивших верность принятой присяге.

...Многослойная и обширная структура сборников «Гостиного двора» отвечает, на мой взгляд, разнообразным вкусам и запросам как читателей, так и авторов. На страницах альманаха рядом с романом известного прозаика встречаешь рассказ начинающего автора. А поэтические шедевры чередуются с научно-историческими и краеведческими публикациями. Примечательно, что альманах в последние годы живо откликается на памятные для страны исторические юбилейные события: Отечественная война 1812 года, Первая мировая война, Зимняя война с Финляндией, Великая Отечественная война и др. Такие тематические сборники усиливают не только познавательную функцию издания, но и его патриотическую направленность.

И что не менее важно — это предоставление страниц издания сторонним авторам, на территории региона не прожива-

ющим, но, как правило, с ним как-то связанным. Это, естественно, расширяет тематику публикаций и делает альманах ещё более занимательным, познавательным и притягательным.

В отличие от ряда аналогичных изданий, выпускаемых иными писательскими организациями, в «Гостином дворе» текстовый материал не отказывают сопровождать иллюстрациями. Это, безусловно, оживляет публикации, делает их более привлекательными, насыщенными и информативными. Эту же функцию несёт в себе и усиливает её самостоятельная рубрика, посвящённая работам фотохудожников. Отдельной похвалы заслуживает блестящая дизайнерская работа по оформлению титульных страниц. Любая талантливая работа рождается не на пустом месте, а является результатом творческой деятельности её трудового коллектива. В данном случае совсем небольшого коллектива редакции «Гостиного двора», и, прежде всего, его главного редактора. Вот уж который год рулит этим коллективом Наталья Юрьевна Кожевникова, вкладывая в это руление всю свою энергию, творчество и талант организатора. Тут следует особо подчеркнуть, что деятельность редакции альманаха не ограничивается только изданием его сборников. Она многогранна, разнообразна и разновекторна. Достаточно посетить на веб-сайте рубрику новостей, и глазу читателя откроется весь длинный перечень мероприятий, инициатором и организаторами которых является редакция «Гостиного двора», а, по сути, его главный редактор. А к этому перечню следует добавить ещё и обширную переписку с авторами. Наталья Юрьевна не прекращает и личную творческую деятельность, и, как следует из тех же новостей, весьма успешную. Так что главный редактор заслуживает не только поздравлений, но и особой благодарности!

Возвращаясь к теме о духовной связи дальневосточной оренбургской диаспоры со своей альма-матер, следует заметить, что в не столь отдалённые советские годы не забывал о своих земляках тогдашний литературно-музыкальный Оренбург. Здесь, в Приморье, и сейчас помнят посещение в 1970-е годы города Владивостока и края коллективом Оренбургского народного хора, выступления которого прошли с большим успехом.

Надеюсь, что со временем эти получившие слабину куль-

турные связи дальневосточной оренбургской диаспоры получат второе дыхание, и рассматриваю альманах «Гостиный двор», и, прежде всего, его сайт, именно с этих позиций. Не вижу причин не «обмениваться» своими репертуарами и театральным коллективам столиц наших регионов: драматическим, оперы и балета (Владивосток), музыкальной комедии (Оренбург).

Пожелаем же коллективу редакции альманаха замечательных творческих успехов на его благородном поприще, равно как и в сфере поиска и открытия новых литературных талантов.

Пётр РАДЧЕНКО,
профессор Морского государственного университета
имени адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток

СПАСИБО «ГОСТИНОМУ ДВОРУ»!



Поздравляю с 20-летним юбилеем литературно-художественый и общественно-политический альманах «Гостиный Двор»! Благодаря инициативе его главного редактора Натальи Юрьевны Кожевниковой и финансовой помощи депутата Законодательного собрания Оренбургской области Владимира Николаевича Киданова был создан сайт альманаха,который посетило за последние три года более 140 тысяч читателей. Теперь наш альманах читают не только в России, но и в Ближнем и Дальнем зарубежье, Америке, Германии, Израиле. Удивляет неутомимость и творческий азарт Натальи Юрьевны, с которым она находит в массе претендентов на публикации драгоценные самородки, давая этим авторам путёвки в творческую жизнь, причём не только молодым, но и людям почтенного возраста. Мне было уже более 80-ти лет, когда она посоветовала мне написать о моей жизни. Воспоминания «Ничто не забыто» и «Норильская Голгофа» прочитали в Интернете около

двух тысяч читателей и я получил немало взволнованных и благодарных отзывов. Позже даже выпустил небольшую книгу «Лихолетье». И понял, что известная фраза «Мои года — моё богатство» имеет жизненный смысл. Спасибо «Гостиному Двору»!

Александр СЕМЁНОВ,
ветеран труда. Оренбург.

ЗДРАВСТВУЙ, «ГОСТИНЫЙ ДВОР»!

Писатели, поэты, читатели города Уральска и Западно-Казахстанской области сердечно поздравляют Тебя с юбилеем!

Твоё рождение светлое и одухотворённое явление в литературной потребности читающего народа.

Каждый номер альманаха — открытие нового в истории России, Оренбуржья, Приуралья. На Твоих страницах оживают, чуть было не забытые, судьбы замечательных людей, трагические и счастливые годы нашей Родины.

Твоим авторам может позавидовать любой столичный журнал. Публикации В.А. Бахревского, В.В. Личутина, В.Ф. Михайлова, Д.Е. Кан и других известных литераторов, высоко оценены специалистами и читателями.

Но главная заслуга альманаха — реальная возможность напечатать свои труды молодым и начинающим!

Ты доброжелателен и не заносчив. Ты строг и справедлив, поэтому и любим Тебя, все, кто пишет Тебе, и кто читает.

С юбилеем, долгих творческих лет!

С поздравлением — Уральцы.



Игорь Бехтерев





1995- 2015







Наталья Кожевникова









Презентации











Наши встречи

















Наши лауреаты









«ВЫСОТЫ, КОТОРЫХ ОТДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ!





Главный редактор альманаха «Гостиный Двор» Наталья Кожевникова дала интервью поэтессе Диане Кан

— Наталья Юрьевна, приятно, что нашу беседу инициировали сразу несколько приятных информационных поводов — юбилей альманаха «Гостиный Двор» и совсем недавнее присуждение Вам премии в области культуры и искусства «Оренбургская Лира», с чем я Вас от всей души поздравляю, ибо награда эта столь же почётна, сколь заслужена Вами. Да и Год литературы, объявленный Президентом России Владимиром Путиным — разве не повод поговорить о современном литературном процессе в Оренбургской области в контексте всей России? Вы сегодня, как моя собеседница, выступаете во многих ипостасях. Однако начнём мы с того, что Наталья Кожевникова — главный редактор альманаха «Гостиный Двор». Хотела назвать его оренбургским, выходит-то он в Оренбурге, но подумала, что такая привязка к географии снизит реальный литературный статус «Гостиного Двора» — фактически общероссийского издания с оренбургским вектором и пропиской. Я знаю, что альманах динамично развивается — выходят новые номера, активно востребованные читателями, проходят его презентации, вокруг альманаха сложился сильный творческий актив авторов — причём, самых разных,таких как Владимир Крупин, Анатолий Аврутин, Валерий Михайлов, Евгений Семичев, Вячеслав Лютый, Светлана Замлелова, Василий Киляков, Камиль Зиганшин и многие другие, не говоря уже о «своих» оренбургских — Петре Краснове, Павле Рыкове, Георгии Саталкине, Валерии Кузнецове, Виталии Молчанове, Александре Филиппове... Как Вам удаётся собирать под одну полиграфическую крышу столь разных людей? Я понимаю, отношения издания с авторами — тема деликатная. Но она столь же интересна, сколько деликатна, в чём убеждаюсь постоянно, потому задаю этот вопрос...

— Сказано же: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих...» Большая литература во все времена являлась духовным хлебом — спасительным Словом, оберегающим душу народа. Наконец-то многим, в том числе и властям, стало ясно, что без литературы, особенно русской классики, современное российское общество развиваться не сможет. Доказательством этому стало и объявление Президентом Года литературы, и возвращение в школы сочинений...

К сожалению, художественное слово сегодня востребовано не как 20-30 лет назад. А если посмотреть на то, что предлагается в книжных магазинах, воспитание книгой, как кто-то сказал, не всегда имеет знак «плюс». Спросите окружающих — вы-

писывают ли они сегодня толстые литературные журналы? Ни районным, ни сельским библиотекам, ни пенсионерам — самой многочисленной читающей публике, ни тем более, молодёжи это не по карману. Электронные версии журналов и газет тоже не всем, особенно в глубинке, доступны. И получается, что востребованы в настоящее время больше всего региональные литературные издания. Несмотря на свои незначительные тиражи — от 700 до 2000 экземпляров, они регулярно поступают в районные и городские библиотеки и читательская аудитория у них больше, чем у центральных изданий. Наш оренбургский литературно-художественный и общественно-политический альманах «Гостиный Двор» отмечает в этом году своё двадцатилетие. Для человека это возраст юности, для журнала — пора зрелости.

Первый номер «Гостиного Двора» (редактор Игорь Бехтерев) в 1995 году открывался «Заповедным словом русскому народу» писателя Алексея Ремизова, написанного в стиле древнего русского плача, всегда возникающего на Руси в дни катастроф. Это и стало своеобразным камертоном в жизни издания на многие годы. А своеобразие альманаха проявилось в органическом сплаве самых разных по тематике и жанрам произведений: прозы и поэзии, исторических исследованиях, прямых обращений к современности, филосовской мысли, драматургии и мемуаристики, работ искусствоведческого и культурологического характера, образцов народного и детского творчества.

Альманах сегодня крепко стоит на ногах, имеет достойное финансирование, две собственные литературные премии — имени Валериана Правдухина, уральского писателя, незаконно репрессированного и расстрелянного в конце 30-х годов, и «Чашу бытия» (Лермонтовскую) для молодых поэтов. Каждый год их вручают авторам альманаха меценаты, первую — Оренбургский областной общественный благотворительный фонд «Совесть» (президент Р.А.Храмов), вторую — депутат Законодательного Собрания Оренбургской области В.Н.Киданов. А недавно у альманаха появился младший братишка — детский журнал «Гостиный Дворик»(редактор Юлия Стрельникова). Это литературное полноцветное издание согласилось финансировать министерство образования Оренбургской области. И Вы, Диана Елисеевна, правильно подметили, что вокруг альманаха давно сложился творческий актив авторов, причём не только известных писателей и поэтов, в том числе и Дианы Кан, но и краеведов, историков, архивистов, искусствоведов, учителей, библиотекарей, казаков, артистов... Мои главные помощники — члены

редакционного общественного Совета, традиционно возглавляющегося министром культуры и внешних связей Оренбургской области. В редакционный Совет обязательно входит министр образования...Альманах издается на средства Правительства области, а это, конечно, говорит о внимании властей к литературе и жизни писателей региона – не на словах, а на деле. В прошлом году в учредители альманаха вошёл областной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова во главе с директором, поэтом Виталием Молчановым, что сразу сказалось на литературной жизни Оренбуржья. Мы провели Международный фестиваль Содружества национальных литератур «Красная Гора», ежегодный межрегиональный семинар-совещание молодых авторов «Мы выросли в России», на которые приглашаются писатели и поэты из других регионов, Неделю высокой поэзии на самых известных сценических площадках – областном драматическом театре, губернаторском музее, институте искусств им. Л.и М. Ростроповичей, областной библиотеке им. Н.К.Крупской, детской библиотеке им. А.Гайдара, в самом Доме литераторов. Проводятся презентации альманахов, литературные вечера, вместе с писателями и поэтами выезжаем в самые дальние районы области, выступаем в школах и библиотеках оренбургской глубинки... Планов ещё больше, это и выпуск собственной газеты, и создание литературного театра, и выпуск книг в серии «Библиотека альманаха «Гостиный Двор» и многое другое. Виталий Молчанов – фанатик своего дела, я, наверное, тоже. Дом литераторов стал домом и для нашего альманаха. Самое главное, к нам тянутся люди, молодёжь, а мы открыты для всех, кто серьёзно намерен заниматься литературой.

– Наталья Юрьевна, несмотря на то, что когда-то «Гостиный Двор» напечатал гениальный «плач» гениального Ремизова, в самом первом номере альманаха, я бы сказала, что «Гостиный Двор» едва ли не один из самых позитивных литературный изданий России. В чём порой проигрывают так называемые патриотические издания, где – салошной плач «о погибели земли русской». Сразу вспоминаю комедию «Бриллиантовая рука»: «Всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает». К чести «Гостиного Двора» – в нём нет никаких похоронных интонаций. Это альманах, помогающий жить и верить в Россию, в Оренбургский край, не закрывая при этом глаза на неизбежные жизненные недостатки... Думаю, тут именно Ваш, как Вы выразились, «фанатизм», Ваше, как главного редактора и поэта, жизнелюбие

и духовная стойкость играют позитивную роль... Иначе, по-моему, невозможно созидать качественный литературный журнал! Ваша любовь к талантливым писателям и ваша непримиримость к графоманам — как Вам удаётся это совмещать? Знаю, что у каждого настоящего писателя опытом и практикой выработана своя метода идентификации графоманских текстов, ведь не секрет, что их авторы порой очень грамотны и филологически образованны. Для меня, к примеру, одним из верных признаков графомана является влюблённость автора в себя, когда больше любит себя, а не литературу... А вот Вы как отличаете графоманов? И считаете ли Вы так называемые «филологические стихи» опасными для истинной поэзии? Это вопрос к Вам не только как к главному редактору, но и как к одной из лучших современных поэтесс России, какой не только я одна Вас считаю.

— Всё верно, Диана. Так называемые «филологические» стихи я тоже считаю наиболее опасными, особенно для молодых читателей, ещё не умеющих отличить «зёрна от плевел». Как правило, они написаны литературно грамотными людьми, своего рода «талантливыми» версификаторами, где к рифмам, ритмам, размерам — не подкопаешься... Одного нет — души, тайны, таланта. Про самовлюблённость и говорить нечего, именно она и двигает такими авторами. Издать книгу и даже вступить в Союз писателей для них ничего не стоит, достаточно толики денег и покровительства какого-нибудь руководителя литобъединения, замолвившего за «сыночка» или «дочку» словечко перед приёмной комиссией...

А.М. Горький в первом номере журнала «Литературная учёба», вышедшем в 1930 году, писал: «Многие торопятся печатать свои стихи и рассказы, а напечатав тонкий сборничек... перестают учиться. Это очень плохо, — литература от этого не выигрывает, а торопливый писатель обеспечивает себе бестолковую и несчастную жизнь «непризнанного таланта» или графомана, страдающего болезненным зудом к малограмотному пустословию... Для всех таких людей наш журнал не нужен, так же, как и они не нужны для литературы». Эту цитату я бы с удовольствием повесила на видном месте в редакции, ибо псевдолитература сегодня начинает подменять подлинную, настоящую. Писал же Г. Свиридов, что «талант часто неразделим, неразлучен с сомнением, в то время как посредственность убеждена в себе». Лично я просто вручаю таким авторам номер альманаха и советую сравнить свои «вирши» со стихами лучших современных русских поэтов. Кто пони-

мает разницу, больше не приходит. С упорными и навязчивыми предпочитаю не спорить. Благо, у главного редактора есть право отклонять рукопись, не сообщая о причине и не рецензируя её...

Молодым авторам я иногда читаю пародии оренбуржца Сергея Салдаева, они смеются, но к своим стихам начинают относиться серьёзнее. Кстати, потеряв надежду на получение талантливой поэзии от членов областного литобъединения, мы в Доме литераторов собрали начинающих авторов, в основном, студентов вузов и школьников старших классов и начали заниматься с ними разбором стихов, приглашать на выездные семинары, выступления, знакомить с современным литературным процессом в стране. И вскоре они организовали сообщество молодых литераторов «Свиток». Некоторые из них готовят к изданию свои первые книжечки... В свою очередь, члены «Свитка» берут под опеку юных поэтов литгруппы «Подснежник» при детской библиотеке им. А. Гайдара. Вот она, преемственность поколений! Недавно прочитала строчки из стихов В. Фёдорова, написанные им ещё в 1955 году:

«Всё испытав, мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая, займёт наш враг.

Займёт, сводя всё те же счёты,
Займёт, засядет, нас разя...
Сердца! Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя!»

Пророчески звучит сегодня, не так ли? Оглянитесь — сколько сердец уже занято иной, «европейской» идеологией! А при том размахе информационной войны, развёрнутой в социальных сетях, это уже грозит безопасности нашей страны...

В одной из своих статей, Вы, Диана Елисеевна, заметили, что расцвет литературы в истории любой страны совпадал с расцветом государства. И. Бунин сказал однажды, что упадок литературы в Российской империи стал предвестником её падения... Поэтому писателям, поэтам надо создавать литературу, которая останется во времени, а задача властей — помогать литературе в её лучших проявлениях, где есть и искренность чувств, и трезвость ума. Всё иное уже производится либеральными перьями улицких и иже с ней в большом избытке...

— Современные издания России... Сегодня редкий регион не имеет своего литературного имиджевого журнала. Но давайте будем честны: финансирование такого издания очень важно. Но ведь чтобы журнал не был местечковым, не застрял в сегменте журналов-регионалов, нужна творческая «подпитка» извне. Вписанность регионального издания в общероссийский литературный контекст — насколько по-Вашему важна?

— И важна, и нужна. Во-первых, местные писатели не должны сидеть в своём «болоте», где, как известно, каждый кулик своего собрата хвалит. Во-вторых, творческая «подпитка» лучшими произведениями иногородних авторов необходима для привития вкуса, воспитания на ней начинающих авторов. И в-третьих, писатели и поэты из разных регионов должны знать и читать друг друга, держаться вместе, иначе под предлогом того или иного «кризиса» их поодиночке просто «затопчут, затанцуют, запоют» равнодушные к литературе представители «властей предержащих»...

Альманах «Гостиный Двор» давно перерос областные рамки. В нём печатаются известные писатели и поэты, учёные из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Нижнего Новгорода, Владивостока, ближнего и дальнего Зарубежья, Америки, Израиля, Германии. Такой географический разброс — не самоцель, а следствие проводимого редакцией курса на упрочение связей Оренбуржья с теми, кто покинул родину, но не порвал с ней связь. Всё это помогает избегать замкнутости, провинциализма, которыми обычно страдают региональные журналы. С появления в 2012 году собственного сайта (orenlit.ru), альманах «Гостиный Двор» вышел в Мировую Сеть и сразу же нашёл десятки новых авторов и сотни читателей по всему миру. Альманах в последние годы запрашивают библиотеки Лондона, Мюнхена, Питсбурга (США) — «И этим можно не только удивляться, но и гордиться», — написал в своём обзоре в газете «День литературы» Павел Рыков.

— Вы человек верующий, как поэтесса, большое внимание в своём творчестве уделяете духовной лирике. Сейчас идёт светлая пасхальная пора. Каким образом Вера помогает Вам в априори нелёгком-тернистом пути поэта? Вдохновляет или смиряет?

— Говорят, что смирение — самое грозное оружие. И «мне не страшно идти до конца, до креста», потому что родина для меня — Небесный град, связь с которой не прервётся даже за предела-

ми жизни. Потому что, хоть и трудно, и «долго идти, но дорога к родному, где меня ждут...» Вера — это ведь тоже тайна, как и поэзия. И не все могут её принять и понять, эту нерасторжимость родины земной и небесной. Кто сможет — обретает истинную — поэтическую — свободу...

— Я всегда говорю молодым поэтессам: «Поэзия — жёсткая мужская территория, трижды подумайте, готовы ли Вы, имеете ли силы и творческий потенциал — играть на мужской территории по мужским правилам?». Но глядя на Вас, порой недоумеваю — Вы такая женственная, вопреки многим терниям литературной судьбы так и не ставшая «амазонкой»... Как относитесь к столь модной сейчас «феминистической» женской поэзии, которая буквально наводнила редакционные портфели издания, и «Гостиного Двора» наверняка тоже?

— Хрупкие на вид, женственные, но со стальным стержнем внутри, — это не мы ли с Вами, дорогая Диана? Да, нам приходится порой играть на мужской территории, ну и что? Не нами замечено, что сегодня больше пишут стихи представительницы слабого пола. Не знаю, почему. Возможно, инстинктивно чувствуют, что родина в опасности, надо спасать её и детей. Нет с нами великого Юрия Кузнецова, которого в давние времена не советовал мне читать один местный литдеятель: «Сломает...» Не сломал, слава Богу! Не люблю термин «женская поэзия». Поэзия она или есть, или её нет. Сентиментальных, слезливых стихов о любви и измене, тоске по мнимому любимому в редакционном портфеле хоть отбавляй. Я отношусь к их авторшам спокойно: и это пройдёт. Кто-то выкарабкается из шаблонов и штампов, напишет искренние строчки, полные лирической пронзительности. А у кого-то стихи, завязанные только на отношении с мужчинами, станут тормозом в творческом развитии. Поэзия не только тайна. Это — судьба.

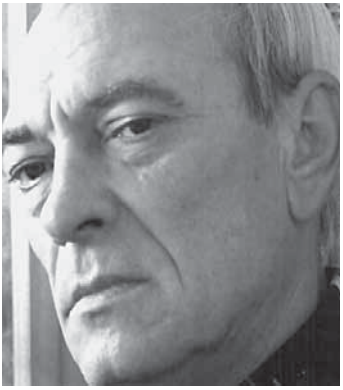
— Про любимых авторов главного редактора Наталью Кожевникову спрашивать не буду. Заранее знаю, что Вы мне ответите: «Я люблю всех своих авторов, иначе бы не печатала их». А вот о любимых изданиях современной России спросить придётся, это вопрос, который не обойти. Как и вопрос о том, каким Вам видится перспективное развитие литературных изданий в России, когда интернет и соцсети фактически сделали публикативность текстов общедоступной. Чем в идеале должен быть

реальный, а не виртуальный, журнал? Видом интеллектуального досуга? Орудием воспитания читателей? Местом встречи элитарных избранных авторов, которое изменить нельзя? Продолжением традиций семейного чтения в России? Или чем-то ещё?

— Мои любимые авторы печатаются в альманахе «Гостиный Двор». Есть поэты и писатели, которые я бы очень хотела увидеть на его страницах. Знакомство с ними впереди... Любимые издания — те, где я сама печатаюсь. Могу назвать некоторые: журналы «Москва», «Подъём» (Воронеж), «Простор» (Казахстан), «Аргамак» (Татарстан), «Парус», «Молоко», «Русское поле» — электронные издания. И конечно же, «Наш современник», газета «День литературы», «Литературная газета»... С развитием Интернета издания просто обязаны присутствовать и в виртуальном виде, у них тогда появляются миллионы новых читателей. И всё-таки, никакие гаджеты не заменят ощущений, которые даёт нам бумажная книга или журнал... Но в любом виде журналы должны быть всем сразу: и видом интеллектуального досуга, и орудием воспитания читателей, и местом встречи элитарных авторов. И — продолжать традиции семейного чтения, как это было раньше в России...

— И три коротких вопроса напоследок. Первый - о чём мечтает поэтесса Наталья Кожевникова? Второй — о чём мечтает главный редактор Наталья Кожевникова? Третий — о чём мечтает красивая женщина Наталья Кожевникова?

— Как поэтесса, конечно, мечтаю выпустить новую книгу стихов. Как главный редактор мечтаю, чтобы «Гостиный Двор» из формата альманаха перешёл в статус периодического издания, и в таковом качестве был представлен в каталоге России. А как женщина я, конечно, мечтаю о том, чтобы красота всё-таки спасала наш мир, такой хрупкий и такой нужный всем нам.



Пётр КРАСНОВ

ЕВРОФАШИЗМ ПРОТИВ РОССИИ

Пётр Николаевич Краснов родился в 1950 году в селе Ратчино Шарлыкского района Оренбургской области. Окончил Оренбургский сельскохозяйственный институт, Высшие литературные курсы в Москве, работал агрономом, сотрудником многотиражной газеты. Известный прозаик. Книги переведены на многие европейские языки. Лауреат Всесоюзной премии им. М. Горького за лучшую первую книгу, Большой литературной премии России, всероссийских литературных премий им. И. Бунина, им. Александра Невского «России верные сыны», им. Мамина-Сибиряка, им. Льва Толстого «Ясная Поляна», Пушкинской премии «Капитанская дочка», областной премии «Оренбургская лира», премии им. В. Правдухина альманаха «Гостиный Двор». Награждён дипломом ЮНЕСКО за выдающийся вклад в мировую культуру. Живёт в Оренбурге.

Анализируя современное состояние международных отношений в части Запад — Россия, неминуемо приходится делать вывод: «холодная война против нашей страны не только не ушла в прошлое, но обрела за последние 20 лет новое политическое и информационное измерение, которое по своей интенсивности вполне заслуживает определения очередного «дранг нах Остен» — «натиска на Восток»... И прежде всего это касается пересмотра политиками и пропагандой Запада итогов Второй мировой войны — пересмотра преступного и в нравственном, и в политическом отношении.

Впрочем когда, в какие времена Запад останавливался перед преступлением?...

Принятую сравнительно недавно Европарламентом резолюцию, фактически приравнивающую освободительную борьбу «тоталитарного», де-

скать, СССР к злодеяниям нацистской Германии, стран Оси вообще, нельзя расценить иначе как попытку снять тяжкую вину за развязывание Второй (впрочем, и Первой тоже) мировой войны с Запада, хотя бы отчасти свалить её на СССР — Россию, «отмыть чёрного кобеля добела»....

Этим «евроболтунам», как их нередко называют, рьяно подыгрывает наша внутренняя россиянская либеральщина, все эти сванидзе, радзинские и прочие млечины, уродуя нашу историю, с ног на голову ставя факты того великого сражения за лучшее будущее всего человечества.

А между тем почти вся Европа была в той или иной мере фашистской или в весьма мнимом нейтралитете, исключая Югославию и Великобританию (у которой Гитлер, по его признанию, взял саму нацистскую идею рассового превосходства и завоевания «жизненного пространства» — было что взять у самых жестокосердных в истории колонизаторов...) Вся, с населением 350 млн в оккупированных странах, не только работала в полную силу на военную машину рейха, но и воевала в рядах его вермахта, составляя одну пятую его часть, или около 2 млн и регулярных войск, и добровольцев. Поистине это было второе, после Наполеона жесточайшее нашествие «двунадесяти языков»...

Приведу данные о потерях (убитых) Германии (вместе с Австрией) и её союзников на Восточном фронте. Итак, немцев — 7181 тыс., венгров — 809 тыс., итальянцев — 93 тыс., румын — 475 тыс., финнов — 84 тыс., словаков и чехов — 7 тыс., всего же — 8649 тыс.

Не менее существенны данные о попавших в советский плен, а именно: немцев — 2390 тыс., австрийцев — 157 тыс., венгров — 514 тыс., румын — 202 тыс., итальянцев — 49 тыс., французов — 23 тыс., поляков — 60 тыс., чехословаков — около 70 тыс., хорватов — 22 тыс., молдаван — 14 тыс., евреев — 10,2 тыс. вояк....

В рядах Вермахта воевало свыше 200 тыс. французов (что там легион де Голля в Северной Африке и эскадрилья «Нормандия — Неман» у нас...), не меньше поляков, около 100 тыс. добровольцев из Скандинавии, столько же латышей и литовцев и 10 тыс. эстонцев, 150 тыс. евреев (в т.ч. фельдмаршал авиации Мильх, глава СА Гейдрих и многие офицеры, в т.ч. старшие). Были сформированы национальные легионы и дивизии СС: «Нордланд» — норвежцы и шведы, «Данемарк» — датчане, «Нордост» — финны, «Нарва» — эстонцы, «Вестланд» — голландцы и

фламандцы и т.п.. А Франция изловчилась ещё — с благоволения и лишь по настоянию Сталина — войти в число «стран — победительниц»...

Вся эта варварская нацистская Европа вломилась в пределы Советского Союза, исторической России то есть, в очередной жажде грабежа и насилия, преступая все установления международного права, растоптав в который раз свои же декларативные идеи гуманизма, став «образцом» запредельной бесчеловечности и низости, погубив на оккупированной территории и на принудительном рабском труде в Германии около 9,5 млн. нашего гражданского населения, наших людей....

И теперь, видя ярый антисоветизм, русофобию и историософскую тупость россиянской, запродавшейся Западу же «элиты», политическая Европа решила «отмыться» от своих кровавых грехов — опять за счёт России. Ждать от неё исторической благодарности нам, избавившим её от «нового средневековья», никак не приходится, конечно; но поражает её подлость, коварство, отсутствие даже намёка на какое-либо благородство, для «сохранения лица» хотя бы.... Это говорит лишь об одном: что её «евроболтуны» и большинство политиков вполне «достойны» своих предшественников, маршировавших в легионах СС, — вроде президента ФРГ Гаука, призвавшего недавно Россию покаяться в «тоталитаризме»... Горбатого к стене, как говорится, не прислонишь, и понятно, что именно такие политиканы спускают со сворки всех шавок и пустобрёхов западной, до предела идеологичной и одновременно беспринципной пропаганды, облаивающих и всячески грязнящих нашу Победу. И уже мало сомнения в том, что случись очередная мировая заваруха, они вряд ли уступят еврофашистам Второй мировой в жестокости и низости, чему примером и Ливия, и Югославия, и Ирак, да и Вьетнам, Северная Корея, Хиросима и Нагасаки... Более того, своей агрессивной, беспардонной и, по сути, человеконенавистнической политикой, нацеленной на мировое господство, они и ведут дело к этому, как в предверии прошлых мировых войн. Известный английский историк А.Д. Тойнби старался объективно оценивать действительность: «Задайте любому народу вопрос, что собой представляет Запад по отношению ко всем народам, и все ответят одинаково: Запад — архиагресссор. И каждый народ найдёт тому множество подтверждений, и в первую очередь Россия...» (Л. Жукова, «Литературная газета» № 18 от 2011 года) Чего стоят «пробные шары»

той же «железной леди», заявившей, что России достаточно 15 млн. населения, чтобы лишь обслуживать газонефтепроводы, и других «лидеров», что Россия якобы «несправедливо» владеет такими природными богатствами, какие следует отнять и разделить на всех, или что население Земли избыточно и надо уменьшить его до миллиарда — полтора... Они уже и не скрывают особо своих целей, надеясь всё и всех подавить железной силой, раскручивая очередную гонку вооружений, весь мир опутав удавкой своей долларовой «зелени» и выкачивая за пустые бумажки из всех жизненные соки, ставши по сути паразитом земной цивилизации, заводя её своей алчностью во всеобъемлющий глобальный кризис. Всё это делается с отъявленным цинизмом даже в самых пропагандистских формулировках, изощрённо лживых: «империя зла» (об СССР), «гуманитарные операции» и «бесполётные зоны» (о своих беспощадных бомбардировках), «друзья Сирии», «принуждение к демократии», «гомо-фобия» (представляя нелюбовь подавляющего большинства людей к извращенцам как ненависть к человеку вообще) и, конечно же, «права человека», зачастую исключая из них самоё право на жизнь неугодных, сопротивляющихся «демократизации»... И вполне логичным и нравственно обоснованным представляется вывод: Запад как «империя Сатаны» — со всем своим сверхразвратом, узаконением «практик» Содома и Гоморры, полностью руководимый масонством с его чёрной антихристианской мистикой, уверованностью в превосходстве Зла и своей «избранности». На счету этой империи только в XX веке более сотни агрессий и войн, не считая подготовки, провоцирования и развязывания двух мировых войн. И вообще, капитализм как формация обошёлся человечеству в десятки, если не в сотню раз дороже (в смысле жертв и перенесённых бедствий), чем социализм как весьма непростое, но движение к справедливости и равенству, к нравственным идеалам...

Но рано или поздно наступает «момент истины» в отношении той или иной исторической ситуации. Одна из них — крах клеветнической, ещё геббельсовской катынской провокации: 18 июня 2012 года Европейский суд весьма нехотя, но принял решение о том, что «документы» по Катыни, состряпанные подручными «хромого беса» перестройки и реформ Яковлева, фальшивы, подделаны — настолько много в них ляпов, несуразиц и исторической безграмотности. Рухнула раздуваемая всеми ненавистниками России ложь, рухнул и самолёт: достал-та-

ки залгавшихся поляков из могилы Геббельс... И это стало «моментом позора» нынешних кремлёвских верхов, сознательно подыгравших польско- геббельсовской провокации, хорошо знавших, что это — беспардонная клевета. Но, разумеется, во всём СМРАДе (средства массовой рекламы, агитации и дезинформации — по А. Фурсову) царит по этому поводу полное — и разоблачающее — молчание...

Бывшие наши главные союзники, США и Великобритания, ещё со знаковой фултонской речи Черчилля (март 1946 года) первыми вступили на путь конфронтации, открытой вражды с истинным победителем нацизма как разновидности капитализма. И понятно, что они не только полностью поддерживают, но и возглавляют фальсификаторов Победы, задают тон в этой подлой, продолжающейся уже более полвека кампании, какую уместней назвать операцией «Украсть лавры», на это они мастера, это не воевать, не под Арденнами бежать сломя голову, имея четырёх-пятикратное превосходство над немцами в численности и во всех видах вооружения...

Речь Черчилля вполне актуальна и сегодня — своей программностью для Запада, прикрытой развесистыми словесами о демократии, свободе и правах человека, где за каждым словом — ложь, политиканское ханжество, готовность к любому насилию ради жлобских интересов капитала, к любому преступлению ради власти над миром. А подлинную изнанку велеречивых риторических упражнений Уинстона «расшифровал» несколько позднее Даллес, цэрэушник и гомосексуалист, который уже с мерзкой, наглой от безнаказности откровенностью раскрыл все поистине сатанинские методы и средства, которыми будут побеждены русские — «самый непокорный в мире народ»...

Последовавшие исторические события вплоть до наших дней с преизбытком подтверждают сущность Запада как сверхагрессора, главного источника зла и нестабильности в мировом сообществе, его запредельный эгоизм и, в лучшем случае, злобное равнодушие к участи девяти десятых жителей Земли. Отъявленной голливудской и прочей лжи каждый честный и думающий человек должен противопоставить, как самое малое, здравый смысл и стойкое неприятие того, что навязывается нам и оттуда, и от «нашего» СМРАДа. Более того, нужны активные, наступательные действия в информационно-политическом поле, потому что наше дело правое и, как сказал Александр Невский ещё, «не в силе Бог, а в Правде».



Виталий МОЛЧАНОВ

«НЕЛЬЗЯ НАС, РУССКИХ, ПОБЕДИТЬ...»

Виталий Митрофанович Молчанов родился в 1967 году в Баку. Окончил Московскую академию нефти и газа. Служил в армии. В Оренбурге – с начала 90-х. Печатался в «Литературной газете», в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «День и ночь», «Окна» (ФРГ), альманахах «Лёд и пламень», «Паровозъ», «Гостиный Двор», «Башня», «Чаша круговая», в журнале «Русское литературное эхо» (Израиль), в «Антологии русской поэзии XXI века» и др. Автор трёх поэтических сборников стихов. Лауреат премии международного фестиваля «Славянские традиции», малой международной литературной премии «Серебряный стрелец», региональной литературной премии им. П.И. Рычкова (2014), премии «Оренбургская лира» (2014). Председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей. С 2014 года – директор областного Дома литераторов им. С.Т. Аксакова.

ТРЕУГОЛЬНИК

Багульник белым полыхнул,
зарозовел шиповник.
К утру затих недолгий бой в
объятьях тишины.
Солдат свернул тетрадный лист
в привычный треугольник:
— Лети, почтовый голубок,
неси письмо с войны.

Прошедший год — тяжёлый год...
Чем дальше, тем свирепей
Наскок фашистских наглых орд,
но твёрже наш отпор.
Грядёт июньская жара —
ни облачка на небе.
Спеши, мой храбрый почтальон,
за цепь Уральских гор.

Там необъятная Сибирь —
багульник и шиповник,
Журчит под камнем ручеёк,
и ходит в школу брат.
Там ждут, дыханье затаив,
заветный треугольник,
Не с похоронкой злой конверт —
весь в штемпелях квадрат.

Над вставшей на врага страной
лети среди пожарищ,
Всели надежду в отчий дом,
пригладь вихры полей,
Слезинки промокни крылом,
бумажный мой товарищ,
Носитель долгожданных слов
из рода голубей.

Неистов танковый мотор,
взлетает истребитель,
Плывёт корабль на всех парах,
и реет красный флаг.
Нельзя нас, русских, победить,
народ наш — победитель!
В достатке пороха, свинца
и для письма бумаг.

Багульник белым полыхнул,
зарозовел шиповник.
Навеки стих последний бой в
объятьях тишины.
Солдат свернул тетрадный лист
в привычный треугольник:
— Лети, победный голубок,
живым приду с войны!

ДОКТОР ЙОЗЕФ*

— Доктор Йозеф, залейте,
пожалуйста, солнце.
Солнце чёрное, злое в глазах
моих бьётся,
Спрыгнув с кончика Вашей
блестящей иглы.
Вы сказали: «Укол — и ты
станешь арийцем,
Называть тебя будут
по-новому — Фрицем,
Ты уедешь отсюда, из
лагерной мглы,
В чудный город, как в сказку,
где небо в алмазах,
И детишки упитанны,
голубоглазы —
В мир, где море и люди не
знают войны».
В правом... В левом...
— Поймайте страданье
пинцетом,
За буйки его, прочь. Этот
город — не гетто?
В этом городе — МАМА?
Мы встретимся с ней?

«Пляж» бетонный: бордюры,
решётки, бараки.
В детской мёртвой ладошке —
обрывок бумаги,
Фантик, — Менгеле добрый,
он дал шоколад.
«Морфология рас». Жертва
новой науки
Будет брошена в печь.
— Фройлен, вымойте
руки,
Картотеку сюда — мне в Берлин
на доклад!
За окошком фонарь тихо
плачет в тумане.
Тени, тени застыли, как
йоги в нирване —

* По собственному почину Йозеф Менгеле, в юности увлекшийся расовой теорией, проводил опыты с цветом глаз. Ему зачем-то понадобилось на практике доказать, что карие глаза ни при каких обстоятельствах не могут стать голубыми глазами «истинного арийца». Сотням узникам он делал инъекции голубого красителя — крайне болезненные и часто приводящие к летальному исходу.

С именами листок: кто ещё,
кто уже...

Доктор Йозеф сбежит от петли
— затаится,
Но утонет по пьянке
в бразильской водице.
Вечно пить слёзы жертв
непрощённой душе.

ПОСЛЕПОБЕДНОЕ

Камни точит вода — ну, а время
Точит слабые наши тела.
Бьёт война по людским
поколеньям,
Как прибойная злая волна
Увлекает с разгона песчинки
Человеческих судеб на дно.
Хроник старых скупые
картинки
Не увидишь сегодня в кино,
Не услышишь военные песни
На пластинках и лентах
кассет.
Только в мае, девятого,
«Вести»
Сообщат про Парады Побед
На осколках Великой державы —
Самой лучшей разбитой страны.
Троекратно солдатское: «Слава!»
Прогремит и закроются рты.
А потом всё пойдёт как по
нотам:
Фронтовые нальются сто
грамм,
Котелки с кашей вынесет
кто-то
(От щедрот своих спонсор
украл
На пайки ветеранам копейки
И торжественно в дар
преподнёс).
Дифирамбы с трибун, как из
лейки,
Потекут на остатки волос,
Дальше спустятся к
сморщенным шеям
И по спинам — в брусчатку,
на пыль.
Кто б поверил сейчас
лиходеям,
Сотворившим ужасную быль,
Разбазарившим недра и воды,
Все богатства родимой
земли,
За которую эти уроды
Никогда б воевать не пошли?
Камни точит вода —
ну, а душу
Червоточиной гложет вина:
«Старики, перед вами
я трушу,
Мной проиграна ваша
война...»



Александр ВОЛЖЕНЦЕВ

СООБЩАЮ, ЧТО Я ЖИВ И ЗДОРОВ...

Фронтовые письма[*]

ВОЛЖЕНЦЕВЫМ

от 26 ноября 1941 года

Здравствуйте, дорогое моё семейство: родная мама, дорогая супруга Клавдия, сестрёнка Дуся и любимый сыночек Володя!

Шлю вам горячий привет и крепкий заочный поцелуй!

Мама и Клавдя, я вам записку посылаю с Болдиновым Фёдором Ефимовичем. Он едет домой, его отпустили по болезни. Сообщаю вам, что я жив и здоров, того и вам желаю, всего наилучшего.

25.11.41 года я был на врачебной комиссии, но мне не посчастливилось домой поехать. Показывал я свои анализы желудка, результаты обследования лёгких, — ничего особого, назначили амбулаторное лечение в батальоне. Меня такое заключение встревожило, ведь несколько лет я так болел, а теперь в такое время взяли — и, вот тебе, на улучшение пошло. Ведь всякую еду, мёрзлую картовь готовишь, хлеб ржаной... Ну, да ладно — только бы живым остаться да увидеться.

Я сейчас лучше высматриваю: есть полушубок, куртка стёганая, брюки стёганые.

Неладно дело обстоит с обувью. Сапоги я наладил, но не одеваю — тесноваты. Можно одеть только с одними чулками, а этак — холодно. Мне дали обувь, называют её «чуни». Если бы вы на меня посмотрели, то сказали бы «арестант».

За всё время я денег получил 200 рублей и ещё причитается рублей 100. Но эти деньги проедаются. Мы покупаем картофель. Один пуд стоит 15-20 руб. Как живём, Фёдор Ефимович обскажет. Я от вас не получил ни одной весточки и не знаю, как вы поживаете. Если

---

* Из книги «Остаюсь жить». Записки сапёра. Калуга, из-во «Золотая аллея», 2000 г.

хлеб вы получили, а молоть вам трудно — обращайтесь больше к Якову Моисеевичу Кропоткину, он должен работать на мельнице, я его выручал немного, и он вас выручит.
Не знаю, кто сейчас в конторе работает. Если Носов, и если он дома, — обращайтесь к нему за советом и помощью. Хоть мы с ним поскандаливали, но всё же жили — работали душа в душу. Не должен вас откидывать. Если он дома — то привет ему от всей души, а также Клавдии Степановне.
Я часто думаю о свояках: живы ли они, как их семьи поживают? Как Иван Прокофьевич Гонышев, где он служит? Где дядя Иван и Пётр Алексеевич? Если живы остались, то помогайте друг другу в службе и работе. Если бы я вернулся, то выпил бы брыкаловки до спотыкачки. Ну, это же не самое главное.
Мама и Клавдя, вы со скотиной будьте аккуратнее. Кого нужно — оставьте, остальную режьте да ешьте.
Мама, ты обо мне пока не беспокойся, из-за меня не расстраивайся, я жив и здоров. Ты, мама, посматривай в доме, следи за работой Дуси и Клавди, не допускай, чтобы они скандалили. Дуся грубоватая, надо ей слушаться Клавдю. Теперь им придётся ездить за дровами и соломой. Клавдя, больше обращайтесь к Гонышеву Ивану Николаевичу, он поможет.
Писать заканчиваю. Целую вас всех заочно и привет брату Григорию Семёновичу, всему семейству, всем родным.
До свидания. А.С. Волженцев.

Е.С. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
19 февраля 1944 года
Здравствуй, родная сестрёнка Дуся!
Шлю с фронта привет и крепко заочно целую бессчётно раз! Дуся, сегодня у меня есть свободное время, поэтому я решил написать тебе письмо. Пишу о своей службе: нахожусь в той же части, где и раньше был. Служба проходит однотипная — всё тебе известно из моих писем, написанных Клавде и тебе.
Сегодня празднуем «День артиллерии». После обеда из штаба батальона принесли фотографии. Фотографировались 15.02.44 г. В этом письме посылаю тебе фотокарточку. Получился я на ней плоховато. Ну, ничего, и тому рад, что за три года к нам в часть приехал фотограф, и представилась возможность сфотографироваться. Дуся, писать особенно нечего. Пиши мне письма, как живёте вы с Клавдей? Мой совет тебе: слушайся во всём Клавдю, не ссорься, не грубиянь, помогай ей в хозяйстве своём.
Писать заканчиваю. До свиданья. Крепко целую тебя. Твой брат

родной А.С.Волженцев.
Дуся, Вера Михайловна к вам заходит или нет, и ребятишки её, Васянка и Шурик, бывают ли у вас? Напиши мне.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
от 18 августа 1944 года
Здравствуйте, родное моё семейство — дорогая жена Клавдя и родная сестрёнка Дуся! Шлю я вам красноармейский привет и крепкий заочный поцелуй!
Клавдя, у меня сегодня немного свободного времени, и поэтому смог написать тебе это письмо.
Вкратце о себе. Особенных изменений пока нет. Находимся от границы с Германией на расстоянии 30 км (как, примерно, от Черноречья до Чкалова). Идут ожесточённые боевые схватки. Враг цепляется за каждый метр земли, поэтому и продвижение у нас незначительное. Местность здесь хорошая. Ягоды есть всякие, а также и фруктовые сады есть. Хлеба созрели, овощи тоже поспевают.
Клавдя, соскучился я по вас, по родному краю. Хочется повидаться. Бог даст, возможно, останусь в живых и мы увидимся. Сфотографироваться не представляется возможности — негде. Деньги, что ты мне прислала, все целые. На них ничего не купишь, да и ничего не надо. Шамовки по горлышко, а больше на войне ничего не надо.
Клавдя, 31.08.44 г. исполняется 3 года, как я из своего родного угла вышел. Самые молодые годы проходят вхолостую. Все тягости войны на нас, все трудности и страсти. Скоро опять наступят осенние денёчки, дожди и холод. Но ничего не поделаешь. Наша задача ясна — это добить фашистского зверя в его собственной берлоге. Клавдя, напиши мне, кто ещё по ранению или по болезни пришёл домой. Как колхоз справился с уборкой? Чем убирается хлеб? Работают ли комбайны? Сколько дали по трудодням зерна? Клавдя, я тебя просил несколько раз прислать адрес Ивана Прокофьевича. Но ты почему-то ни слова не пишешь. Жив он или нет?
Писать заканчиваю. Передавай привет Марии — квартирантке вашей, Мелиховым И.И., Наталье Алексеевне, Вере Михайловне, дяде Ивану и тёте Прасковье, Носовой Клавдии Степановне, Марусе Гонышевой, Горшковым: дяде Ивану и тёте Прасковье; Петру Алексеевичу Волженцеву и Гриньке Волженцеву.
До свиданья, дорогая Клавдя и родная сестрёнка Дуся.
Крепко заочно целую! Остаюсь жив и здоров. А.С. Волженцев.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
7 декабря 1944 года
Здравствуйте, дорогое моё семейство, дорогая жена Клавдя и сестрёнка Дуся!
Шлю с фронта привет и крепко заочно целую — бессчётно раз!
Клавдя, сегодня у меня есть свободное время, и поэтому я решил написать тебе письмо, не дождавшись ответного от тебя.
Вкратце пропишу о себе.
Нахожусь я в той же части, где я раньше был, то есть в сапёрах (коренных). Существенных изменений на нашем участке фронта нет. До сего дня мы работали (сквозь деревья колею толкали). Пилили, а потом на отдых пришли. Занимались по своей военной специальности.
Клавдя, я 29.11.44 г. проходил медицинскую комиссию, результат таков: получил справку о непригодности к строевой службе. Справка-то в кармане, а сам в строю нахожусь. Признан — к нестроевой, по болезни ушей, 79-я графа. Пока ещё не ходатайствовал перед командованием нашей части, но думаю: трудов будет стоить, чтоб получить работу, положенную нестроевику, — то есть при хозчасти.
Есть указание, что нестроевики должны быть при хозчасти, а это, зачастую, совсем не так. Кто к начальству поближе, тот и... Мне, видно, что Бог даст. Клавдя, я тебе и Дусе выслал три фотокарточки. Пропишите: получили вы их или нет. От Ванька я получил ещё письмо. Он находится около Балтийского моря — в пяти километрах. Я от него в 130-ти километрах (Гольдап).
Сообщу о погоде. Сейчас то дождь идёт, то буранчик, в общем, сыро-тепло. У нас, поди, там на Урале, уже зима выпала.
От дяди Николая получаю письма. Пишет, что в Ташкенте жить туговато, всё дорого. Любанька пишет, что у них в Москве всё подешевело. Клавдя, напиши мне, как колхоз распределил доходы. Расскажи в письме, кто пришёл домой по ранению или по болезни, и кого ещё взяли.
Клавдя, писать заканчиваю. Передавай привет Носовой К.С., Ив. Ив., Наталье Алексеевне, Вере Алексеевне и Вере Михайловне, дяде Ивану и тёте Прасковье, Марусе-квартирантке, Петру Алексеевичу, Горшковым: дяде Ивану и тёте Прасковье. До свиданья. Остаюсь жив и здоров, твой муж Волженцев А.С.

А.С. ВОЛЖЕНЦЕВУ
25 декабря 1944 года.
Здравствуй, дорогой мой Шура! Поздравляем тебя с Новым годом, с новым счастьем. Шлём тебе горячий привет и заочно целу-

ем бессчётно раз!
Шура, твоё письмо от 8-го мы получили, очень рады и довольны, что ты жив и здоров. Ты писал, что проходил комиссию и тебя признали непригодным к строевой службе.
Зачем, дорогой Шура, откладывать, тебе все же надо настойчиво поступить перед начальниками. Раз такое дело — надо быть твёрдым. Я знаю — ты людей боишься распрогневать, постарайся, хуже не будет, как возможно — постарайся о себе. Шура, у нас погода тёплая. Снега нет, а уже Новый год на дворе. Климат изменился у нас — вроде зимы не будет.
Шура, ты получаешь письма от Вотинцева Николая Трофимовича, и от Любаньки тоже. Нам они не пишут письма, на что сердятся, не знаю. Я, наверное, не по мысли. Ну, ладно, силой милой не будешь. Как я тебя проводила, — получила от них, от Волженцевых, одно письмо и от Любы одно — и всё. Ну и ладно, если нету желания.
Шура, у нас и с 27-го года рождения взяли всех, и Волженцева Михаила проводили. Осталось почти одно бабьё. После ранения прибыл Михаил Иванович Гонышев. Писала уже о Николае Андреевиче Гонышеве, летом пришёл. Шура, доходы в колхозе неплохие, и надеемся, что проживём, как всегда. Писать больше нечего, заканчиваю. Шура, я очень соскучилась по тебе. Твоя жена Клавдя.

А.С. ВОЛЖЕНЦЕВУ
25 декабря 1944 г.
Здравствуйте, Александр Семёнович!
Массу наилучших пожеланий Вашей боевой жизни. Александр Семёнович, из Вашего письма узнали, что Вы прошли комиссию и должны служить в нестроевой. Ну, так что же, будьте настойчивее и смелее перед командованием, не допускайте, чтоб служить в строю, поскольку это Вам невозможно. Просите командование о переводе, а они обязательно должны сделать, этим Вы спасёте своё последнее здоровье. Вам только в нестроевую часть, а дальше видно будет.
Мария Платонова.

А.С.ВОЛЖЕНЦЕВУ
12 января 1945 года.
Здравствуй, дорогой мой Шура! Шлём тебе горячий привет и заочно целуем бессчётно раз! Шура, я получила от тебя письмо, которое ты написал 25-го. Мы очень довольны и рады, что от тебя получаем весточки. Шура, у нас погода тёплая, праздник проводили спокойно. Нерадостно что-то. Так и на Рождество.

Я очень о тебе тоскую, вспоминаю, как мы с тобой жили. Очень беспокоюсь и волнуюсь. Неужели нам не придётся с тобой ещё так жить? Грустно и обидно перед другими женщинами, у которых мужья рядом. Идут парами. Например, старшая наша сестрица, Наталья Алексеевна. А мы как бы недостойны в жизни.
Ну, ладно, Шура, нам, наверное, всё придётся переносить.Только бы Бог дал тебе здоровья, Шура, и всё вернётся назад.Тогда мы отквитаемся за все года.
Дорогой Шура, ты спрашиваешь, как солдатки проводят время. Известно, без вас скучно. Как проводить в скучном виде? Вас нету, нам и такое веселье. У кого мужья дома, тому и весело жить и хорошо. Их мужья всё привезут и принесут. А наше дело: только работай знай, да уважай, да подчиняйся всем.
Шура, ты спрашиваешь, как к нам относится Иван Иванович, помогает? Какое отношение? Хорошего — мало, и плохое не слышим. Мы разве чужим людям нужны? К себе рука больше тянется. Что про нас говорить, — что сами добьёмся, приготовим, так и живём. Кто будет помогать нам? Будем ждать тебя, тогда мне легче будет при тебе. Одна. Дома то и дело плачу.
Шура, вот уже проходит по-старому Новый год! Семь лет — восьмой исполнится, как с тобой поженились. Часто во сне вижу, как мы с тобой жили, всё вспоминается, дорогой Шура. Очень, очень по тебе соскучилась, хоть бы одним глазком взглянуть на тебя.
Шура, писать заканчиваю. Привет от Маруси Платоновой. Мы живём втроём в мире, Дуся слушается. Коровушка отелилась, даёт молоко, девять литров. Шура, хлеба я заготовила и подкупила, и ещё вот-вот поеду, подкуплю. Коровушка доится, кушаем молоко досыта. Шура, подкормила бы я тебя всем, что тебе нужно: и творогом, и сметаной. Ну, ладно, Шура, до свиданья. Писала твоя жена Клавдия Алексеевна Волженцева.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
от 16 января 1945 года.
Здравствуй, дорогая Клавдя и родная сестрёнка Дуся!
Шлю привет и крепкий заочный поцелуй!
Клавдя, я вчера получил от тебя письмо, которое ты написала 1 января, сердечное тебе спасибо. Из твоего письма видно, что в твоей домашней жизни всё в порядке. Это хорошо.
Состоишь в пожарной дружине. В хозяйстве прибыток — корова отелилась. Как я о молоке соскучился! В живых останусь, тогда и покушаю своё, домашнее молочко.
Клавдя, я тебя несколько раз просил, если представится возможность, сообщить мне адрес Солодовникова Петра. Мне хочется

узнать, каким образом он попал в наш город и как устроился?
В службе моей изменений нет. Погода холодноватая, вчера подвыпал снежок. Пока находимся в летней обуви — зимней, по-видимому, не будет.
Клавдя, напиши мне, кто у вас в конторе работает, кто в сельпо, кто в сельском совете и на почте. Кем служит Зины Щукиной муж — Александр? Он, по-видимому, в чине офицера теперь.
Клавдя, пиши мне обо всех новостях у вас, а их, я полагаю, много-премного. Ты почему-то мало пишешь о текущей жизни села.
Родная, я тебе рассказывал о состоянии своего здоровья в предыдущем письме.
Писать заканчиваю. До свиданья. Крепко целую тебя, Клавдя, и сестрёнку Дусю. Привет Марусе Платоновой. Клавдя, что — Николай Волженцев (Коля Маленький) пишет своей Евлампии письма или нет? Сообщи мне об этом.
Остаюсь жив и здоров, твой муж. А.С. Волженцев.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
9 февраля 1945 г.
Здравствуй, дорогая Клавдя и родная сестрёнка Дуся!
Шлю с фронта привет и крепкий заочный поцелуй!
Клавдя, я это письмо и не хотел писать только лишь потому, что на высланные мной несколько писем ответа не получил. Почему-то регулярность получения писем от тебя, Клавдя, нарушена. Я посылал 21/XII, 31/XII, 4/1, 8/1, 11/1, 13/1 и 26/1 — на эти письма нет ни слова от тебя. Я вначале подумал, что переписка прервана из-за передвижения на нашем участке фронта. Но вот получил два письма от Гриньки Волженцева. Мои письма, посланные ему в тот же срок, что и тебе, им получены. Прошу тебя ответить, почему нет от тебя писем? Или ты серчаешь на что-то, или посылаешь, а я не получаю.
В службе моей изменений нет. Прибаливаю. Погода здесь стоит такая, как у нас в апреле месяце. Снег выпал и растаял. Писать заканчиваю. Привет всем родным и знакомым, а также Марусе Платоновой. Жду ответа. Остаюсь твой муж.
Целую тебя А.С. Волженцев.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
14 февраля 1945 г.
Здравствуйте, родное моё семейство: дорогая жена Клавдя и родная сестрёнка Дуся!
Шлю с фронта привет и крепкий заочный поцелуй!
Клавдя, сразу же с первых строк сообщаю тебе, что со здоровьем

стало получше.
Моя родная, сегодня часов в 12 дня пришла почта и мне принесли четыре письма, одно от тебя, написанное 26/1-45 г., одно от Вотинцевой Татьяны, одно от Александра Никифоровича, и одно от Васянки — племянника. От души говорю, Клавдя, как я был рад твоему письму! Представь себе, я уже стал задумываться о причине неполучения весточки от тебя. Мне в голову стали лезть разные мысли. Я то и дело брал записную книжечку и посматривал на даты посланных тебе писем. Припоминал: о чём же тебе в них писал? В письме от 25/XII-44 г. я подробно рассказал о нашем фронтовом житье-бытье, чем мы занимаемся. 25/XII — день моего рождения. Как раз мы отдыхали. Вспомнил о прошлом, подумал о своих прожитых годах. На это письмо от 31/XII-44 г. ответа я не получил. Может, они ещё не дошли? За это письмо сердечно благодарю. В нём ты сообщила, что мои письма за 1/1-45 г., 8/1-45 г. тобой получены.
Ты, Клавдя, пишешь о себе, о нашей родне. Теперь я знаю хоть, кто кем работает — Ив. Ив. Мелехов, дядя Иван, Пётр.
Какая судьба постигла Ерахтина Петра?
Вкратце о себе. В службе изменений нет. Сейчас на нашем участке фронта существенного ничего не происходит.
Погода: кругом грязь да лужи, снега нет. Изредка вывернется ясный день, а то всё непогода. Или буранчик мокрый, или дождь. У нас на родине такая погода бывает или в середине, или в конце апреля.
Клавдя, я ещё сильнее стал думать о тебе, о родном крае, хоть Бог дал бы остаться в живых, да вернуться к тебе и к Дусе.
Писать больше нечего. Передавай привет Марусе Платоновой, Ив. Ив., Наталье Алексеевне, Вере Михайловне, Вере Алексеевне, дяде Ивану и тёте Прасковье, Петру А., Марусе Гонышевой и Горшковым дяде Ивану и тёте Прасковье.
Клавдя, пиши в письме, какая у нас погода, кто ещё пришёл домой и кого взяли. А пока — до свидания, крепко целую тебя, Клавдя, и сестру Дусю. Писал любящий тебя муж. А.С. Волженцев.
Клавдя, 8/III-45 исполняется три года, как померла моя мама, а поэтому тебя прошу, если есть возможность, то помяните родную маму.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
18 февраля 1945 года.
Здравствуйте, дорогая возлюбленная жена Клавдя и родная сестрёнка Дуся! Мои милые, крепко обнимаю и целую вас!

Клавдя, я вчера получил от тебя письмо от 28/1. 45 г. От всей души спасибо. Ты сообщила, что Ст. Ив. Донсков год прошёл, как погиб. Да, жалко товарищей. Ну, что поделаешь — кому какая судьба. Ты, Клавдя, не расстраивайся из-за меня. Конечно, шутка сказать — четвёртый год врозь. Я всё думаю о тебе.
Вспоминаю, какая ты была в девках — крепкая, гордая. Потерпи, Клавдя. Будь спокойнее, помни о том, что я, твой муж, только и думаю о тебе и крепко люблю тебя.
Ванек Гонышев писал мне, что Маруся его держится хорошо. У него больше возможности остаться в живых — служба у него легче. Потому-то Мария и спокойна. Ну, а мне что Бог даст. Возможно, останусь в живых. Тогда уж заживём по-старому, как жили.
Я, конечно, виноват, что частенько в письмах описываю трудности на войне. Что же? Иногда так расстроишься, подумаешь о том, что до войны был негодным к строевой службе, а на войне попадаешь в строй. А тот, кто был до войны в кадровой, сейчас обитает при хозчасти, да ещё при штабе. В этом, возможно, я виноват — не добиваюсь того, что мне положено, слабохарактерный.
Вчера был нам праздник — 27-я годовщина Красной Армии. Провели мы его так. Днём немного работали, а вечером нас в кино повели. Кино показывали в помещичьем немецком домике — фольварке. Потом красного вина по 200 г выпили да трофейного гостинца попробовали и разошлись по своим землянкам, — спать.
Ну, Клавдя, писать заканчиваю. До свидания. Привет Марусе Платоновой и всем родным и знакомым.
Ещё раз, Клавдя и Дуся, обнимаю вас. Остаюсь твой любящий тебя муж Шура.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
8 марта 1945 года
Здравствуйте, дорогие жена Клавдя и сестрёнка Дуся!
Горячо целую вас, мои родные!
Клавдя и Дуся, сейчас пишу вам письмо, не дожидаясь ответного от вас. Сегодня исполнилось ровно три года, как нашей мамы не стало. Обо всём вспомнилось. Как мама растила, воспитывала нас. Трудная жизнь досталась ей, тяжкая судьба выпала.
Клавдя и Дуся, уже три года живёте вы без мамы, одни, — и всё у вас в порядке. Я прошу и дальше так держаться, не ссорьтесь. Особенно Дусю прошу, чтоб не пререкалась.
Дуся, ты слушайся Клавдию во всём. Если будешь себя вести хорошо, то к тебе так же будет относиться и Клавдя. Когда у вас всё в порядке, то и сам я чувствую себя лучше. Мне легче перено-

сить тяготы войны. Несколько слов о себе. В службе изменений нет. Второго марта выпал снег и продолжает подсыпать. Много выпало, даже стало походить на нашу русскую зиму. Клавдя, почему-то от тебя нерегулярно стали приходить письма?
Или от меня не получаешь, или твои до меня не дошли. Клавдя, милая моя, скоро война кончится, жди верно меня, скоро заживём по-старому. Только бы Бог дал остаться живым и невредимым. Ещё раз крепко целую тебя, Клавдя, и сестру Дусю. До свиданья. Твой муж Шура.

К.А.ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
10 марта 1945 г.
Здравствуйте, дорогое моё семейство, любимая жена Клавдя и родная сестрёнка Дуся!
Клавдя, я сегодня получил от тебя письмо от 13/11-45 г. и очень был доволен. Клавдя, ты этим письмом ответила на моё письмо от 26/1-45 г., а я ещё раньше тебе писал — 16/1-45 г. Не знаю, ты это письмо получила или нет. Вот уже на 3 письма, от 25/XII, 31/XII-44 г. и от 16/1-45 г. я ответа не получил. Ты, по-видимому, их ещё не получала.
Клавдя, ты пишешь, что на побывку пришёл Андреев И. Интересно, как его отпустили. Из нашей части ездили на побывку за 2,5 года человек пять. И то давно: в начале 1944 года.
Клавдя, как же я соскучился, не выходишь ты у меня из головы. Лягу спать, ворочаюсь на нарах, всё переберу в уме. Вспоминаю о прошлом и думаю о настоящем. Стал окончательно растерянный. Впереди нам предстоит выполнять трудную работу. Ну, дальше, что Бог даст.
Недавно я подал рапорт старшему лейтенанту медицинской службы. Но ответа от него нет. Да, трудно получать то, что положено. Дорогая Клавдя, ты пишешь, что у вас в колхозе купили движок и кинопостановки идут через день. Это хорошо. Смотрите, какие ужасы и трудности переносим в борьбе с проклятым фашизмом. Смотри в кино, как сапёры трудятся, переправы наводят, мосты строят, разграждают препятствия противника, режут проволоку, минные поля разминируют, штурмуют доты. Сейчас нам, сапёрам, всё труднее и труднее. Мы на территории противника. Враг понастроил множество фортификационных сооружений.
Клавдя, мне всего минуту назад ребята принесли письмо от Ивана Саблина. Он пишет, что находится невдалеке, под Кенигсбергом, где-то рядом со мною. Я его письму рад, очень рад. Он старается увидеться со мной. Мечтаем: если встретимся, то обязательно напишем совместное письмо вам — нашим жёнам, дорогим Марусе и Клаве. Пишет: «Наши жены ждут нас, своих мужей, а моя Ма-

руся ждёт меня шестой год». Я ему также в ответ пошлю письмо. Писать больше нечего. До свиданья. Привет Марусе Платоновой и всем родным и знакомым. Крепко целую тебя, Клавдя, и Дусю. Остаюсь твой любящий муж А.С. Волженцев.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
14 марта 1945 года.
Здравствуйте, родное моё семейство, дорогая жена Клавдя и родная сестрёнка Дуся! Шлю привет и крепко целую бессчётно раз! Клавдя, я вчера получил от тебя письмо от 6 февраля. Я так рад, спасибо, родная. Это письмо, видимо, долго шло. Письма, написанные тобой позже, я получил ранее этой весточки.
Из неё я узнал, что письма от 31/11.44 г. и от 6/1.45 г. ты получила. А я ведь думал, что они до тебя не дошли. Оказывается, весточки наши друг другу, хоть и с опозданием — приходят. Ты сообщила, что от Зининого мужа — нет слуху. Это печально. Спасибо, что сообщила адрес Ерахтина П.В.
Вкратце о себе. В службе изменений нет. Отдыхаем. Занятия проводим по своей военной специальности. Ивану Максимовичу Саблину написал письмо. От Ванька получил. Часто получаю письма от Алек. Ник. Вотинцева. Он неподалёку от меня находится. И Ванёк тоже был рядом. Он от Мемеля до Кенигсберга доходил. Сейчас — в Мемеле. Да ведь, возможно, где и мимо друг друга пройдёшь — не заметишь, не сможешь увидеть.

У меня летом был такой случай в Литве. Ночью мы передвигались на передовой рубеж. От передка было три километра. И вот, иду по дороге, а в стороне выкликают фамилию мою. Тут стояли автомашины и повозки. Я хотел подойти, расспросить о своём однофамильце, разузнать — откуда он, да побоялся отстать от своей части. Возможно, это кто-то был из земляков, односельчан.

Поздравляю Дусю с днём рождения. Тридцать первый годок ей пошёл. Желаю тебе всего хорошего, сестра, всего хорошего в жизни, главного — здоровья. Дожидайся меня!

Писать заканчиваю. До свиданья. Ещё раз крепко заочно целую тебя, Клавдя, и сестру Дусю. Привет Марусе Платоновой, всем родным и знакомым. Остаюсь жив и здоров. Твой муж Шура.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
20 марта 1945 года.
Здравствуйте, дорогая моя возлюбленная жена Клавдя и родная сестрёнка Дуся! Шлю с фронта привет и крепко заочно целую бессчётно раз.

Клавдя, сегодня получил от тебя письмо, которое ты написала 4/III, за что благодарю. В письме ты пишешь, что сильно заболела. Это меня сильно взволновало. Клавдя, я тебе не раз писал, не перегружай сама себя. Для чего перегружать? Что у тебя, семеро с ложкой, что ли, за столом? Есть необходимое для существования —и ладно. Вкратце о себе: в службе изменений нет. Погода очень тёплая. Здесь в Восточной Пруссии уже три раза зима была. Выпадет снег, полежит неделю или две, и опять начинается оттепель. Идут дожди, кругом непролазная грязь. Теперь, по-видимому, началась по-настоящему весна. Сегодня моросил небольшой дождь. Состояние здоровья нормальное. Клавдя, сильно я соскучился по тебе, по Дусе, по родному краю. О чём ещё написать? Получаю письма из Ташкента, от Ташки, из Москвы — от Любаньки, от племяшей: Васянки и Шурки, от А.Н. Вотинцева, от Ивана Мак. — Марусиного друга.

Ну, дорогая, писать больше нечего. Клавдя, перед нами город-крепость. Мы его должны взять. Возможно, Бог даст, и останусь в живых.

В отношении себя: писал рапорт командиру роты, и ещё — старшему лейтенанту медицинской службы нашего батальона. Но впустую. Надежды попасть, устроиться в хозроту нашей части — нет. Наоборот — из хозчасти некоторых переводят в строй. Писать заканчиваю. До свиданья. Крепко целую тебя, Клавдя, и Дусю. Привет Марусе Платоновой, Ив. Ив., Наталье Алексеевне, Вере Алексеевне, Вере Михайловне, Петру А. и Горшковым: дяде Ивану и тёте Прасковье.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ

30 марта 1945 года

Здравствуйте, родное моё семейство, дорогая жена Клавдя и родная сестрёнка Дуся! Шлю с фронта привет и крепко заочно целую бессчётно раз!

Дорогая Клавдя, не дождавшись от тебя ответного письма, я решил тебе сегодня написать. Дорогая Клавдя, ведь мы на фронте и дышим вашими письмами. Как нет долго письма, так какая-то тоска находит на меня.

Сегодня мы ничего не делаем. Ждём приказания «вперёд!» Перед нами, сапёрами, сложная задача ставится при штурмовке городов. Сегодня, по-видимому, переходим на передовую. Что-то волнуюсь. Возможно, Бог даст, останусь в живых. Следи за моими письмами аккуратнее. Ходатайствовал о себе, но пользы нет. Писать больше нечего. До свиданья. Крепко целую тебя, Клавдя, и сестру Дусю. Привет Марусе и всем родным и знакомым.

Остаюсь жив и здоров, твой муж Шура.
Дорогая сестра Дуся, у меня к тебе просьба: слушайся во всём Клавдю и молись Богу, чтобы мне в живых остаться, тогда заживём, как и жили.
Крепко целую тебя. Твой брат Шура.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
11 апреля 1945 года
Восточная Пруссия, г. Кенигсберг
... итак, мы вместе с пехотой пошли на штурм Кенигсберга. Клавдя, я не могу описать все страсти и ужасы, все трудности, перенесённые за последнее время.
Представь себе, я — сапёр, должен идти вместе со стрелками, имея при себе: автомат, топор, щуп для отыскивания мин, ножницы для резки проволоки, заряд-взрывчатку — 5 кг для подрывания, и ещё маленькую лопатку пехотинскую. Да ещё на себе вещевая сумка. И вот: успевай под обстрелом перебегать вместе с пехотой и окапываться. Вчера поздно вечером гарнизон города Кенигсберга капитулировал. Всюду идут толпы пленных немцев, идут гражданские с чемоданами, город горит. Клавдя, я не могу тебе описать, как выглядит Кенигсберг. Может, когда-нибудь штурм этого города покажут в кинофильмах.
Дорогая Клавдя, я сегодня посмотрел на себя в зеркало, и мне кажется, что ещё на 10 лет постарел. Но, слава Богу, я ещё жив, а дальше, что Бог даст.

К.А.ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
9 мая 1945 года
Здравствуйте, родное моё семейство, дорогая любимая Клавдя и единственная сестрёнка Дуся! Шлю привет и крепко-крепко заочно целую вас!

Дорогая Клавдя и Дуся, сегодня в 3 часа ночи я услышал то слово, о котором я так мечтал и думал всё время. Это слово — мир. Гитлеровская Германия побеждена нами и армиями наших союзников. Вот как мы узнали об этом событии.

Ночью, часа в три, нас подняли по тревоге. Когда выбежали мы из казармы — всё небо было освещено ракетами, трассирующими пулями и выстрелами снарядов. Это был салют наших воинских частей. Мы построились. Наш командир части — подполковник — объявил, что Германия полностью капитулировала. Ну, наша братва крикнула громко «Ура!» и дала залп в честь нашей победы над Германией.

Писать больше нечего, главное то, что я, слава Богу, остался

живым и здоровым. Теперь — дал бы Бог, возвратиться благополучно к вам, домой.

Да, Клавдя, в сегодняшний день исполнилось 3 года, как сынок Володя помер. Если бы он остался жив, то был бы уже большеньким. Ну, ничего не поделаешь — на то Божья воля.Письмо заканчиваю. До свидания. Ещё раз целую тебя, Клавдя, и Дусю. Привет всем родным и знакомым.
Твой любящий тебя муж Шура.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
27 мая 1945 года
Здравствуйте, дорогие, любимая жена Клавдя и сестрёнка Дуся! Дорогая Клавдя, сегодня я получил письмо, написанное тобой 6 мая, спасибо, моя родная.
Клавдя, ты пишешь, что в хозяйстве у тебя всё в порядке, скотину выгнали на пастбище. Понемножечку идёт посевная. Старайтесь посеять больше. Возможно, в нынешнем году и нам придётся принять участие в уборке урожая.
Вкратце о себе. Нахожусь в лагере, проходим обучение.
Погода ещё прохладная, особенно по утрам и вечерам. День и ночь думаю о тебе, о Дусе. Так бы и улетел я к вам. Как я соскучился, дорогая ты моя — по тебе. Шутка ли сказать — четвёртый годок идёт, как врозь мы с тобой, да в самые молодые годы.
Я теперь, наверное, и разучился разговаривать с женщинами, и не думал о них — только о тебе. Сдерживаю своё слово, данное мною тебе при отъезде на фронт, — не дотронусь до чужих женщин, верен тебе, жду с нетерпением нашей встречи. Писать заканчиваю. До свиданья. Крепко целую тебя, Клавдя, и Дусю. Остаюсь живой, твой любящий тебя муж Шура.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
3 июня 1945 г., г. Рагнит
...Рагнит — местечко, расположенное на берегу реки Неман, от города Тильзита в двенадцати километрах.
Сам городок выглядит красиво, по улицам разные деревья, во дворах сады — смородина, яблони. Много кустов сирени, — обыкновенная, как у нас на родине, а также есть белая сирень. Здесь несколько заводов, некоторые не пострадали от боёв, остались целы. Есть разбитые и сожжённые дома. Местных жителей почти нет (единицы).
Сегодня выходной день. Боец Зуев принёс немецкий календарь. Он нашёл его в одном из домов. Всю эту записочку-весточку пишу на обратной стороне этого календаря. Посмотрите на картину в

календаре, Клавдя и Дуся, вы её сберегите. Она напоминает мне об одном случае, происшедшем со мной во время похода в 1944 году. Было так. Мы прошли Западную Белоруссию и вступили в пределы Литвы. В Литве дороги хорошие, большей частью обсаженные деревьями. Дорога, на которую мы вышли, была открытая, деревьев здесь не было. Передвигались в составе 3-х рот. Из первой роты был только взвод разведки, а остальные взводы этой роты двигались со штабом корпуса. Вот идём. Глядим: летят самолёты. Все подняли головы вверх. Кто говорит: наши, а кто — немецкие. Развернув, эти самолёты пошли в пике. Здесь уже стало ясно, чьи это самолёты.

Рядом проходил арык. Под дорогой для него была проложена труба круглая, в диаметре с метр. Ребята, как дождь, бросились врассыпную. Я, Панов, Кузин, Печечуев, Сидоров, Демин кинулись к этой трубе. На нас были винтовки, а у некоторых автоматы. Один Сидоров проскочил в трубу, а Панов задел карабином край трубы и загородил вход. Мы все остальные застряли в ней — головы просунули, а остальное всё наружи.

Все перепугались, носы поободрали. Но самолёты сбросили по бомбе — не причинили вреда и улетели. Случилось это, не доходя Немана, неподалёку от него.

К.А.ВОЛЖЕНЦЕВОЙ

9 июля 1945 г.

Дорогая Клавдя, ты мне письма что-то скупо пишешь. Не описываешь жизни села. Сердце ноет, всё больше тоскую по дому.

Клавдя, кто же приехал домой по демобилизации? Про кого нет слуху? Эх, только бы добраться до родного уголка!

Клавдя, что же ты ничего не прописываешь про Ивана Ивановича? Почему он не пишет мне письма? Бываешь ли ты в Чкалове, была ли у Веры Михайловны? Приходит ли она к вам?

Клавдя, извини, что, может, я плохо пишу — никак не могу успокоиться. Только бы посмотреть на тебя, дорогая. Только бы подняться духом. До свиданья. Крепко заочно целую бессчётно раз! Твой любящий тебя муж Шура.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ

22 июля 1945 года

Здравствуйте, любимая моя Клавдя и родная сестрёнка Дуся! Крепко целую вас!

Дорогая, сегодня я получил от тебя письмо. В нём печальное известие: дядя Иван помер. Как жалко. Ну, что же поделать — на то, видно, Божия воля.

Ты написала о себе. Хорошо, дорогая, хоть ты меня успокаиваешь. Четыре года только и дышу твоими письмами. Они мне силу и бодрость придавали. Да, по-видимому, мои нервы натерпелись. От тебя что-то долго не было письма. Я ожидал его 3 июля, но ты, наверное, предыдущие письма ещё не получила. Я тебе послал открытку большую, в ней описал один эпизод.
Скоро, скоро, родная, солдаты моего взвода будут готовиться к отправке домой. Бойцов с тринадцатого года рождения и старше будет обследовать комиссия, и нестроевиков должны отпустить.
Да, дорогая, я так стал расстраиваться, что порой не могу даже собраться с мыслями. Четыре года войны — какие трудности приходилось переносить — не чувствовал ничего плохого в здоровье, а сейчас что-то стало неладно. Ну да ничего, дорогая, подожди, потерпим ещё немного, а там, Бог даст, вернусь к тебе, и будем жить, как и раньше жили.
Да, Клавдя, мне Пашка Вотинцев писал о том, что дядю Николая в больницу положили. Каково его здоровье?
Клавдя, что ты по хозяйству управляешься — это хорошо. Верю, Клавдя, что тебе досталось. Если бы моё здоровье было такое же, как на войне, то это было бы великое счастье.
Ну, пока, дорогая, писать заканчиваю. Крепко, крепко целую тебя, Клавдя, и Дусю. Остаюсь жив, твой любящий тебя муж Шура.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
28 июля 1945 года
Здравствуйте, дорогая моя Клавдя и родная сестрёнка Дуся!
Шлю привет и крепко целую бессчётно раз!
Клавдя, сегодня я получил от тебя письмо от 15/VI-45 г.
Спасибо тебе большое!
Дорогая, уже проводили солдат 1905 года рождения.
Эх, Клавдя, а всё же со мной что-то неладное творится со здоровьем. Как досадно: во время войны ничего не чувствовал, а теперь что-то разболелся — и с чего это приключилось?
Вначале бессонница, какое-то волнение, потом о тебе загрустил, недомогание появилось. Сейчас домой все едут. Может, из-за этого я так взволнован, и всё нездоровье. К врачам ходил, но они ничего не признают. И сейчас хожу к своему фельдшеришке, но он только и толмит, что ничего особенного нет, что я мнениями создаю себе болезнь. Ты, дорогая, не расстраивайся. На то, видно, Божья воля. Перенёс с помощью Божьей все страдания на войне. Всё же Кенигсбергская и Пиллаутская операции дали о себе знать, подействовали на меня, на моё здоровье. Раньше ре-

бята все моему характеру завидовали — всё время я спокойно вёл себя, а сейчас так пошатнулся. Ну, ладно, ещё потерплю как-нибудь. Писать заканчиваю.
До свиданья. Остаюсь жив, твой муж Шура.
Сейчас пока не работаю, за писаришку заворачиваю, так как старого проводили домой.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
31 августа 1945г.
Восточная Пруссия, г. Топиау
Здравствуйте, дорогая моя Клавдя и родная сестрёнка Дуся!
Шлю привет и крепкий заочный поцелуй!
Клавдя, сегодня я порешил тебе написать небольшую записочку, не дождавшись от тебя ответного письма. Дорогая, сегодня я вспомнил о том, как четыре года тому назад расстался со своим семейством, со своим селом.
Да, прокатило порядочно времени, теперь гляжу назад, на пройденную пору, и от таких мыслей кажется, что теряешь сознание. Как много в жизни ушло! Да, в этой кровопролитной схватке незаметно проблеснуло времечко. А вот эти четыре месяца после окончания войны — ещё четыре года прошли.
Как томительно, мучительно без любимой — без тебя. Ноченьки напролёт не спишь — вспоминаешь о жизни с тобой, о тяжёлой выпавшей мне службёнке.
Ну, писать особенного нечего. Теперь-то уж, рано или поздно, а встретимся. Да, дорогая — как же я изменился в личности, и это в особенности за нынешнюю зиму и весну. Что же поделаешь, родная. Война дала себя почувствовать! Если Бог и сохранил — не ранило и не покалечило, так на душу дало знать.
Ну, ладно, жди, дорогая, меня. Война с Японией закончилась, так что теперь начинается мирная жизнь. Пиши, Клавдя, кто ещё пришёл домой по демобилизации или в отпуск? Никак я не могу выбраться, хоть бы пока в отпуск. Думал по заключениям врачей выкарабкаться, но заключения только и твердят: особенного у меня ничего нет.
А пока, дорогая моя, до свидания. Крепко тебя и Дусю целую. Остаюсь жив. Твой любящий тебя муж Шура.

К.А. ВОЛЖЕНЦЕВОЙ
22 сентября 1945 г., г. Топиау
Здравствуйте, дорогая Клавдя и родная сестрёнка Дуся!
Шлю привет и крепко заочно целую бессчётно раз!
Клавдя, я сегодня получил от тебя два письма, от 28-го мая и от

14-го августа. Как долго письма шли!
Дорогая, о чём писать? Теперь уже эта писанина не в моде стала, — многие-то теперь уже встретились со своими семьями, а мы всё ещё врозь. Но — ничего. Когда-нибудь и мы увидимся. В моей службе затруднений нет. Работаю писарем роты. Когда приеду, затрудняюсь сказать. И кое-что предпринимаю.
Клавдя, ты расстраиваешься, что многие возвращаются домой, а я продолжаю служить. Не расстраивайся, скоро и мы увидимся. Не расстраивайся из-за моего здоровья. Плохого в моём здоровье нет.
Писать заканчиваю. До свидания, крепко целую. Остаюсь жив. Твой любящий тебя муж Шура.
Привет Марусе Платоновой, Ив. Ив., Наталье Ал., Вере Ал., тёте Прасковье, Маруське Ваньковой, Петру Алексеевичу, Мартировичу и Горшковым.

А.С. ВОЛЖЕНЦЕВУ
16 октября 1945 года
Здравствуй, дорогой Шура!
Шлём тебе горячий привет и заочно целуем бессчётно раз!
Шура, твоё письмо от 22 сентября я получила. Ты же не знал о приказе? Приказ стал известен 26 сентября. Сейчас о нём ты, наверное, знаешь. Твой возраст под этот приказ попадает. Я только этого и ждала — все часы и минуты. Я очень рада, что теперь ты придёшь насовсем домой.
Шура, дорогой мой, сейчас у нас радость. Мы встретили Гонышева Ивана Прокофьевича. Я наплакалась. Когда же и мне будет такая встреча с тобой? На встрече все-таки погуляли, повеселились, попели. Шура, я только и думаю про тебя.
Мы разговаривали до 12 часов ночи, у нас играл патефон. Вспоминали все о тебе. Я не могу спокойно взглянуть, так и зальюсь. Ну, ладно, дорогой мой, всё-таки я тебя жду и дождусь, теперь скоро придёшь, дорогой.
Шура, ты мне сообщи, когда будешь собираться домой, всё-таки надо приготовить вечер. Вина я взяла немного. Жду теперь тебя с часу на час.
Шура, о нас с Дусей не беспокойся. Мы живём по-хорошему. Я веду себя честно и благородно. Приедешь и убедишься. Жду тебя, своего любимого мужа. Твоя жена Клавдя...



Диана КАН

«НЕТ, НИЧТО НА РУСИ НЕ ЗАБЫТО!»

Стихи из новой книги

Диана Елисеевна Кан родилась в советском городе-гарнизоне Термезе в Узбекистане в семье кадрового офицера, этнического корейца. В 1980 году переехала в Оренбург, на родину матери, потомственной яицкой казачки. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и Высшие литературные курсы. Член Союза писателей России, руководитель народного литобъединения «Отчий Дом». Дважды лауреат ежегодной премии журнала «Наш современник», лауреат всероссийских литературных премий «Традиция», «Имперская культура», Самарской губернской премии в области литературы, Самарской региональной премии им. поэта Виктора Багрова, премии имени Валериана Правдухина альманаха «Гостиный Двор» (2010), Всероссийской литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка» (2012). Живёт в Новокуйбышевске Самарской области.

* * *

Не похвалялся, едучи на рать.
Не похвалялся, воротясь с
победой.
С устатку сел, обнял старушку-
мать,
Родной воды колодезной
отведал.
Во глубину колодца заглянул...
И, вздрогнув от внезапного
волненья,
Вода вернула ласково ему
Геройское — в медалях! —
отраженье.
«Вкусна водица!» — крякнул
и как есть
Всего себя он окатил водою —
Живой водой, что водится
лишь здесь:
Колодезной, родимой,
ключевою.
Она текла, беспечна и вольна.
Она текла-текла, не утекала.
Не только по усам текла она,
Но золото медалей омывала.
Не зря живой в народе
прослыла —

Она бальзамом врачевала раны.
И мёда слаще та вода была,
Что венчана с родной землёй
песчаной.
Она роднилась с солнцем и
тогда
Высокой тучей в небо
поднималась...
Стремилась в Волгу отчая
вода,
Текла сквозь пальцы, в руки
не давалась.
...Была большая трудная
война.
Душа солдата воевать устала.
Святой водой родная сторона
С души солдата копоть
отмывала.

* * *

Неприкаянно, неприкаянно
Я свивала пути в кольцо...
И когда набрела на Каина,
Не узнала его в лицо.
Я сказала: «Богатым будете
Вы, проливший родную
кровь...»
Он ответил: «Вы строго судите
Эту родственную любовь...»
Это что ж за любовь, идущая
Из библейских тёмных глубин —
Дочь, родную мать
предающая,
На отца восстающий сын?
Мы к согласью прийти
не чаяли —
Каждый правду свою искал.
Но лишь речь заходила
об Авеле,
Собеседник глухо смолкал.
И в возникшей неловкой
паузе
Мы тайком вздыхали с тоской:
«Почему же товарищ маузер
Нам роднее, чем брат
родной?..»
Погорюем так и —
расстанемся.
Впредь не встретимся: жизнь
коротка.
А пока... А пока...
Апокалипсис
На Руси моей длится века.

* * *

Пора отрешиться от чепухи:
Чем я, собственно, хуже?
Бросила пить, курить и писать
стихи.
Пора подумать о муже.
Был ввысь устремлён
белопенный наив
Ветвей, расцветающих в мае.
Настала пора — и осенний
налив
Строптивые ветви склоняет.
Часами над милою
Волгой-рекой
Сижу — само благонравие.
Неужто надо — за упокой,
Чтобы закончить за здравие?
Пора влюбляться негорячо,
Подонков судить нестрого.
Пора перестать подставлять
плечо
Тому, кто подставил ногу.
Пора... Золотая пришла пора.
Рябины пылают гроздья.
А там, где была я ещё вчера,
Не ждут меня нынче в гости.

* * *

Измельчали мы, измельчали...
Мы не те, что были вначале.
Где косая сажень в плечах?
Где Перунов огонь в очах?
Где предания отчего края?
Расклевала картавая стая...
Где любовь, что веками нам
снилась?
Триаршинной косой
удавилась.
Алой лентою кровь утекла...
Вот такие, мой друже, дела.

* * *

«Рус...» — читаю нынче на
заборе.
Время удивляться, не шутя.
Помнится, писали тут другое,
Три весёлых буквы приплетя.
Нынче вспоминается
с улыбкой,
Как в кратчайшем из
возможных слов
Ухитрялся допустить ошибку
Некий вольнодумец-
острослов.
Нынче все мы вроде
вольнодумцы.
И на всё у нас готов ответ.
Скажешь: «Русь» — тебе в
лицо смеются,
Словно слова неприличней
нет.
Мы не то чтобы умом не вышли,
Но живём-то, братцы, однова!
От избытку чувств-с порою
пишем
На заборе всякие слова.
Вроде никого не порицая,
«Русский» написать
пыталась ты.
Тут же подоспели полицаи,
Извиняюсь, бывшие менты.
Всю Россию превратив в
казарму,
Наводя кладбищенский уют,
Хорошо ещё хоть не жандармы
Нам урок грамматики дают!

* * *

Дерут друг друга за грудки
Поэты местного Олимпа...
А я смотрю, как у реки
Неспешно облетает липа.
Как пышно по весне цвела!..
Но вышел срок — она увяла.
Коллеги, не держите зла!
Я ни на что не намекала.
Решать не нам вокруг стола,
Кто переплавит в высших
тиглях
Страданья — коим несть
числа! —
Поэтов захолустий гиблых.
Тот, кто осип. Тот, кто охрип.
И тот, кто в драке изувечен.
Под сенью облетевших лип,
Собратья, помолчим о вечном!

* * *

О, Россия моя, что случилось
с тобой?
Этот снег никогда не растает!
Ну, а если растает — увижу с
тоской:
Вновь из отчей земли
прорастает
Там, где прежде шумела
трава-одолень,

Врачевавшая русские раны,
Прорастает лихая
трава-одурень,
Полоня и луга, и поляны.
Что за страшная здесь
прокатилась орда,
Повенчав мою отчину с горем,
Что не только пшеница, но и
лебеда
Сведены оказались под корень?
Да не выкурит нас из родных
деревень
Дурь-трава, что хужей
супостата!
Прежде вили из этой
травы-одурень
Мы не только морские канаты!
Нас враги не однажды пытали
на слом,
И не раз смерть косая косила...
Как сумела скрутить
неразвязным узлом
Русь Святую змеиная сила?
Всё дано нам от Бога — и
статность, и ширь...
Нашу удаль никто не обузит!
Где тот Муромец, где тот
Илья-богатырь,
Что предательский узел
разрубит?

* * *

Век серебряный. Сон золотой.
Медный всадник взлетел с
пьедестала.
Я вослед: «Вседержавный,
постой!
Не бросай меня здесь!..» —
закричала.
Сиротой оставляешь страну
Ожиревшим ворам на
расправу...
Он с небес: «Ухожу на
войну.
На тебя оставляю державу».
Пролетел восемнадцатый век,
Девятнадцатый век и
двадцатый...
А с войны той и весточки нет.
Как он бьётся там с силой
проклятой?
Его внуки на вражий редут
Буйны головы храбро
сложили.
А за ними их внуки идут
Рядом лечь в общей братской
могиле.
Нет, не видно ни края войны,
Ни конца вековечной
разлуки!
Нет, не слышатся с той
стороны
Трубных маршей победные
звуки!
Не смолкает сражения гром,
И ложатся за ротами роты...
Сколько можно ещё топором
Прорубаться в глухие
европы?
Вновь архангел на небе
трубит,
Громыхает кромешная битва...
Нет, никто на Руси не забыт,
Нет, ничто на Руси не забыто!

* * *

А я хотела просто быть любимой...
Не так уж много!
Но немало всё ж!
А ты прошёл неудержимо
мимо —

Так, как проходит августейший
дождь.
На землю небо ты обрушил
разом.
И только тем остался
знаменит.
И спасу нет от Яблочного
Спасу,
Что терпким духом яблочным
царит.
Ты воссиял слезами на
ресницах,
Расцеловал в уста и — был
таков...
«Быть под дождём да вдруг
не замочиться!..» —
Скабрёзничало скопище
врагов.
«Пройдёт и это...» — утешал
философ,
Из тьмы веков мне посылая
свет...
На все меня терзавшие
вопросы
То был, увы, единственный
ответ.
...Что ж, пусть проходит
августейший август,
Познанья плод роняя на
ладонь.
Так, как проходит даже
вражья зависть
И молодой влюблённости
огонь.
Так всё проходит... Только,
может статься,
Не поняла тогда я впопыхах,
Что ты прошёл, чтоб навсегда
остаться
Во снах моих, мечтаньях и
стихах.

* * *

...Я усталым таким ещё не был...
Есенин

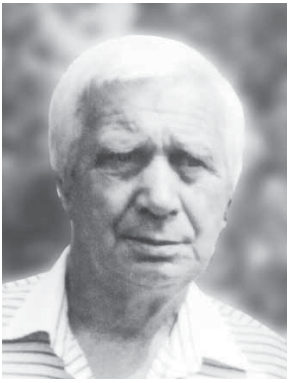
Ты любимым таким ещё не был...
И не будешь! Уж ты мне
поверь!
Не с того ли сбежавший с неба
Ветер воет, как раненый
зверь?..
Он не меньше любви был
достоин
И в боях за любовь изнемог...
Неотмирный небесный воин,
Ставший пылью земных
дорог.
Ветрозвонит январь,
ветрозвонит.
С ветром спорить резону нет.
Не склонившись ни раз в
поклоне,
Лишь поэтому он поэт!
Но, лишившись навек покоя,
Так любви страстно
жаждал он,
Что когда повстречался с
луною,
Ей отвесил земной поклон.
...Все мы, все мы любви
достойны,
И у каждого — свой кумир...
Не с того ль сотрясают войны
Наш подлунный жестокий
мир?..
Не с того ли, мой друг, не с
того ли,
Близко родственные ветрам,
Мы так страстно мечтаем
о воле,
Что покой только
снится нам?..

* * *

П.С.

Караван-Сарайская — не
райская!
Улочка горбата и крива.
Но цветут на ней сирени
майские —
Так цветут, что кругом
голова!
А неподалёку Растаковская
(Баба Настя так её звала) —
Улица с названьем
Казаковская
Муравой-травою поросла.
Так живут — без лести,
без испуга! —
Приговорены, обречены,
Улочки, что в центре Оренбурга
Детские досматривают сны.
Им не привыкать! Иль это
снится мне:
Жили-выживали, кто как мог,
Хлопавшие ставнями-
ресницами
На ветрах неласковых эпох?..
...Дерзости училась я у робких
Улочек, знакомых наизусть...
Железобетонные коробки
Вытесняют из России Русь.
Сторона моя обетованная —
Оренбуржье! Всё ты тут,
как есть!
Дремлющая Азия саманная
И казачья яростная спесь.



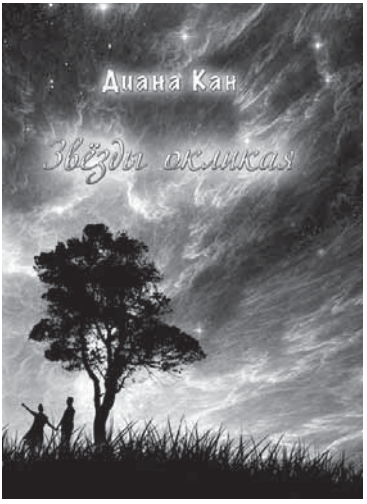


Эдуард АНАШКИН

«ЗВЁЗДЫ ОКЛИКАЯ...»

Эдуард Константинович Анашкин родился в 1946 году в г. Хилок Читинской области. Окончил Ульяновский педагогический институт. Работал столяром и плотником, чабаном, секретарём комитета комсомола и сельского Совета, учителем и заведующим отделом районной газеты. Автор нескольких сборников рассказов. литературоведческих очерков и статей. Печатался в «Парламентской газете», газетах «День литературы», «Российский писатель», «Литературная Россия», журналах «Русское эхо», «Наш современник» и других. Член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии за лучшую книгу года (2006), областной литературной премии им. Н. Гарина-Михайловского, региональной литературной премии им. В. Шукшина, дважды лауреат литературной премии журнала «Русское эхо». Живёт в селе Майском Самарской области.

Новая книга Дианы Кан — явление для читающей России долгожданное. Ведь последний раз книгу поэтесса издавала ещё в 2008 году, несмотря на то, что все эти годы активно выходили новые стихи Дианы Кан в самых разных изданиях России. Было бы логично ждать, что в 2014-м году, году своего юбилея, у поэтессы выйдет книга. Но ожидаемого не случилось, несмотря на то, что Диана Кан с 2008-го года является членом Самарской областной экспертной комиссии, регулярно распределяющей региональные гранты на издание книг. Получается: сапожник без сапог, а тот, кто участвует в распределении изданий — сам без изданий... Прискорбно, что в Самарской области власть имущие в преддверии Года литературы так и не нашли возможности издать юбилейную книгу всероссийски известной земляч-



ке. То, что книга новых стихов «Звёзды окликая» вышла хотя бы год спустя, является заслугой коммунистической партии РФ, нашедшей возможность не на словах, а на деле поддержать талантливого поэта Диану Кан.

Сразу три известных писателя России встретились под обложкой книги Дианы Кан «Звёзды окликая». Помимо стихов представлены два эссе. Открывают книгу размышления выдающейся современной поэтессы Марины Струковой об истоках творчества Кан. А итожит книгу эссе выдающегося современного литературного критика Вячеслава Лютого. Собственно, говорить о творчестве поэтессы после них — дело неблагодарное. И моё эссе лишь попытка сказать своё слово о том, каким я вижу присутствие Дианы Кан в современной поэзии.

О казачьей составляющей стихов поэтессы отлично сказано Мариной Струковой. А мне бы хотелось сказать о присутствии русской земли и русской сельской глубинки в творчестве Дианы. Даже удивительна глубина художественного проникновения в эту тему, учитывая, что Диана не скрывает, что сельскую российскую глубинку знала лишь наездами. На правах давней дружбы мы как-то разговорились с ней пару лет назад, разбирая её причудливую родову, где чего только не намешано. Кровь японских самураев слилась с кровью корейских крестьян. Потом всё это замешалось на крови уральских казаков по линии матери... Но что значимо, поэтесса как-то вскользь призналась, что при всём уважении к разным своим корням, она главной своей «несущей» кровью считает кровь русских крестьян по линии маминого отца. Потому что именно эта кровь более всех других помогает ей в творчестве.

А раз так, то возьму на себя смелость сказать, что русская сельская глубинка и есть главная любовь Дианы Кан. Слово не обманешь... Россия Дианы Кан — странная страна. Она странствует по небу, далека от экономической прагматики. Странноватая страна в глазах «мирового сообщества», которое на наших глазах последнее время являет всем свой почти фашистский

оскал. А Диана Кан видит себя «странной» поэтессой странствующей по земле и небу России. Не зря образ «людей Божиих, калик перехожих» — такой частый в её творчестве. Но как бы ни странствовала Диана — она всегда остаётся дочерью и поэтессой земли русской, русской глубинки. Даже окликая звёзды, лирическая героиня Дианы крепко стоит на земле, врастая в неё корнями.

Не столько Урал, родина матери, сколько Волга, родина мужа Евгения Семичева — материковые темы творчества, как сказали бы критики. Марина Струкова считает, что самые страстные стихи у Дианы — о Востоке и о казачестве. А я так уверен, что Волга — главная любовь Дианы Кан. Хотя за что и любишь стихи Кан, так это за её уникальную способность быть такой разной. «Растаковская» — озаглавил подборку Дианы Кан известный сибирский литературно-художественный журнал «День и Ночь». Тем самым точно определили сибиряки творчество и личность Дианы Кан.

Яркий лирический дар поэтессы проявился ещё в первой «оренбургской» книге «Високосная весна». Эпический талант поэтессы заявил о себе в творчестве Кан позже, именно в самарский период её творчества. Эпичность эта связана с Волгой. Новые стихи поэтессы свидетельствуют ещё об одной грани её таланта — драматической и даже трагикомической. Талант Дианы Кан подобен Волге — разной в разных течениях. Первому знакомству с Волгой Диана благодарна саратовской глубинке, куда была девочкой привезена на летние каникулы. Отец-кореец словно предвидел судьбу дочери, будущей выдающейся русской поэтессы. Не ограничился саратовской Волгой, в следующие каникулы Диана увидела Волгу волгоградскую. А много позже, потому что у жены — родина мужняя, познакомилась и породнилась с Волгой самарской. Главный урок, усвоенный поэтессой у великой реки: чтобы оставаться собой и не изменять своей природе, надо постоянно меняться. Только тогда в любом своем «течении» будешь живой и интересной людям.

Многие наши великие поэтессы предпочитают именоваться поэтами, и я как-то поинтересовался у Дианы — как мне её называть? «Да хоть горшком назови!.. Хотя, конечно, в самом слове поэтесса есть нечто змеиное...». А я подумал — ведь змея — та же река, гибкая и одолевающая любые преграды... Наша с Дианой Кан многолетняя дружба во многом построена на созвучии наших судеб. Оба мы — «подданные русских захолустий». Оба обитаем

далеко от всяких столиц — федеральных, окружных, региональных. Оба обживаем судьбу не вписавшихся в финансовые законы рынка местных «чудиков», «эмигрантов в собственной стране». Так зачастую смотрит на живущих в его гуще писателей, наш вынужденный выживать народ. А уж про чиновников и говорить не буду, это разговор особый... Оба мы так и не вышли из народа, и слава богу! Бедствуем с народом, радуемся, горюем.

При этом стихи обитающей в сердце России, на Волге, Дианы Кан «воздушно-капельным» путём передаются по России — от Калининграда до Владивостока. Они любимы читателями, высоко ценимы коллегами в самых разных регионах. Одним-двумя точными «мазками» в одном небольшом по форме стихотворении Диана Кан способна запечатлеть целую эпоху, и я не раз писал об этом. А сегодня хочу рассказать о том, как сбываются стихи, если написаны настоящим поэтом. Помнится, однажды Диана Кан написала так:

«Пускай меня зовут последней стервой, //В пример мне ставят бабушку Ягу, //Но всё равно я буду только первой, //Ведь быть второй я просто не могу. //Вот так — и только так! — надменно мнилось //Мне в молодом запальчивом бреду. //Но если вправду предсказанье сбылось, //За свой успех отвечу я в аду. //Простите, нерождённые сыночки! //И вы простите, гневные мужья, //Что за предощущенье главной строчки //И жизнь, и душу заложила я. //За то, что мне всегда казалось мало // Любви земной и радостей земных... //Но строчка-дочка тайно вызревала //Под певчим сердцем, воплощаясь в стих. //Она ревниво всю меня хотела — //Чтоб ею лишь дышала и жила... //Вот с губ вспорхнула, в небо улетела. //Ну а меня с собой не позвала».

И вот, спустя несколько лет, я держу в руках сувенирную тарелку — одну из тех, что продаются во множестве на самарском «Арбате» для туристов. По краю тарелки на голубом фоне изображён атаман Степан Разин со товариши. В центре тарелки, под гербом Самары, чёрным по белому — четверостишие: «Смиряя дерзкой смелостью и запад, и восток, //Восстал былинной крепостью Самара-городок. //Он пахотными весями в степную землю врос. //Святителя Алексия пророчество — сбылось!». Это и есть они — непутёвые дочки-строчки, которые при помощи изготовителей самарских сувениров и Интернета сбежали от своей создательницы Дианы Кан, не позвав её с собой: авторство стихов на тарелке не указано. Вот так, на «тарелочке с

голубой каёмочкой» и приходит порой слава, забыв об авторе!

Диана, когда увидела случайно эту тарелку, чуть не воскликнула: «Да это же мои стихи!» Но тут же одумалась. Не получилось бы так, как однажды произошло с Владимиром Николаевичем Крупиным. Наш выдающийся классик-прозаик увидел в метро девушку, читающую его книгу. Не удержался и сказал: «Девушка, а ведь вы мою книгу читаете!». На что читательница оторвала вдумчивый взгляд от текста, скептически посмотрела на Крупина и ответствовала: «Похмелись, дядя!». Может, это и есть высшее достижение для писателя, когда его стихи «отрываются от родителя» и настолько становятся самодостаточными, что воспринимаются уже отдельно, сами по себе, как народные?..

Отношения Дианы Кан со славой весьма личностные. Ещё с ранних её стихов слава является как бы живым персонажем, к которому Кан время от времени обращается: «Средь тёмной ночи, среди бела дня, // Молчи, молчи, не говори ни слова! // Я знаю, слава, ты найдёшь меня, // Но всё же адрес сообщу почтовый. // Пусть ты пока не очень-то спешишь // Меня подвергнуть головокруженью, // Я знаю, слава, ты меня простишь // За все мои былые прегрешенья...// ...Пусть я не раз продрогну на ветру, // Шепча твоё единственное имя, // Но я проснусь однажды поутру, // Согретая объятьями твоими».

Как полагается живым отношениям, они не бывают безоблачными, потому что развиваются. И вот слава в устах Дианы Кан вдруг оказывается едва ли не эпитетом слову «тоска»: «Спой обо мне, обманутая Тоска!.. //А я, так и не понята никем, // Вздохнув, запью печаль шампанским Боска //За неимением шато-икем. //...Не то, чтобы вся жизнь пошла на слом. //Не то, чтоб мне сегодня было плохо... //Сегодня мне, пожалуй, всё равно! //Мерцает недопитая эпоха, //И не таковских утянув на дно. //Не то, чтоб потаскухой обозвали... //Не то, чтоб в этом не моя вина: //Потосковав наедине с бокалом, //В холодную постель ложусь одна. //Не то, чтоб стервой оказалась слава. // Не то, чтоб прикурить не дал никто. //Не то, чтоб у вина видок кровавый... //Не то, не то, не то, не то, не то!.. //А просто дерзкой юности обноски //Вдруг стали обветшалы и тесны... //Не пьёшь — так пой, обманутая Тоска, //В объятиях несбыточной весны!

А всё-таки напрасно Диана Кан называет славу «стервой». В июне 2013 года позвонил мне из Воронежа мой друг, известный воронежский прозаик Михаил Фёдоров. И рассказал, что

побывал на творческой встрече с выдающимся русским поэтом, Героем Социалистического труда, лауреатом Ленинской премии, ветераном Великой Отечественной войны Егором Александровичем Исаевым. Встреча состоялась 7 июня 2012 года в Воронеже в областной библиотеке им. Никитина. Воронежцы пришли послушать своего всероссийски известного поэта-земляка, давно живущего в Москве, но не порывающего связей с воронежской отчиной. Поэт почитал стихи, потом стал рассказывать о состоянии современной русской литературы. Говоря о современной поэзии, Егор Исаев сказал: «Самым лучшим современным поэтом в России я считаю женщину, на вид восточную. Но у неё такие русские и настолько мужественные стихи о России, что современным мужчинам-поэтам у неё учиться и учиться. Я говорю о Диане Кан».

Проблема «поэта-поэтессы Дианы Кан» нашим выдающимся поэтом-фронтовиком была однозначно решена не просто в пользу «поэта», а в пользу лучшего поэта России. Самого яркого поэтического явления даже в плеяде замечательных современных русских поэтов-мужчин! Конечно, после звонка Михаила Фёдорова я не мог не позвонить Диане, хотелось порадовать её. Для начала спросил, знает ли она Егора Исаева? «В старших классах школы изучали его поэмы! — ответила она. — Лично? Я видела Исаева летом 2010 года в Борисоглебске, на фестивале молодых поэтов, меня пригласили поработать в жюри. Исаев вместе с министром культуры Воронежской области торжественно открывал фестиваль... Не знаю уж, можно это считать личным знакомством!». Когда я рассказал Диане, как высоко ценит её творчество Егор Исаев, она озадаченно помолчала и переспросила: «Он назвал одну меня?» И добавила: «Да уж, чего только не узнаешь о себе! Я обязательно поблагодарю при встрече Егора Александровича за такую высокую оценку моих стихов...». Увы, Егор Исаев и Диана Кан больше уже не пообщаются в этом бренном и суетном мире! Так получилось, что выступление перед читателями областной воронежской библиотеки стало последним общением Егора Исаева с читателями. Но творческая эстафета любви к большой и малой родине оставлена уходящими поэтами России в надёжных, как видим, руках. Окликая звёзды, Волга и Диана Кан продолжают свой путь по просторам России.



Нина ЛУКЬЯНОВА

«ГОТОВЫ К ПОЛЁТУ КРЫЛА...»

Нина Ивановна Лукьянова родилась в д. Бискужа Кувандыкского района Оренбургской области. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Работала журналистом. Автор двух поэтических сборников. Член Союза писателей России. Живёт в Серпухове.

* * *

И в Небо хочется,
И Землю жаль оставить.
Так и мечусь.
Пора бросать телесное
сообщество!
Лечу, лечу!

* * *

А вот и прекрасная старость
Спокойно ко мне подошла,
И это совсем не усталость,
А просто готовы крыла.
А просто в иные пределы
Готовы к полёту крыла.
Не всё завершить я успела.
Взяла она и подошла.

* * *

Небо небесного цвета.
Осень. Конец октября.
Рощица полуодета.
Время дождя и груздя.

Синица ко мне слетела.
Ошиблась я — это лист!

Как роща моя поредела!
Как воздух чист!

И хочется вместе с ветром
Деревья качать и кусты,
Гулять холодною степью
И плакать от красоты!

* * *

И всегда я была молчаливой.
Вот и надо мне быть такой.
Неприметной. Неприхотливой.
Самой собой.

И житейские хлопоты разом
Сдвинуть в сторону — не моё!
И к душе устремляются
фразы,
Миг — и она поёт.

* * *

Моя молодость ускакала
На породистом жеребце.
Вслед рукой помахала
И сижу на крыльце.

Что ж, теперь не воротишь.
Что ж, теперь далеко.
Настроенье испорчено?
Нет. На сердце легко.
Борозды не испорчу
И на старом Гнедко.

* * *

Я отплакала, отпела.
Я спокойная теперь.
Только слышу то и дело
Как стучит на Небо дверь.

Этот звук всё чаще, чаще.
Видно, вышел срок Земли.
Переполнены уж чаши
Ненависти и любви.

* * *

Серый гусь прокричал из
детства — га-га-га!
Заросли камышом-осокою
берега.
Горы круглые все кустарником
заросли,
И поля, где с сестрою Надькой
гусей пасли.

Серый гусь прокричал из
детства — га-га-га!
Обмелела, уже по колено
Урал-река.
Видно, много-много воды из
неё утекло.
И года ушли. И страна ушла.
И уплыло весло.

* * *

Вот и кинула я тебя,
Оренбург,
С любимыми карагачами и
клёнами.
А клялась, что бросить —
абсурд,
Что по гроб я в тебя
влюблённая.

Верный Чкалов стоит на
посту.
И Рычков. Вон и Пушкин
с Далем.
А я удрала в приокские дали.
Кинула я тебя, Оренбург.

Сижу с удочкой на Оке.
Ловлю эпитет к моей тоске.
Где ещё встретишь таких дур?
Кинула я тебя, Оренбург.

А когда я приеду, а когда
навещу —
Не признаешь — пойму, но
кивни — прошу...
Кивни карагачами и клёнами,
Навеки в тебя влюблёнными.

* * *

На тарелке вишенка.
За окном зима.
Постучал. Не вышла я.
Глупая.

На тарелке вишенка.
За окном метель.
Почему не вышла я?
Что теперь?





Виктор ДУБОВИЦКИЙ

ПОЛКОВНИК СТРАННЫХ ДЕЛ

Реставрация событий

Виктор Васильевич Дубовицкий родился в 1954 году в селе Новосергиевка Оренбургской области. Окончил исторический факультет Таджикского госуниверситета. С 1980 г. работает в Институте истории, археологии и этнографии им. Ахмада Дониша АН Республики Таджикистан. Доктор исторических наук, автор монографий и научных статей по истории и геополитике, исторических повестей, рассказов и эссе. В 1991 г. организовал в Таджикистане казачью общину «Амударьинская линия», вошедшую в состав Первого отдела Оренбургского казачьего войска. Лауреат премии Союза журналистов Республики Таджикистан (2010) и премии издательства «Граница» Погранвойск ФСБ РФ – «Золотое перо границы» (2012).

Среди людей, связавших в прошлом свою жизнь с исследованием Средней Азии, немало забытых и полузабытых имён. И часто это происходит не из-за неблагодарности потомков, а только потому, что время безжалостно стирает следы их деятельности. Так случилось и с Григорием Фёдоровичем Генсом — человеком во всех отношениях незаурядным и высоко ценимым многими известными исследователями и государственными деятелями его времени. В течение двадцати лет (1825—1845 гг.) он возглавлял Оренбургскую пограничную комиссию — отделение Министерства иностранных дел России, ответственное за проведение внешней политики в отношении Киргизской степи (как тогда называли Казахстан), среднеазиатских государств и сопредельных стран Востока.

Григорий Фёдорович Генс родился в 1787 году в Дерпте (ныне г. Тарту Эстонской

ССР), в семье беспоместного, служилого дворянина) и после окончания университета в родном городе и военного инженерного корпуса в Петербурге, был направлен военным инженером в распоряжение Оренбургского генерал-губернатора Г.С. Волконского (отца декабриста С. Волконского). Вскоре он становится начальником военных инженеров отдельного Оренбургского корпуса. Способный и широко образованный молодой офицер быстро обратил на себя внимание губернского руководства, и в 1825 году его назначают председателем Оренбургской пограничной комиссии, которая занималась как дипломатической, так и разведывательной деятельностью в отношении огромного региона Среднего Востока и Центральной Азии. Без сомнения, это назначение было признанием больших способностей Г.Ф. Генса как исследователя-востоковеда (он самостоятельно освоил несколько восточных языков, живо интересовался географией, историей и этнографией стран Востока, и что самое интересное — в течение свыше двадцати лет вёл дневниковые записи, занося на страницы массивных гроссбухов рассказы караван-башей из Бухары и Коканда, купцов, пришедших из Индии и Тибета, русских пленных, выкупленных в Хиве, путешественников и дипломатов, вернувшихся из глубин Азии). Все эти сведения и составили тот бесценный «личный фонд Генса», который к моменту его кончины в 1846 году составил многие сотни папок и «портфелей». Понимая его огромную научную ценность, в 1849 году его попыталось выкупить у наследников Русское Географическое Общество. По ряду причин этого сделать не удалось, а позже большая часть архива погибла при пожаре или была утеряна при пересылке. К настоящему времени в Государственном Архиве Оренбургской области осталось всего восемь небольших тетрадей, но они содержат бесценный материал по истории и этнографии Средней Азии, Афганистана, Индии, Кашгарии.

Среди них — интереснейшее свидетельство деятельности в Средней Азии английской разведывательной миссии Муркрофта-Требека, которая вызвала большой резонанс в политических кругах России. Сведения о деятельности английской миссии, а также противодействие ей со стороны русской дипломатии и разведки шло через Оренбургскую пограничную комиссию и её председателя.

Виктор Дубовицкий, имевший возможность ознакомиться с фондом Г.Ф. Генса, предлагает читателям литературный вариант «реставрации» исторических событий, произошедших в Средней Азии около двухсот лет назад.

С целью передачи духа эпохи, автор намеренно не прибегает к унификации географических и этнографических названий, оставляя их такими, какими они были в первой трети XIX века.

1825 г. Июль. Оренбург

«Разрешите, ваше благородие, срочное донесение!» — голос адъютанта, поручика Филатова оторвал полковника от замысловатой вязи шикаста в книжечке с кожаным переплётом, страницы которой он разглядывал сквозь массивную лупу. Не поднимая на вошедшего глаз, он застегнул две верхние пуговицы мундира и медленно встал из-за стола: «Слушаю, поручик».

— Из Орска сообщили, что бухарский караван, вышедший с товаром из Оренбурга седьмого числа прошлого месяца, разграблен в районе Мугоджар киргизами. Люди частью угнаны в плен, частью бежали к нашей пограничной линии.

Полковник, наклонив вперёд лобастую лысеющую голову, смотрел исподлобья в окно, в пыльный зной оренбургской улицы — думать было о чём — за последний месяц уже четвёртый разгром каравана. Эти события напрямую касались именно его.

Подчинялся Григорий Фёдорович непосредственно Оренбургскому генерал-губернатору, но, поскольку иностранными делами в это время в России ведал небезызвестный Карл Нессельроде, которого Россия окрестила «министром странных дел», оренбургские острословы приклеили начальнику «своего внешнеполитического ведомства» звание полковника «странных дел».

«Что случилось с киргизскими султанами? Отчего они, позабыв договоры о подданстве и мире с Россией, беспощадно грабят и русские, и бухарские караваны? Во всём этом нужно разобраться немедленно и прекратить разбой безотлагательно...»

Для Генса грабежи связывались с донесением, полученным ещё два месяца назад от его тайного агента из Бухары: «...февраля двадцать пятого числа года нынешнего в благословенную Бухару прибыли два английских офицера и ещё один — врач, с конвоем превеликим, пушки имеющим. Живут ныне в Бухаре как гости эмира Хайдара...» Случай этот, прямо сказать, из ряда вон выходящий. Нужно было основательно разобраться в ситуации.

Отпустив подчинённого, Генс открыл один из своих вместительных книжных шкафов. На полках теснились корешки одинаковых массивных гроссбухов. Это был его личный архив, который он собирал с момента прибытия в Оренбург в 1807 году.

Заголовки конспектов красноречиво говорили сами за себя: «Замечания на путешествие монаха Плано Карпина»; «Султаны киргизские. Убийство хана Джантюри»; «Взятие в плен киргизами сотника Подурова и прапорщика Медведева»; «О восточных народах»; «Рассказ переводчика Оренбургской пограничной таможни Байкшиева»; «Мнение магометян о подданстве иноверным владельцам»...

Полковник достал один из гроссбухов, на котором значилось: «Великобритания. Интересы в среднеазиатских государствах». Все собранные здесь сведения были для своего времени уникальными и ценнейшими. Но особенно дорого за них заплатили бы некоторые «ориенталисты» Туманного Альбиона! Здесь Генс собрал материалы, касавшиеся действий «владычицы морей» на суше — в Бухарском, Хивинском, Кокандском, Ташкентском ханствах, а также в Туркмении, Кашгарии и Афганистане; донесения своих агентов, газетные статьи, конспекты речей в английском парламенте по вопросу Индии и Средней Азии, отношение Англии к восточной политике России и многое другое.

Григорий Фёдорович углубился в чтение.

В 1812 году через независимые княжества верховьев Инда в Коканд и Бухару проникает разведчик-пандит из индийских мусульман — Мир Изетулла. Он тщательно высчитывает свой маршрут в милях, описывает все свои стоянки, населённые пункты на своём пути. Встречается он с бухарской и кокандской знатью, которой передаёт подарки от вице-короля Индии. Послан Мир Изетулла Уильямом Муркрофтом, официально — управляющим военными конными заводами Ост-Индской компании в Бенгале, а «по совместительству», нигде не рекламируемому, — начальником разведывательной службы этой «торгово-промышленной империи».

1819 год. Уильям Муркрофт отправляется с разведывательной миссией самолично. Ост-Индская компания щедро снабжает разведывательную экспедицию: она финансируется двумя крупнейшими калькуттскими компаниями — Палмера и Кратендера. Муркрофт везёт с собой товаров на очень крупную по тем временам сумму — 5 тысяч фунтов стерлингов, дабы добиться «установления торговых отношений с загималайскими странами, что должно быть чрезвычайно выгодным для Великобритании». Немало выделено средств и в звонкой монете — «на дела, огласке не подлежащие...»

В составе экспедиции, кроме У. Муркрофта, ещё один английский офицер — Джордж Требек и метис, англо-индиец, врач Гетри. Миссия подкреплена военным эскортом в 70 человек из войск Ост-Индской компании, имеет пушки.

Около двух лет английская экспедиция исследует Малый Тибет — Ладакх, офицеры ищут подходы к проникновению в запретное государство лам, в Лхасу, но... безуспешно. Исследовав горные перевалы на пути из Читрала в Кашгарию, миссия отправляется в Афганистан. Воинственное племя хазарейцев в центре страны преградило путь экспедиции, более похожей на воинскую колонну, — пришлось пустить в ход артиллерию...

Наконец Муркрофт с товарищами переправляется через Аму-

дарью и 25 февраля 1825 года прибывает в Бухару.

Вот кто прибыл в город «опоры ислама» и живёт там на правах гостя эмира. Генсу было понятно, что путь для этого визита был расчищен ещё миссией Мир Изетуллы тринадцать лет назад. Полковник раскрыл ещё одну папку — «Донесения из киргизских орд». Сомневаться не приходится: пребывание в Средней Азии Мир Изетуллы ознаменовалось большим беспокойством среди киргиз-чиклинцев, усилением грабежей на караванных путях. Теперь — то же самое... Только, надо думать, «круги» от Муркрофта пойдут по степи ещё более широкие — видно, богато отсыпают золото англичане алчным киргизским барантачам. Что будет дальше, можно предположить без труда — с юга, из Индии, потоком пойдут товары с торговыми марками Манчестера и Бирмингема, заполоняя все базары Средней Азии, затем появятся английские инструкторы в эмирских и ханских войсках, затем... затем будут крупные осложнения между Англией и Россией, очень крупные!

1825 год. Июль. Бухара.

— Да, да, мой дорогой Джордж, я берусь утверждать, что именно Шекспир был родоначальником детектива! — Муркрофт решительно поставил на низкий резной столик свой серебряный кубок с джином, словно восклицательный знак после своего утверждения. — Найдите в литературе, пусть не английской, нет, до него что-либо подобное по структуре замысла, как в «Короле Лире», «Гамлете» или «Отелло»!

Его собеседник — Джордж Требек — неопределённо пожал плечами и потянулся за солёными косточками.

— Вот именно, — сюжетов с преступными замыслами и деяниями можно в избытке найти и в песнях миннезингеров, и в норвежских сагах, но вся выстраданная глубина действа убийцы, как и понимание его противоположной стороной —дающей, а позже и карающей, — именно у Шекспира!

— Не берусь спорить с вами, сэр! — примирительно развёл руками Требек, — даже ваш однокашник по Кембриджу, майор Итон, пасует с вами в беседах по части литературы, куда мне...

Муркрофт, довольный похвалой, пружинисто поднялся с места и, расправив плечи, подошёл к узкому стрельчатому окну, выходившему во дворик с хаузом. На загорелом моложавом лице его застыла мечтательная полуулыбка.

— Знаете, Джордж,— задумчиво проговорил он, рассеянно наблюдая возню прислуги внизу, — а ведь наша с вами политическая миссия в Бухаре, пожалуй, почище многих захватывающих

детективов прошлого!

— Сэр, — поморщился Требек, — единственным детективным происшествием во всей нашей поездке от Ладакха до Бухары я нахожу... потерю английского золота, оседающего в карманах местных правителей!

Муркрофт весело захохотал, откинув голову.

— Джордж! Ещё раз с удовольствием убеждаюсь, что у вас прирождённое чувство юмора! Но, дорогой мой Джордж, — улыбаясь, продолжал Муркрофт, — детективность нашей миссии гораздо глубже. Смотрите в корень, вы же британец!

Муркрофт снова улёгся у низенького стола, подоткнув с правого бока две атласные подушки. Большой позёр, он сам однажды заметил Требеку, что это была обычная поза древнеримских патрициев за столом. Что же, в роскоши, которой окружал себя управляющий конных заводов Ост-Индской компании, он им никогда бы не уступил...

— Наш детектив, Джордж, начался не с выхода из Калькутты, а тринадцать лет назад — с маленького каравана Мир Изетуллы. Именно тогда была подготовлена почва для нашего с вами визита сюда. И деньги, которые, как вы правильно изволили заметить, мы щедро пересыпаем в карманы местной знати, начали тратиться именно тогда! Эти фунты создали нам друзей здесь в Бухаре в лице наследника престола Батыр-хана и его камарильи; у Кокандского престола, и, что очень важно, — среди киргизских султанов, кочующих от низовий Сырдарьи до Мугоджар — как раз на главном караванном пути из Бухары и Хивы в Россию. Они и без наших денег время от времени потрошили караваны, ну а теперь в скором времени, дай Бог, вообще перекроют этот путь! Для того чтобы снова привести их в повиновение — они как никак подданные России, — Петербургу придётся приложить столько сил и времени, что компания успеет заполонить своими товарами все рынки от Хивы до Маргелана! Вот в чём детектив, вот где захватывающая политическая интрига, Джордж!

— Вам бы взяться за перо, сэр...

— Дайте время, Джордж, дайте время... Вот... потратимся ещё немного, вернёмся в Калькутту, где, не скрою, компания нам выплатит за успех весьма солидные премии, и тогда я запасусь хорошими перьями!

— За ваши будущие литературные успехи, сэр!

1825 г. Июль. Оренбург

Пётр Кириллович Эссен — оренбургский военный губернатор — принял полковника незамедлительно. Но всё же генерал-майор,

по происхождению лифляндский немец, не удержался, чтобы не попенять своему земляку Генсу отсутствием пунктуальности: «Уж не взяли ли в осаду губернскую канцелярию киргизы в сей полночный час, а, Григорий Фёдорович?» — ехидно поинтересовался губернатор, указывая подчинённому на кресло.

— Ещё раз прошу извинения, ваше сиятельство, но канцелярию берут в осаду... британцы! — протянул Эссену докладную полковник.

Пока губернатор читал докладную, Генс привычно наблюдал, как на глазах преображается его лицо.

— Да, вы правы, полковник, — не укороти мы сейчас этому «коноводу» руки, через месяц-другой киргизская степь превратится в кипящий котёл. Ясно, что придётся списываться с государём и с Нессельроде, но пока суть да дело, нужно самим меры принимать, тем более, что такие права нам даны. Значит, отсыпать надо звонкой монеты?

— Считаю, ваше сиятельство, что этого в настоящий момент будет достаточно. Миссия Негри пять лет назад в определённой мере сумела нейтрализовать британцев на рынках Бухары и Киргизской степи и...

Эссен вынул из ящичка бюро листок личного бланка с родовым гербом:

— Важность разведки политической на Востоке мне ясна давно, иначе бы и должность вашу занимал бы какой-нибудь заплесневелый профан, а вы до сих пор бы крепости да редуты в степи строили...

Мелким, аккуратным почерком губернатор указал на бланке сумму, предназначенную полковнику. Генс через своих людей должен был направить деньги в Бухару, Коканд, Хиву и в Киргизскую степь лицам, которые пожелали бы «извлечь личную пользу из добрых отношений к России». Именно это золото должно было противостоять английским фунтам, щедро рассыпаемым сейчас Уильямом Муркрофтом и Джорджем Требеком в далёкой Бухаре.

1825 г. Июль. Оренбург, Киргизская степь.

Ровно через сутки, прохладной ночью ушёл с Менового двора в сторону Орска и дальше в Киргизскую степь караван. Он принадлежал кокандскому купцу Мир-Али Ахмаду и вёз на родину скобяной товар и юфть с Нижегородской ярмарки. По «своим торговым интересам» к каравану присоединился татарский купец Сеитов со своими четырьмя верблюдами. Примерно через пять недель пути, когда караван миновал приаральские Кара-Кумы, Сеитов исчез,

уйдя ночью только со сменной лошадью и четырьмя бурдюками воды. Не надо было знать терявшемуся в догадках Мир-Али Ахмаду, что Сеитова (он же есаул Оренбургского казачьего войска Бехметьев) давно и с нетерпением ждали некоторые сановные люди Бухары, испытывающие «сильные стеснения в средствах»...

1825 г. Сентябрь. Бухара

Тяжело живётся в Бухаре рабам. Но тяжелее всего живётся куш-беги — первому министру государства...

Никто не мог понять особой любви куш-беги к маскаробозам: он покровительствовал канатным плясунам, щедро одаривал их, часто любовался ими на рыночных площадях, даже уговорил както эмира разрешить выступать им на Регистане — площади перед Арком — его резиденцией. После того, как куш-беги раз вступился за дерзких скоморохов, хуливших правителей с высоты ходулей и канатов, бухарская полиция вообще перестала их трогать — а те и носы задрали, поносили власть имущих пуще прежнего — народ на площадях аж замирал от страха! Но стали маскаробозы и куш-беги славить: такого он не ожидал, хотя и оценил свою популярность.

Но не был первый министр благословенной Бухары меценатом. А любовь его к воздушным акробатам была от глубокого, подспудного сознания, что они с ним... коллеги!

Прикрыв козырьком глаза от солнца, смотрел куш-беги на человека с шестом, под рёв карнаев уверенно идущего в слепящий круг солнца, и у него судорогой сводило мышцы, внутри зарождалась и наполняла всё тело пульсирующая горячая кровь — казалось, всё по плечу! Так же каждый день ходил по канату дворцовой политики и куш-беги. И та же расплата грозила ему, если оступится...

Словно змеиный клубок вокруг трона престарелого эмира Хайдара — три взрослых сына. Ждут не дождутся, когда уйдёт в лучший мир их родитель. За каждым из сыновей немало приспешников, в огонь и воду готовых идти за будущие посты, должности, звания, гаремы и дворцы. Да и соседи — Хива с Кокандом, конечно, в стороне не останутся: наверняка кинутся либо кому-то из наследников помогать, а что ещё вернее, пользуясь заварухой в Бухаре, попытаются отхватить на границах куски пожирнее...

Самый опасный из претендентов — сиплый толстяк Батыр-хан, сластолюбец и садист, хитрейший интриган. Что для него помощь кокандских и хивинских сарбазов — он рассчитывает на индийских сипаев! На английские пушки!

Куш-беги — человек, без сомнения, одарённый политической мудростью, хорошо понимал, что он сам сможет удержаться у

власти при любом из новых преемников, кроме Батыр-хана. Раз инглизы помогут ему, они захотят видеть рядом с ним человека, проводящего их линию, а первый человек при эмире — куш-беги — первый министр эмира Хайдара, увы, никогда не был поклонником инглизов, и те это хорошо знали...

В стрельчатом проёме дворцового покоя, в синеве бухарской ночи, не мигая, сверкала Зухро. В древних трактатах, каких много в библиотеке куш-беги, греки называют её «Утренней звездой», а русские — Венерой. Русские...

Они были где-то далеко на севере, а где-то далеко на юге — инглизы. Здесь, в центре Вселенной — благословенная Бухара, опора ислама, несокрушимая, вечная!

Всё изменило русское посольство, появившееся здесь пять лет назад. Куш-беги встречал их тогда у самой границы и провожал в их резиденцию в Вабкенте — под Бухарой. Потом был приём в Арке, у эмира: под грохот и сияние начищенной меди военного оркестра шли по Регистану строем две сотни русских солдат, бронзой и позолотой отливало оружие и эполеты парадных мундиров офицеров, единого слова которых было достаточно, чтобы остановить, перестроить и снова заставить идти всю эту массу людей! И это — эскорт посольства, а что говорить об армии?! До чего же жалкими показались ему бухарские сарбазы с короткими кольчугами поверх халатов, в дедовских шлемах на головах, со щитами и тяжёлыми копьями...

И посланник царя господин Негри, и командующий эскортом капитан Циолковский, оказались людьми очень обаятельными и... щедрыми. Нет, конечно, никаких расписок куш-беги русскому послу не писал, — всё покоилось на дружеских чувствах и устной договорённости... Но теперь, идя по канату дворцовых интриг, куш-беги надёжно держал равновесие с шестом из золота.

Нет, не удастся Батыр-хану сесть на трон своего отца, сгинет он вместе со своими друзьями-инглизами!

Всё ярче разгоралась в предрассветном небе утренняя звезда, в бледнеющей сини на минаретах и куполах священной Бухары просыпались в гнёздах и расправляли крылья белоснежные аисты...

1825 г. Октябрь. Оренбург

Долог и опасен путь мусульманского паломника, совершающего хадж к святым местам родины Пророка — Мекке и Медине. Можно отправиться южным путём — через Кара-Кумы, Персию и Ирак. В Туркменской пустыне поджидают тебя разбойники-аламаны, готовые схватить и продать за выкуп своим же родственни-

кам в Бухару; а в Персии уготованы для тебя, паломник-суннит, «дороги слёз» — хоть вытянись и подохни в дорожной пыли, персиянин-шиит пройдёт мимо тебя, не дав ни глотка воды и пищи!

А можно отправиться на север: и, если не заарканит тебя барантач-киргиз, и благополучно доберёшься ты до русской пограничной линии, то тогда — хвала Аллаху! В России, стране неверных, ты, вознеся хвалу Богу в одной из мечетей Оренбурга, можешь спокойно отправляться по наезженному почтовому тракту через Царицын прямо до Екатеринодара, где, отдавшись на волю волн, кораблём доплывёшь в Трапезунд или сам Стамбул — обитель «главы всех правоверных» — турецкого султана. Оттуда до Мекки и Медины уже недалеко.

Рахматулло-ходжа избрал второй путь. Приставка к имени — «ходжа» — указывала на то, что он уже один раз совершил паломничество в святые места и является человеком благочестивым и уважаемым. Прибыв вчера с бухарским караваном, он сегодня отправился помолиться в главную оренбургскую мечеть, а заодно сделать в городе кое-какие дела, к хаджу непосредственно не относящиеся...

Была пятница, и на полуденной молитве мечеть была заполнена до отказа. Перед входом, на мощёном жжёным кирпичом дворике рядами выстроились галоши и чувяки правоверных. Выслушав хутбу и повторив четыре положенных раката, Рахматулло-ходжа со словами «Аллаху-акбар» («Аллах велик») не спеша провёл по бороде ладонями и подождал, пока выйдут из мечети все прихожане. Татарин-мулла почтительно поклонился бухарскому паломнику в белоснежной чалме, указывающей на духовный сан. Тот, впрочем, ошарашил его вопросом о том, как найти в городе британскую евангелическую миссию. Не поднимая глаз, дабы не выдать своего замешательства, мулла разъяснил достопочтенному паломнику, как пройти на вторую Овражную улицу. Рахматулло-ходжу в Бухаре предупреждали об осторожности. Потому и спросил о дороге в миссию не первого встречного, а муллу, который, как он полагал, никогда не выдаст правоверного христианским властям!

* * *

На второй Овражной не было ничего подозрительного: в куче золы у дома играли два голопузых мальчугана, живо отметивших его появление дразнилкой — «шайтан-басурман!»; у соседнего забора дремала облепленная мухами кляча, запряжённая в плохонький тарантас; под дерюжкой спал, похрапывая, пьяный возница...

Отец Брэдли — высокий, подтянутый мужчина лет сорока пяти, с коротким посеребрённым сединой ёжиком волос — принял сво-

его коллегу по общению с Богом с радостью, едва сдерживаемой этикетом. Паломник вынул из складок одежды короткую медную трубочку, сплющенную с обоих концов. Отец Брэдли извинился и вышел с ней в соседнюю комнату. Здесь, легко разогнув щипцами концы, он вытряхнул на ладонь туго скрученный рулончик с зашифрованным донесением от Уильяма Муркрофта. Безошибочно достал с полки маленький томик, изданный миссией на башкирском языке, и открыл тридцать третью страницу «Евангелия от Марка» — здесь был шифр. Быстро, сокращая слова, переписал донесение на английский язык, прочёл. Жёсткие складки у губ Брэдли одобрительно дрогнули...

Вернувшись в гостиную к Рахматулло-ходже, он сердечно поблагодарил его за добрые вести от «общих знакомых» и, звякнув связкой ключей, извлёк из стенного сейфа небольшой увесистый кожаный мешочек...

На улице всё было по-прежнему: тот же пьяный возница со своей клячей, те же ребятишки... И потому очень удивительно и обидно было Рахматулло-ходже, когда в ближайшем переулке взяли его под белы руки двое крепких бородатых молодцов и подъехал тот самый тарантас... с очень трезвым и бодрым возницей. Расстроенный достопочтенный мусульманский паломник даже выругался по-английски. Поручик Филатов, руководивший наблюдением за евангелистской миссией, решил, что «плод созрел»...

— Вперёд, братцы! — скомандовал он очумевшим от сидения в многодневной засаде казакам.

* * *

«Успеть бы!» — стучало молотками в висках отца Брэдли (он же полковник её Величества Королевы, Ричард Робертсон). (Уже разнесли створку ворот, ворвались во двор). Входная дверь заперта. Двери кабинета тоже — на ключ. Без паники, полковник, пусть ещё докажут, кто ты есть! Лист из «Евангелия от Марка» — в комок (звон стекла — высадили раму в гостиной), донесения из сейфа — в комок, всё на серебряный поднос — «Успеть бы!» Спички... (Трещит дубовая дверь кабинета). Славно огонь занялся! Славно!!! Размять надо пепел. Ничего, что руку от огня сводит — заживёт, полковник! (Срывается с петель дверь, мат и топот за спиной — шея цепенеет в предчувствии удара!) Обожжённая ладонь дымится — одна сажа, больше ничего! Успел!

1825 г. Ноябрь. Кундузское ханство. Андхой

Поздняя осень в Кундузе — не лучшее время года. А в этом

году особенно: рано зарядили дожди, кругом всё тёмно-буро, дома и дувалы оплыли, и кажется, что выросли они из этой земли. Муркрофт с отвращением отвернулся от окна. Мутило, жар не проходил уже второй день. Подумалось — «Может, всё же лихорадка?»

А ведь всё было так хорошо и в Бухаре, и по пути сюда, в Андхой. Он уверен в Батыр-хане: недаром же напичкали эту куклу такими деньгами?! Скоро, с божьей помощью, эмир Хайдар отдаст концы, и тогда можно быть уверенным в британских интересах в Бухаре. Но что-то всё-таки случилось там, в Бухаре... И почему промолчал Робертсон на его донесение? Снова огненные и золотые круги перед глазами, жжёт внутри...

— Джордж! — позвал больной Требека. Тот тревожно заглянул в дверной проём.

— Сядь, Джордж, — Муркрофт глазами указал на чашку с водой, ему подали, он отпил, тяжело задышал.

— Запомни, самое ценное — бумаги... Мои дневники вместе со своими картами храни больше жизни, — увидев попытку Требека возразить ему, прикрыл глаза, властно мотнул головой, — их ты обязан донести... Это не лихорадка, сэр... — криво усмехнулся, — упаси тебя Бог, Джордж, от такой лихорадки...

К утру Уильям Муркрофт скончался. Тело его было обезображено синими пятнами, которые выступают у человека, отравленного одним из ядов, огромное количество которых было выдумано за тысячи лет политической борьбы на Востоке...

Джордж Требек и Гентри погибли чуть позже, здесь же, в Балхе, в городе Мазари-Шариф. Длинные руки были у бухарского куш-беги!

1825 г. Декабрь. Балх

Горька судьба изгнанника. Снова и снова возвращался в своих мыслях Батыр-хан к событиям в Бухаре месяц назад, когда, наконец, почил его владетельный родитель. Всё было так, как задумал он с инглизами: и люди верные (хорошо оплаченные) вокруг него вмиг собрались, и короновался он не где-нибудь, а на «Кок-Таше» («зелёном камне») — троне Тимура в Самарканде! Казалось, что братья остались с носом, но... проклятый куш-беги! Он, Батыр-хан, по наивности считал его лишь бессильным чучелом, тенью при своём умирающем отце! Так ошибиться... Начальник охраны Самарканда, караул-беги, открыл ночью ворота войскам противника, — как уцелела голова у Батыр-хана — до сих пор сам удивляется!

Батыр-хан отбросил недописанное письмо в Калькутту — после того, как сгинули в Кундузе Муркрофт и Требек, вряд ли ин-

глизы решатся прислать обещанные когда-то войска...

* * *

Мир и спокойствие вернулись на время в великую Киргизскую степь, размеренной жизнью вновь зажила после неудачной попытки переворота Бухара. После большого дипломатического скандала в Петербурге из Оренбурга была выдворена британская евангелическая миссия. Но «дело Муркрофта-Требека» продолжало эхом отдаваться в русско-английских отношениях, интересовать дипломатов и разведчиков многих стран. Особый интерес для всех представляли пропавшие вместе с англичанами дневники и карты пути, сделанные за шесть лет путешествия по Ладакху, Каш-миру, Афганистану и Бухаре. И в первую очередь они, конечно, интересуют председателя Оренбургской пограничной комиссии — полковника (а вскоре генерал-майора) Г.Ф. Генса.

В 1831 году в Бухару с тайным заданием переодетый татарским купцом отправляется П. Демезон (Де Мезон), перед отъездом в Оренбурге для него составляется «Записка о предметах, долженствующих обратить на себя внимание Де Мезона при приезде его в Бухарию». Пункт 24-й «записки» гласит: «В 1825 году был в Бухарии англичанин Муркрофт, прибывший туда из Индии и убитый на обратном пути в Хульме. Пожитки его и товарищей сделались добычею местного начальника и продавались публично. Бумаги его, не имеющие никакой цены для тамошних жителей, могли сохраниться, и вероятно даже, что можно достать оные за современные подарки и обещание будущих наград. Правительство, вероятно, не откажется пожертвовать несколькими тысячами рублей, если представлены будут все записки сего путешественника».

После возвращения в Оренбург, Демезон писал по поводу бумаг У. Муркрофта в своём отчёте: «Муркрофт и два его спутника, приехавшие из Индии в Бухару в 1825 году, на обратном пути были отравлены. Первый в Андхое и двое других в Мазаре (г. Мазари-Шариф — **В.Д.**), в двадцати пяти верстах от Балха. Часть их имущества и их бумаги до сих пор находятся в руках правителей Мазара. Англичанам пока не удалось заполучить бумаги своих погибших в Бухаре посланцев. Попытки, предпринятые доктором Хонигбергом во время его поездки в Балх, также были безуспешны».

Только через несколько лет эти документы, наконец, были найдены английским индологом Гарольдом Вильсоном и изданы в Лондоне в 1841 году. Так закончился один из эпизодов напряжённой и долгой, но малоизвестной борьбы разведок России и Великобритании в Средней Азии, в которой Оренбургу была уготована заметная роль.



Владимир ШАДРИН

«ПУСТЬ ВЕЧНОЮ БУДЕТ РЕКА...»

Владимир Александрович Шадрин родился в 1959 году в Орске, в посёлке Елшанка. Окончил среднюю школу, служил в армии, затем работал на различных предприятиях, сменив множество профессий – каменщика, штукатура, кровельщика, монтёра. Печатался в областной периодике, в еженедельнике «Литературная Россия», в журнале «Москва», в нескольких коллективных сборниках. Автор двух поэтических книг: «Поздний гость» (2005) и «Костёр» (2008). Член Союза писателей России. Лауреат премии имени Валериана Правдухина альманаха «Гостиный Двор» (2009). Живёт в Орске.

ТЕМА ЖИЗНИ - РОДИНА МОЯ!

Поэма

Звездопад. Как тихо на земле.
Всюду звёзды, коим нет числа.
Всё мерцает звёздами во мгле:
И холмы, и речка, и ветла...
Светятся вблизи и вдалеке;
И в траве, и в листьях,
и в воде...
Рыбы проплывают по реке,
И во рту у каждой по звезде.

Родина, какая ширь и тишь!
Как могу, я говорю о том:
Облако задело за камыш,
Щука гладь разрезала
хвостом.
Здесь повсюду родины печать:
Каждый лист и куст её любой.
И не нужно: «Родина!»
— кричать,
Коли так и есть, само собой.
«Не кричи...» — мне слышится
в ночи.

«Не кричи...» — пульсирует
в крови.
— Не шуми, а лучше помолчи,
Да, до срока голос не сорви.
И земля, и небо, и вода, —
— Здесь во всем такой
чудесный свет,
Что невольно отзовёшься:
«Да»! —
Если спросят: «Веруешь,
иль нет?»
Верую и в небо, и в зарю,
В землю всю и в лист её
любой!
И со всем негромко говорю,
Так обычно говорят с собой...
Говорю о счастье и о том,
Что земли настойчивее зов.
И о том, что в этой жизни тон
Часто содержательнее слов.
Что земных печалей не
избыть,
Но и нет конца дарам благим.
Что земля дороже, может
быть,
Оттого, что сам я стал другим.
И всё чаще, сердцем, —
не умом,
Проверяю мысли и дела...

Вот течёт река перед холмом,
А вблизи неё стоит ветла.
А на той ветле среди ветвей
В темноте запел и вдруг
замолк,
И опять защёлкал соловей.
А вдали завыл незримый волк.
Так перекликаются они
В темноте, вдали от суеты,
Не родня, а всё-таки — сродни,
А в глазах у них по две звезды...
Жизнь, не отпускай меня.
Тревожь!
Приближай связующий момент,
Где сердцебиение и дрожь
Вдохновенью аккомпанемент.
Темы мегаполисов и рощ
Раскрывай со звучной новизной.
Сочетай бетховенскую мощь
С лёгкой пасторальностью
сквозной.
Чтоб вошла, поэмой становясь,
Муза одинокая моя
В мозаичность, фресковость
и вязь,
В калейдоскопичность бытия.
В нём не ходят беды стороной,
Здесь уходят лучшие друзья.
Но навек останется со мной
Тема жизни — Родина моя!
Родина!
Какая ширь и мощь!
Тайна, не подвластная уму!
Закричать захочешь...
И поймёшь,
Что кричать об этом ни к чему.
В охрой обернувшейся сурьме -
Очертанья дальнего села.
Чудо проступает на холме,
Где сверкают храма купола.
В этом зачарованном краю,
Где поют и волк, и соловей,
Словно околдованный стою,
Перед вечной тайною твоей.
На востоке озарилась тьма
И гусиным голосом поет.
Гуси, — это родина сама
Поднебесный голос подаёт.
Эти реки, рощи и цветы,
Эти степи, где родимый дом!
Не кричи о том, как любишь ты,
Но любовь доказывай трудом...
Как рассвет невыразимо ал!

Как сирени тесно в городьбе!..
И о чём бы я не написал,
Родина, — всё это о тебе.
Подражай, душа моя, и ты
Певчим птицам, вольностью
гордясь,
Да и то — подобной красоты
Я ещё не видел, отродясь!
Захмелей от вешнего вина,
От весёлой зелени и птах.
Как сирень цветением сильна!
Как увяз черёмушник
в цветах!
Тяга к жизни изо всех углов,
Всюду, — и внизу, и наверху,—
Лезет сквозь чешуйчатость
стволов,
Сквозь пеньков шершавость
и труху...
И спешит, и ширится она ...
А вокруг, с предельной
новизной,
Буйно фонтанирует весна
Из разверстой скважины
земной.
О, природы жизненная новь,
Я за всё тебя благодарю!
За любовь твою и нелюбовь,
За золотоносную зарю!
За сиюминутность и века,
За друзей, монголов и татар!..

И летят над Русью облака
В направлении на Гибралтар.

ДРОЗД

День возрождён из праха,
Явился, нов и прост.
И зазвенела птаха,
Похоже, певчий дрозд.
На двор открыта фортка,
И ясно виден он.
Поёт, купаясь вёртко,
В заре со всех сторон.
Он из ночного мрака
Принёс весны печать
И веселится всяко
Не в силах промолчать.
То песня, не на зависть —
От чувства полноты,
Чтоб превращалась завязь
В чудесные цветы.
Щелчки и трели эти
Восторженны.
Поди,
Не спеть такого в клети
Иль просто взаперти.
Чтоб чувство не поблёкло,
Лишь вольного удел —
Пройтись по нотам бегло
И так, как сам хотел.

***

Вновь в саду, куда я с детства
вхож,
Зацвели и яблони, и вишни.
Здесь мирские тяжбы и делёж
Кажутся нелепы и излишни.
Здесь бежать не надобно
стремглав.
Ко всему сочувственно
причастен,
Понимаешь бытие, как сплав,
Что душе созвучен и
контрастен.

Понимаешь: было и прошло.
И спешить не нужно суматошно.
Постоял — и на душе светло,
И глаголы птиц постичь не
сложно.

Принимаешь боль и озорство —
Этот сад завзятый заводила,
И природы подлинность его,
Снарядила и принарядила.
Всё уместно, всё имеет вес —
Вечности испытанные средства,
Где никто бесследно не исчез,
Уходя в соседство иль в
наследство.
За горами, где-то есть зима,
Далеко...
А здесь, любви подобно,
Меж холмов, где сгрудились
дома,
Расцветает сад нерасторопно,

Здесь пчела певуча и чиста,
И душа при ней уже другая,
В этот сад стремится
неспроста,
На него надежды возлагая.
На его земное бытие.
На мгновенья и тысячелетья
Принимая в введенье своё
Ароматы, звуки и соцветья.
Вот уже, казалось бы, полна,
Но подходят образы другие
Бытия: их мель и глубина,
Ностальгия и драматургия.
Весь его неразделимый спектр.
Даже, небу места в ней
хватило,
Где сверяет Звёздный Геометр
Пропорциональные светила.

Я стою, как будто, у дверей,
Где вот — вот опустится
завеса.
И душа предчувствует острей
Вероятность ангела и беса.
Это ночь неспешно в сад
вошла,
Чтобы снова ускользало мимо
Всё, что в жизни
неисповедимо:
И закат, и птицы, и пчела...

***

Пусть вечною будет река —
новизна,
Душа вдохновенна, а кровь
горяча.
И пусть неразгаданным
светом полна,
Над нашей судьбой не угаснет
свеча.

Пусть будет изменчивый быт
немудрён,
Тетрадка — набросками
испещрена...
Никто от остуды не заговорён,
Но пусть не приходит
подольше она!

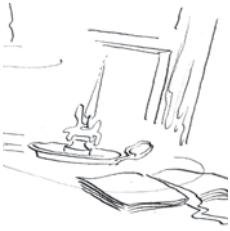
Пока не утрачен к судьбе
интерес,
Спешу преклоняться перед
новизной,
Где горы и реки, и смешанный
лес,
И долгая степь, с перспективой
сквозной;

Где виды являют суровый узор,
А где-то изысканные,
чересчур.
Пусть чувством живым
оформляется взор
В округлый восторг иль в
пытливый прищур.

Пусть длится и длится
исконная связь
Души и природы, чей
красочен вид,
Где чуткая осень, светясь и
бодрясь,
Пока ещё к сущему
благоволит.

И верится в то, что упадок не
скор.
О, смертная птаха, о вечном
свисти!
И смутным предчувствиям
наперекор,
Печали и боли спеши извести.

Играй! Источай
полнозвучный задор,
Округу на жизнь и любовь
вдохновив!
Пока позабывший о нас
Кредитор
От песен беспечен и
миролюбив.





Георгий САТАЛКИН

БИНОМ НЬЮТОНА

Рассказ

Георгий Николаевич Саталкин родился в 1938 году в селе Малая Горка Минской области. Окончил Оренбургский государственный педагогический институт. Служил в армии, работал лесорубом, матросом, учителем, фермером, корреспондентом на областном радио. Член Союза писателей России. Печатался в журналах «Москва», «Октябрь», «Роман-газета», в коллективных сборниках. Автор нескольких книг, прозаик. Инициатор строительства областного Домалитераторов и создания общины «Оренбургское казачье войско» (1990). Лауреат премии имени Валериана Правдухина альманаха «Гостиный Двор» (2009), Всероссийской Пушкинской литературной премии «Капитанская дочка» (2013). Живёт в Оренбурге.

1.

Читал ученик девятого «В» класса одной школы на окраине одного южного городка, беспробудный двоечник, кое-как, с великой натугой получавший тройки, Лёня Пузырёв много, очень много. Читал запоем, взахлёб, читал всё подряд, не понимая, что хорошо написано, увлекательно или умно хотя бы как-нибудь, а что бездарно, скучно, скудно. Лишь бы книга оказалась как можно толще, лишь бы как можно дольше можно было оставаться в призрачной, нездешней жизни.

Читал «Алитет уходит в горы», читал «Возвращение Василия Бортникова», читал «Далеко от Москвы», с восторженным ужасом пожирал страницы «Молодой гвардии», а потом «Счастье», а потом «Весна в Сакене», Флобер ещё, Купер, Майн Рид, Золя, Бальзак, Конан Дойль, «Похождения бравого солдата Швейка»,

Диккенс, Скотт, Теккерей. А Пушкин, а Лермонтов — Печорин, Онегин, Татьяна Ларина. А «Горе от ума», потрясшее Лёню!..

Иной раз он так пылко зачитывался, восхищался книгой так, что и про школу забывал. И тогда перед матерью своей, Людмилой Захарьевной, приходилось изображать больного, щелчками, воровской украдкой настукивать на градуснике температуру, стонать и притворно охать и отказываться от еды, а потом, когда мать куда-нибудь отлучалась, выскакивать из постели, хватать ложку и прямо из кастрюли черпать борщ или кашу — что попало! — и мигом назад с набитым ртом под одеяло, глотать давясь, укутывать горло стареньким шарфом, сдавленно, притворно хрипя, отвечать на раздражённо-строгие вопросы матери, которая подозрительно всё вглядывалась в лицо сынка. Не верила она хрипам, кашлю и стонам лживого, испорченного, ни на что совершенно не годного — увы! — чада своего.

Людмила Захарьевна вовсе не была Людмилой. И Захарьевной не была. Звали её когда-то Марией, Марусей, Машей, а чаще Манькой пренебрежительно похлёстывали. Она же чуть ли не с пелёнок красилась и наряжалась — фифой настоящей родилась. Капризной, своенравной и даже взбалмошной девчонкой росла. И чуть повзрослев, поменяла своё плебейское имя на возвышенное, романтическое, пушкинское. Хотела даже сперва Земфирой сделаться: звучное такое, такое таинственное, чужестранное имя. Насилу отговорили её, согласилась на русскую Людмилу.

И к отчеству своему у неё тоже претензии выставлялись, и здесь она раннее своеволие своё показала: Захарьевной вместо Захаровны стала. Она и фамилию свою, выйдя замуж за некоего Пузырёва Трофима, оставила прежнюю свою, девичью. Боялась, во-первых, что за глаза её Пузырихой будут звать, щепетильная уж очень на этот счёт она была, а во-вторых, ну что это за фамилия такая — Пузырёва! Чем-то, добавим мы тут в скобках, фамилия эта её царапала, на что-то тайное такое намекала. От имени своего простодырого какого-то едва избавилась, так нате вам — Пузырёва! Нет, уж лучше она Станочкиной останется.

Уж очень щепетильной была Людмила Захарьевна Станочкина, повторим мы, на этот счёт, до капризности даже некоторой. И честолюбива вдобавок, и не без тщеславия к тому же.

Лёня, единственное дитя от первого её брака от некоего, опять необходимо нам повториться, ничтожным оказавшимся, Пузырёва Трофима, откуда-то узнал о проделках матери со своим именем и отчеством. И это произвело на него не то чтобы странное, скорее какое-то неожиданное впечатление. Неожиданное в том смысле, что оттолкнуло оно сынка от матери и, если так можно выразиться о

шестилетнем человечке, отрезвило его. Какая-то тщательно скрываемая, подпольная фальшь холодом сосульным проникла в сердечко его, словно бы мать сделалась какой-то чужой, не настоящей.

Ведь до этого случая, до разоблачения её, Лёня, когда ещё совсем ребёнком был, просто-таки прилипал к матери, беспрестанно лез к ней на колени, на руки просился, не отпуская её ни на минуту. И своей назойливой такой привязанностью и даже навязчивостью выводил мать из себя, не давая ей даже говорить — закрывал рот матери своей ладошкой. Она его отшлёпывала, а порою, потеряв всякое терпение, больно била со всею своею страстью и кричала что-то беспамятное на Лёню.

А он, не понимая в панике своей, отчего, почему мама его отторгает, отчего бросает одного, когда она так ему необходима, от страха и даже ужаса начинал реветь, в истерике биться. В истерике заходилась и Людмила Захарьевна, сатанея от раздражения и злости на своего чёрте какого капризного, упрямого, а главное — совершенно непонятного, непонятного до какой-то пустоты в душе, ребёнка.

Узнал же Лёня о проделках матери своей, Людмилы Захарьевны, с именем и отчеством своими вроде бы и не случайно. Откуда-то у мальчишечки прорезалась страстишка подглядывать и подслушивать за всеми, за кем попало. Оно, конечно, каждым ребёнком любопытство врождённое движет, но у Лёни оно почему-то гаденьким получилось. Может быть, потому, что за матерью малец с особым пристрастием наблюдал? Вроде как бы из ревности? Возмездие некое ему необходимо было? Из-за отторгнутости своей, покинутости и пренебрежения им, ребёнком, матерью своей? Возможно. Скорее всего так и получилось.

Видимо, в какую-то особенную, приятную минутку Людмила Захарьевна разнежилась и открыла супругу своему, Виталию Евгеньевичу, болезненную для неё, в чём-то даже обидную и какую-то даже позорную тайну своего первоначального имени. А мальчишка взял и подслушал и затрепетал весь в сладостном испуге, в ужасе даже каком-то торжествующем: ага! Попалась! А я знаю, знаю теперь, кто ты такая и почему не любишь меня, почему лупцуешь ремнём, и холодно, строго одёргиваешь на людях, когда Лёня неуместный, а то и просто дурацкий вопрос выпалит. И стыдишься сына, и поучаешь занудливо и беспощадно.

Как и почему Лёня два этих факта — настоящее имя матери и её отчуждённость от него, холодность и даже брезгливость некоторую к нему — связал, он и сам не знал и не задумывался никогда над этим. Только на характер мальчишки они повлияли основательно. Они ему какой-то зловредной смелости прибавили.

Отношения подрастающего сына с матерью и раньше тяжёлыми складывались, запутанными какими-то и страшно противоречивыми. Людмила Захарьевна считала, что ребёнок её уродился таким вредным потому, что весь багаж испорченности получил от папаши своего, Пузырёва Трофима, с которым она чуть больше года прожила, но даже и за это короткое время досконально выявила несносный характер и возмутительные душевные качества отца Лёни.

И до того постигла, до того изучила, что стал Пузырёв Трофим по решению бесповоротному её эталоном всяческого негодяйства и даже бесчеловечности. Никто не знал, что это не Людмила Захарьевна выставила за дверь неудачного, прямо даже сказать — паршивого, совершенно особе её не соответствующего мужа, как она повсюду объявляла, а сам он, Пузырёв Трофим, скромно покинул бешеную супругу свою.

И частенько меркой ненавистного и презираемого бесконечно отца Лёни она характеризовала отдельные поступки да и всё поведение сына.

— Вот, во-от, вы только поглядите! — в пылу раздражённого обличения кричала она, указывая на провинившегося сынка пальцем. — Вы только поглядите на этого негодного мальчишку! Весь в папашу своего урода Пузырёва! Вылитый Трофим!

И однажды Лёня не стерпел — выдал своё порочное пристрастие к подслушиванию и тем самым подтвердил тезис матери своей, Людмилы Захарьевны, о полученном от отца Пузырёва наследстве — неисправимо испорченной натуре.

В очередной раз за какую-то провинность Людмила Захарьевна, наказывая сынка своего, схватила его за лопушистое ухо, комкая и выкручивая его в самозабвении, в каком-то даже праведном азарте. И Лёня от сильной боли, а так же из протеста возможно ещё, ну и ещё из вредности своей врождённой, как вдалбливала в его лопоухую голову мать, завопил:

— О-ё-ёй! Пусти, больно! Пусти, Манька, лучше!

И вдруг сквозь слёзы, через нестерпимую боль злорадно, торжествующе, весь зажмурившись и съёжившись, засмеялся, захохотал, захихикал.

Людмила Захарьевна остолбенела. Всё её полное, с маленьким, аккуратненьким носиком и маленьким, бутончиком, ротиком лицо туго налилось кровью, вот-вот, как спелый помидор, готово было лопнуть. Растерявшись, она не знала, на что реагировать, за что колотить мерзавца: то ли за «Маньку», то ли за гнусное пристрастие к подслушиванию, то ли — что совсем уже из всяких рамок вон! — за хохот злорадный, сатанинский даже

какой-то, как ей показалось, ударивший Людмилу Захарьевну в самое обидчивое сердце её. Она ведь знала, какую боль испытывает парщивец, когда ему выламывают ушную раковину и — издевательски хохотал!

Каким же нужно быть испорченным мальчишкой, чтобы дразнить мать запретным именем. Как же нужно не любить её и не побоимся добавить догадку свою — презирать, чтобы боль наказания исторгла этот противоестественный смех!

И взорвалась Людмила Захарьевна, захлестнулась до немоты, застучала ногами, замахнулась набрякшей ладонью, но увидела в слепящей вспышке гнева своего затрепетавшие в испуге, в преддверии её карающей пощёчины мокрые реснички Лёнины, занесла над дрожащими глазёнками сына руку и остервенело затрясла ею над съёжившимся сынком. Но что-то удержало её от возмездия, и она кинулась к супругу своему, отчиму Лёни, к Виталию Евгеньевичу, невозмутимо встряхивавшего как всегда газету «Красная звезда» и прихлёбывавшего крепкий, непременно свежезаваренный чай из тонкого стакана в кружевном мельхиоровом подстаканнике, придерживая чайную ложечку пальцем. Он ничего не видел, ничего не слышал.

И тогда... тогда Людмила Захарьевна вдруг заплакала, тоскливо, муторно подвывая. И от этих хлынувших вдруг материнских слёз сделалось Лёне бесприютно, невыразимо даже одиноко.

2.

Одиноким он был всегда и везде: у себя дома, в школе, в обширном своём дворе, за низиной которого, за огородами тёк ручей с купами сутулых, смирно стоявших вётел; в городе, на его улицах. Среди прохожих одиночества своего он так остро не ощущал. Скорее тут он чувствовал себя независимым ни от кого, свободным, сильным человеком, от этого становилось ему весело.

Но мимолётным оказывалось это веселье, и свобода гасла, и независимость тоскою оборачивалась, и Лёня не знал, зачем он шляется по городу, чего ищет, кого найти надеется.

Он ведь даже с птицами, букашками, муравьями, травой, деревьями, с молчаливо текущей водой и с облаками на небе после этих бесплодных прогулок в город переставал на какое-то время общаться, обрывалась связь с ними. Благо тут за Лёней никто не подглядывал, никто не следил за его нелюдимым поведением. Природа терпелива была и ни в чём никогда не укоряла его.

И что самое главное — никто здесь не отворачивался от Лёни, не отводил то ли опасливо, то ли брезгливо, то ли презрительно,

а то и с отвращением глаза, встретившись с ним взглядом, на что Лёня торжествующе ухмылялся, утоляя тем самым всякий раз свою обиду и боль.

Иногда он придирчиво принимался разглядывать себя в зеркало: большая голова с рыжеватеньким чубчиком, скошенный подбородок, красновато-жёлтые прыщи у набухшего в вечном насморке носа, на лбу тоже они вызревали. Красноватые, будто воспалённые, губы и главное — уши, всё внимание на себя забиравшие — огромные лопухи, — вот что было настоящим проклятием, вот что больше всего удручало Лёню и что ненавидел он в себе больше всего!

Уши тоже всегда были красными, словно их только что жестоко, с выкрутасами надрали. А лицо, всё обличье Лёнино было бледным, с синюшным даже каким-то наплывом. И вся эта прелесть красовалась на тонкой, всегда словно бы невымытой грязноватенькой шее.

Прыщи, когда они вызревали, Лёня с мстительным удовлетворением выдавливал. Кому он мстил таким вот образом — неизвестно. Самому себе? Вопрос, который он предпочитал оставлять без ответа.

Но после стычек, ссор, скандалов с Людмилой Захарьевной, причём все перечисленные элементы неблагополучия исходили от матери, Лёня большей частью молчал упорно и многозначительно, слушая крик её и оскорбления. «Чёрт, урод страшный! Копия Трофим!» — не самые последние слова в адрес сыночка сыпались, — вот после этих всех домашних происшествий Лёня, выдавив гнойничок, промакал сукровицу слежавшейся в лепёшечку ваткой из пудреницы Людмилы Захарьевны. Вместе с тем, где-то в далёком подсознании он понимал, что поступает мелочно, подловатенько и даже отвратительно.

Но ничего с собою уже поделать не мог. Как раз именно последняя оценка этого поступка приносила ему противозаконное удовлетворение, наслаждение даже какое-то, которое, выплыви вся эта подоплёка наружу, осудил бы всякий, и сурово, непреклонно осудил бы. Но Лёне этот поступок был уже необходим.

Из класса в класс он переползал с трудом. И каждый раз только после того, как мамуля его, Людмила Захарьевна, работавшая в городском отделе народного образования инспектором, лично посещала кабинет директора школы Николая Семёновича. Как! Чтобы её сын, сын Людмилы Захарьевны Станочкиной, остался на второй год?! Позор такой на её голову? Никогда!

О ремесленном же училище, о фабрично-заводском обучении балбеса её слышать даже она не желала.

А в девятом классе начала уже приближаться серьёзная математика. Бином Ньютона вошёл и уселся на заднюю парту к двоечнику Пузырёву, который толком и проценты ещё не усвоил, в таблице умножения шатался, логарифмы для него белибердой несусветной казались. Тангенсы, косинусы и прочая их братия насмешливо обступали его и щёлкали по медному его лбу. Лёня бессильно злился на них, негодовал и проклинал и глупо ненавидел их. И злобно стыдился своей матери, когда она появлялась в школе.

В ремеслуху Лёня идти тоже не хотел, побаивался её почему-то. Он просто не мог себе представить, как это он на слесаря или же на токаря учиться будет, за станок, бешено ноющий, плюющий завитками лиловых стружек, встанет. Нет, не его это дело! А что его, Лёни Пузырёва, ленивого, никчёмного, молчаливого, затаившегося в самом себе человека? От которого все сторонятся, все брезгливо норовят обойти его. Почему? Чтобы... не запачкаться? Чем «запачкаться»? Тем повальным каким-то невезением, никчёмностью коренной, кондовой, разного рода несчастьями, той, самое главное, очевидной обречённостью на ничтожную жизнь, которая словно бы чёрным нимбом опоясала его лопоухую голову. А ещё ведь и мелкая постоянная ложь, мелкое пакостничество, подколодное злорадство — они ведь так и кишат вокруг Лёни и пачкают, мажут всякого, кто сближается с ним.

Не так разве?

А тут ещё, когда прорвались эти мрачные вопросы и потребовали жестоких ответов, вышел на сцену Бином Ньютона. И сегодня как раз наступил тот час, когда Лёня должен был лицом к лицу столкнуться с ним: математичка Нина Васильевна назначила на эту пятницу контрольную работу именно по этому Биному, по этому двучлену, — так его, оказывается, ещё называют.

И когда учительница объявила о своём решении провести контрольную, Лёня, привычно прячась на задней парте за спинами своих одноклассников, пришибленно почувствовал, что она неторопливо идёт к нему и настойчиво ищет своими глазами его глаза. Зачем? Чтобы обнаружить в них страх, тоску незнания, тоску непонимания предмета, унылую обречённость двоечника? Душа у Лёни аж заскулила по-собачьи, по-щенячьи, скорее даже, и он ещё отчаяннее вдавился в парту.

Но мерные шаги учительницы всё приближались к нему. Он уже уловил глухой запах духов её и, не выдержав, трусливо нырнул под парту, якобы искать упавшую туда ручку.

А ручка с пёрышком «скелетик», нелюбимая им, осталась лежать на парте в продолговатом углублении, специально сделанном для ручек и карандашей. Лёня пыхтел под партой, а Нина

Васильевна постучала его ручкой по откинутой крышке и класс хохотнул, а Лёня с красными ушами выбрался из убежища своего и поднялся с понурённой головой, а потом обиженно стал смотреть в широкое школьной окно, и ему с четвёртого этажа были видны разнобойные ряды кровель домов их окраины городской, чёрно-седые клубы вишнёвых облетевших уже садов, а потом снова кровли города ряд за рядом пошли больших уже зданий, и совсем уже вдали две или три трубы столбами застыли дымы и только в вышине длинно растягивались по небу.

А где же его двор? Где огороды, где сутулые вербы у ручья? Лёня нигде их не обнаружил и испуганно перевёл свои глаза на Нину Васильевну, а она точно ждала этого взгляда!

— Какая длинная и тёплая осень, — тотчас же неторопливо проговорила она. — И пахнет горьким теплом: люди костры из листьев опавших жгут. Сейчас бы куда-нибудь в лес или в поле, на курган. Ковыль там совсем серебряным стал. А трава хоть и зелёная, но неживая уже. Правда, Лёня?

Уши у него опять алым маком заполыхали. Он метнул украдкой на Нину Васильевну вопрошающе-недоверчивый и какой-то даже проверяющий взгляд. Нет, математичка не шутила, ни капли издевательской иронии не чувствовалось в голосе её, и маленькое, скуластенькое, с глазами в густой щётке чёрных ресниц лицо её казалось очень серьёзным и каким-то... тихим.

3.

Это выражение притаившейся тишины на маленьком, с кулачок всего, личике учительницы насторожило Лёню. Полезли всякие мысли, разные предположения возникли, самые причудливые, порой какие-то дикие варианты разворачивались. Один из них — главный — такой: математичка намекнула двоечнику Пузырёву на то, чтобы тот не ходил в школу в тот как раз день, когда контрольную она задаст по Биному Ньютона. А по какой такой причине пропустит уроки? Да заболеет, допустим. Или просто не пошёл в школу, а провёл всё это время на природе, у ручья, на огородах, выкопанных уже, с полузабытыми грядками помидорных зарослей, в чаще которых то бледно зеленеют до сих пор ещё не вызревшие, то стеклянно краснеют вымытые дождями помидорины.

Как ещё можно растолковать неожиданные, странные слова математички о зелёной траве, о тёмной, почти чёрной осенней воде, о ковыле серебряном, обращённые именно к самому последнему своему ученику? И невероятный, почти дикий вывод был сделан Лёней: Нина Васильевна спасала Пузырёва от ... двойки? От Бинома Ньютона? Таким вот способом неприглядным? Не па-

дагогическим же совершенно! Лёня читал толстенную, упоительную книгу Макаренко «Педагогическая поэма». Даже он, Антон Семёнович, не отважился бы на такой... что? Шаг? Маневр? Нет! Никогда и ни за что!

Собираясь в школу, Лёня был захвачен этой мыслью настолько — и не мыслью даже, а какой-то всеобъемлющей установкой убежать из школы, с уроков, с контрольной, — что пообедал наспех, кое-как, прямо из кастрюли похлебал пшённого супа; отламывая хлеб от буханки. И, забыв ложку в кастрюле, засунув за пояс на тощем животе пару общих тетрадей и учебник по алгебре, он закрыл дверь на замок, сунул ключ в условленное место и направился было по привычной дороге в школу. Как вдруг точно ударило его током. Он остановился.

Вдруг жарким страхом его с ног до головы окатило. Не потому, что он вспомнил об оставленной в кастрюле своей ложке, и что её обязательно обнаружит отчим, Виталий Евгеньевич, и не из-за предстоящего скандала с матерью, которой обязательно нажалуется на Лёню этот человек, тихо скажет, что пасынок опять ведёт себя как свинья: кушает — нет, не кушает — жрёт прямо из общей кастрюли. А потому остановился, столбом застыл, что только сегодня, только сейчас, сию минуту вдруг ясно развернулось и обнаружился убийственный прямо-таки смысл разговора отчима с пасынком, состоявшийся недавно совсем. Собственно не разговора, его как такового и не было. Виталий Евгеньевич бормотал, мямлил, говорил словно бы нехотя, а Лёня слушал молча.

Матери не было дома — то ли в магазин, то ли на базар ушла. Отчим сидел за квадратным обеденным столом после завтрака, было воскресенье, положив нога на гогу с повисшим на пальцах шлёпанце, отчим читал газету «Красная звезда», шурша ею и встряхивая углами коробившиеся страницы. Лёня зачем-то зашёл в столовую. Он так и не мог впоследствии вспомнить, хотя мучительно силился это сделать, зачем он оказался наедине с Виталием Евгеньевичем.

А отчим, не отрываясь от газеты, никак не обращаясь к пасынку своему, вроде бы ни к кому не адресуясь, забормотал, прерывая себя вздохами, какими-то мычаниями, долгими паузами, такими долгими, что ждать, когда он то ли продолжит свой рассказ, то ли непонятно на чём и зачем оборвёт его, продолжая встряхивать и шуршать газетой и прихлёбывать ещё при этом свежезаваренный чай, ни разу не взглянул даже на пасынка своего — слушает? Нет?

Лёня слушал. Но ничего тогда не понял. Какая-то нелепая история, связанная с рождением какого-то чужого ребёнка, и не-

доумевал, зачем отчим рассказывает это ему?

И вот теперь, когда решалась судьба контрольной по Биному Ньютона — быть ей или не быть, то есть идти на неё Лёне или нет, вдруг до цепенящего ужаса, до помертвения — на какое-то время он куда-то делся, не было его на земле — он понял, он прозрел: да это же о нём шла речь, это же его историю появления на свет выдал отчим пасынку своему!

Как он теперь посмотрит матери в глаза? Как теперь слышать ему голос её — как? Как — когда он знает теперь, что Людмила Захарьевна на третьем месяце беременности Лёней поехала из деревни, где она была директором школы, в районный центр, в больницу, делать аборт. Но уже в больнице обнаружила, что случайно прихватила с собою ключи от сейфа, где хранились экзаменационные билеты и экзамены по этой причине сорвутся. А время было предвоенное, архисуровое, в органах могли этот факт расценить как саботаж. И Людмила Захарьевна быстренько вернулась в школу.

Аборт не состоялся. Аборт? Нет! Убийство — вот что должно было произойти. Ведь ему было уже целых три месяца! А где-то он читал: клетка живая думает, она реагирует на внешние обстоятельства. Мать покушалась на убийство собственного ребёнка, собственного сына, то есть его, Лёни, и он теперь это знает!

Слепой случай спас его, ему он обязан своей жизнью. Он с самого начала нежеланный, случайный на этом свете человечишко, изначально никому не нужное существо. Как теперь ему быть? Как жить? На кого опираться? И без знания этого убийственного факта он обездоленным рос, а теперь пусть призрачную, но всё-таки опору выбил у него Виталий Евгеньевич. Он — зачем это сделал? Впрочем, вопрос этот налетел и тотчас же пропал.

Стали беззвучно рушиться и другие, казавшиеся главными вопросы, среди которых изнурительно громоздился и давил постоянно, болезненно: почему никто его не любит? И отсюда: что плохого он сделал людям? И ещё: почему он так одинок, так бесприютен, так безжалостно покинут всеми? Уж лучше бы... Пусть, пусть бы мать его убила, тогда всем было бы хорошо.

Он не заметил, что давно уже миновал выкопанные огороды, что не погребной землёй уже пахнет, а холодной чистой водой, что сидит он у ручья на обглоданной какой-то коряге и ничего не делает — не собирает сухие веточки для костерка, как мечтал не раз разжечь его, не смотрит никуда и ничего не слышит. Пусто было кругом, пустынно. Пусто и у него в душе было, ни одного желания, ни одной мысли в голове.



Николай ВОЛЖЕНЦЕВ

СКОРОСТЬ СЛУХА

Рассказы

Николай Александрович Волженцов родился в 1947 году в селе Черноречье Оренбургской области. Окончил Оренбургский государственный медицинский институт, работал врачом, заведующим участковой больницы, заместителем главного врача Переволоцкого района, фтизиатром. Отличник здравоохранения СССР. Почётный гражданин села Черноречье и Переволоцкого района. Поэт, прозаик. Автор нескольких книг прозы и лирических сборников. Член Союза писателей России, лауреат губернаторской премии «Оренбургская лира» (2007), премии альманаха «Гостиный Двор» имени Валериана Правдухина (2009), региональной премии им. П.И. Рычкова (2014). Живёт в р.ц. Переволоцкий.

КОЗЫ-ЕГОЗЫ
(Черти на чердаке)

— Конечно, молоко со своего двора — хорошо, да притом козье: очень полезно, целебно, не то, что магазинное — неизвестно как добытое, а то и синтетическое иль полусинтетическое — на химии, невесть из чего сделанное, — сказала моя знакомая Любовь Николаевна. — Держала и я коз...

Если хочешь поссориться с соседями, — говорят, — купи себе козу. Купили мы козу, развели, стало их четыре, и у каждой по козлёнку маленькому. Подросли, и уже почти стадо. Днём и зимой, и летом мы их выпускали на улицу гулять. К вечеру они всегда возвращались домой. Двери сарая днём не закрывали, запирали только на ночь.

Зима подступила — крутая на снег. Снегопад за снегопадом, не успевали снег во дворе и от ворот откидывать. Сугробы

под крышу. А козочек-то днём так и выпускали на улицу.

Вечером надо закрывать сарай, глядь — а их нету! В первый раз такое.

«Ну, ничего, — думаем, — придут ещё, никуда не денутся. Кому такие шкодливые животные понадобятся?» — и на ночь дверь оставили открытой.

Под утро смотрим: наши козочки на месте. К вечеру глядим — опять их нету. Куда деваются? И на второй, и на третий день такое: вечером их нет, а под утро в сарае. Ну ладно, хоть ночью, а возвращаются. Так и оставляем двери сарая открытыми.

Так бы и шло всё ничего, да вот что дальше-то получилось.

В соседях у нас старик со старушкой жили. Тихие, хозяйственные. Во дворе всегда порядок, чисто, уютно. И вот как-то раз разговорилась я с бабушкой, а она и пожаловалась мне.

«Всю ночь, — говорит, — Любушка, не спали. Наверно, у нас черти на чердаке завелись. Как ночь, так и стучат, и топают, и пляшут. Не спим со стариком, страшно. Выйти посмотреть, что творится на чердаке — боимся. Черти, верно, черти у нас завелись!»

Слушаю. «Стоп!» — думаю. — Да ведь это, наверно, наши, на ночь пропадающие козы! Дай, — думаю, — поприсмотрю вокруг сараев, во дворе — куда следы ведут, куда они уходят?»

А как раз накануне снег выпал. Все следы на виду. Смотрю, от сарая к ограде свежая козья тропочка вьётся. А ограда чуть не с головкой снегом завалена. Козам шутя через забор перемахнуть можно. Взглянула через забор: на соседнем дворе следы ведут прямо к лестнице, приставленной к чердаку домика. Над лестницей дверца в чердак. Лестница в сугробе увязла почти наполовину, всего несколько перекладин остались над снегом.

Стали следить за своими козочками. Открыли сарай, выпускаем их и смотрим, куда направятся?

Вышли и, не осмотревшись, гуськом — одна за другой прямо к ограде. Одна, вторая перемахнули через забор на соседский двор, за ними все остальные. Идут к лестнице. Поднялись по сугробам к перекладинам, их перемахнули — и сигают одна за другой (дверца-то не заперта — нараспах) через вход прямо на чердак. Козлятки подросшие не отстают — вслед за ними, все там! На чердаке тепло, сухо. Молодые козлятки играются, скачут. Представляю, какой получается грохот в домике старичков!

Потихоньку выманила их оттуда, загнала опять в сарай. Муж снег от забора откинул до самой земли — и в ширину метра на два от загородки. Не перемахнуть, не перелезть, не пролезть!

На другой день старичков спрашиваю:

— Ну, как ночь спали?

— Тихо, — говорят, — тихо было. Как святой водой отшептали: ни грохота, ни стука, всё поутихло! Перестали хулиганить.

«Славу Богу, — думаю, — хоть не дознались, не догадались, что это наши козы так баловались, на чердаке игры затевали!

НОВОГОДНЕЕ ЗАСТОЛЬЕ

— Вот то-то я и говорю, — продолжила Любовь Николаевна, — может, это и ладно, когда в хозяйстве козочка есть. Приветливое, ласковое животное. Ну а что своебышливое и озорное, то и речи нет: только и жди, какой-нибудь фокус выкинет, выломит, кордебалетом каким тебя угостит...

У наших знакомых (они недалеко, через две улицы отсюда живут) тоже козы были. Да штук шесть или семь. Почти круглый год держали они их на полувольном выпасе. Как? Да так. Сделали навес вдоль забора у ворот, огородку небольшую вокруг, там и зимой, и летом козочки находились.

Снегопады, холод — им нипочём. Снег идёт, а они прижмутся друг к другу и лежат. И снежочком их присыпет: ни холод, ни сырость их не проберут — мех зимний, тёплый. В сараи только в лютые морозы и заходили.

Так вот, подошёл Новый год. Последний день старого — 31 декабря. Пригласили наши знакомые гостей. Но вначале решили все вместе сходить на открытие ёлки. Всё приготовили к новогоднему застолью: яства, кушанья разные. Чтоб в тепле не испортились, вынесли их на веранду, поставили на стол, накрыли тарелками. Веранду прикрыли плотно, но не на запор, и пошли гулять (никогда ранее козы ни на веранду, ни в дом не заходили, поэтому хозяева и не стали двери закрывать ключом, а оставили так, лишь бы не открывались).

Прошлись, погуляли, людей повидали, себя показали, открытие ёлки посмотрели — часа два прошло. Времени до Нового года мало осталось — впритирку: надо возвращаться, кушанья все с веранды в дом занести, на праздничный стол поставить.

Явно торопятся. Заходят во двор: козы под навесом, в загончике, как ни в чём не бывало, как будто ничего не случилось, как всегда стояли, так и стоят, не отлучались ни по какой причине от загона.

— Подходим к веранде, — рассказывает хозяйка, — двери открыты. На столах горы переворошённой посуды. Всё, что можно козам съесть — съедено, всё, что можно козам выпить — выпито.

Вначале и мы, хозяева, и гости аж онемели — молча смотрим, ничего не поймём: как всё и что? Потом дошло, что козы по сто-

лам прогулялись, тоже захотели попраздновать Новый год. Расхохотались. Не обиделись на коз-егоз, стали заносить в дом то, что осталось от их нашествия. Смекалистые животные: знали, когда прийти, и когда уйти. На столах и за столами их не застали. А что делать? Надо продолжать начатый козами застольный праздник. Часто вспоминали потом это весёлое происшествие, так необычно встреченный Новый год.

ХРЮШКИ

— Каждое животное по-своему интересно, особенно домашнее, — заметила моя свояченица, бывшая учительница Мария Борисовна. — Что козочки, что овцы, что коровушки — и хрюшки тоже. Заводим их вроде как бы для своей пользы, для потребы. Привыкаем, привязываемся к ним и не замечаем, что в общении с ними, младшими нашими друзьями, проходит важная, а может и самая интересная часть нашей жизни. Уже с нами и нет их давно, а мы своей памятью возвращаем к себе опять и опять — с крошечного их возраста приветливых, чутких наших зверушек, вспоминаем их привычки, повадки и особинки...

Ксения Ивановна прожила супругой отца моего мужа тринадцать лет; ухаживала за ним, когда он тяжело заболел — добросердечно, искренне терпеливо, как только смотрят и ухаживают за близким и родным человеком. Пережила его. Мой муж отказался от своей наследной доли — половины этого дома (вторую половину занимала сводная его сестра), предоставив право Ксении Ивановне владеть этой отцовской частью дома — жить в нём как ей хочется и заблагорассудится.

Ксения Ивановна подыскала себе старичка, одинокого, правда, пьющего, но толкового, работящего, хозяйственного человека.

Постоянно у неё водилась какая-нибудь живность. Пока она была не так сильно больна, пока в работе не подводили руки и ноги — вела во дворе хозяйство, конечно, с помощью своего старичка.

Ксения Ивановна, кроме кур и уток, каждый год покупала поросят. Старалась брать совсем маленьких, недорогих. Этих чувствительных, чутких, хлипких и капризных к переменам домашних животных, требующих внимательного, терпеливого отношения, брала даже в зимнюю, неудобную для выхаживания пору.

Набирала почти выводок — четырёх поросят. В зиму заносила их в дом, укладывала в небольшой картонный ящик из-под обуви, делала отверстие в стеночке, чтоб дышали, закрывала сверху или картонной крышкой, или платком, косынкой, тряпкой какой-нибудь.

А поросята маленькие, шкодливые, юркие. Так приручаются,

привязываются, что тебе сама собака, хоть ошейник одевай, да гуляй по тротуару, как с какой-нибудь важной породистой псиной.

Поросята в этот раз такие шустрые попались (бывает же, подберётся партия — из ряда вон, оторви да брось), ну просто пропасть, чудо — не беда.

Неделя прошла, как принесла Ксения Ивановна поросят домой. А им в ящике не сидится. Да и не знаю как, двое и выскочили, выбрались из ящика. Раз! — один прыгнул на диван, второй — на кровать. Да под подушки забились и затаились: спят.

Приходит Ксения Ивановна с работы (она подрабатывала сторожем), открыла ящик, а там всего два поросёнка осталось: как положено — лежат, отдыхают. А двух нет!

Она туда-сюда по комнатам — нет! Куда делись? Двери закрыты, уйти не могли. Под кроватями нет.

«Ладно, — думает, — придёт старик, всё разъяснит!»

Давай разбирать постель, чтоб прилечь, отдохнуть после дежурства. Только руку под подушку, а там под подушкой кто-то как закричит, заверещит, завизжит! Поросёнок выскочил, недовольно хрюкает, что его распотревожили.

А с дивана, из-под подушки другой откликается — хрюкает: мол, я тоже тут — никуда не делся!

Собрала она их и поместила в деревянный ящик повыше, попросторнее. Огородила ящик досками, шалью закрыла. Так они там такой переполох подняли! Кричат, визжат, хрюкают! Недовольны, что их так стеснили, свободу их ущемили! Не унимаются — кричат и кричат!

Так и выпустила их в комнату. А они по заведённому распорядку прыг под подушки: один на кровать, второй на диван — и спать.

Так и приучились, ручные совсем! Куда бабка, туда и они. Так и следуют за ней, как охрана.

К лету подрастут, бабка их — в сарай, в загон. Там кричи не кричи — порядки другие, привыкай! Но и там она ухаживала за ними тщательно, сердобольно. Хлипкие животные, чуть что — болеют. Сколько потов прольёшь, сколько переживаний наберёшься, пока вырастишь, выходишь их. Трудно свиньи выращиваются. А у Ксении Ивановны получалось — любила она животных!

СНЫ. БЕЛЫЙ ЗАЯЦ

Начало апреля. Собираюсь к отцу в гости. Накануне вижу сон.

Солдатская поляна (место на опушке леса — перед Черноречьем) — снежное белое поле, окружённое со всех сторон деревьями.

Сумеречно: не то вечер, не то раннее утро. Я с друзьями. Стоим на конце поляны двумя группками, разговариваем.

От опушки леса, через поляну, кружа и петляя, но не меняя направления, в нашу сторону мчится белый заяц. Огромный, каких в жизни не бывает, величиной почти с новорождённого телёнка. От его прыжков взметается снег. Все стоим, смотрим. Уже перед нами. Выскакиваю вперёд, хочу его схватить. Он кружит, петляет, бросается туда-сюда, старается проскочить. Вроде, поймал — держу за ноги. Он вырывается, делает скачки к густым кустам, деревьям на этом конце поляны. Бросаюсь следом. Схватываю, держу его. Опять ускользает... Просыпаюсь.

Вечером иду на вокзал, на поезд. Начинается снегопад, обильный, густой. Через пелену больших, пушистых снежинок ничего не разобрать.

Чувствую, что опаздываю. Если идти бегом, можно ещё успеть. Но я лишь немного ускоряю шаг. Как будет, так и будет! — вроде опасаюсь слишком торопиться. Поезд стоит на перроне. Тридцать, двадцать шагов до него — трогается. Не успел! Поворачиваю домой.

Через четверть часа снегопад переходит в свирепый буран с метелью. Если б я успел на поезд, выехал домой к отцу, в такую погоду через степь — не дошёл бы...

ПЕСНЯ

Сон. Черноречье. Не сегодняшнее, а былое. Воздух раннего детства — моего шестилетнего возраста. Знаю, что того Черноречья нет, что это сон, что я во сне. Место: то ли возле старого клуба, то ли возле рыбацкого дома, то ли там, где сейчас правление, где раньше, возле брёвен, учётчик распределял наряды колхозникам. Стоят мои земляки. Вижу тех, кого уже нет на свете, вижу и сейчас живущих в Черноречье, и уехавших из села навсегда. Всех вижу такими, какими видел их в детстве: бравыми, крепкими. Здесь и ровесники отца, не постаревшие, а в самом набравшем силу возрасте. Вон молодые Санька и Васька Рябковы, Юрка Вотинцев (Гудок), Колька Афанасьев, Мишка Гоныщев (Емеля). И лица мне незнакомые, неузнанные мной (трудно кого-либо выделить и узнать в сумерках в такой большой толпе).

Поют какую-то грустную, вроде бы старинную, всегда, испокон веков певшуюся в селе казачью песню. И слова, и мелодию её я никогда ранее не слышал, но принимаю песню во сне, как старую, знакомую и близкую. Протяжная, задумчивая. Грусть и печаль. О жизни. Всё уходит и проходит, радость, любовь, родное. Песня казачья о прошлом и былом, а как будто о настоящем. Прощание с

родиной покидающего её навсегда молодого сельчанина.

В утреннем сумраке вижу крайнюю степную улицу. Вот домик Татьяны, возлюбленной молодого казака. Слова песни: «Вот Татьянино окно...» В песне и во сне — словно это я уже уезжаю и прощаюсь с родным селом. Крайняя степная улица. Вокруг пыльной дороги, возле заборов и плетней, крупная белая и степная мелкая полынь. Околица села, маленькие дома, те, которые стояли здесь в пору моего детства. Отёсанные, приготовленные для стройки брёвна. Здесь в детстве всегда мы встречали табун. Выезжаю в степь. Пронзающая, прожигающая душу грусть.

Снова вижу земляков. Поют песню. Смотрят на меня, будто обращаются ко мне.

Грусть. Будто самые сокровенные, самые несказанные дни прежней жизни были только здесь, в родном селе. Только здесь шла моя настоящая, искренняя, нужная жизнь. А вся моя прошедшая взрослая жизнь в стороне от села — напрасные, бесплодные, никому не нужные скитания по миру.

Просыпаюсь, ещё слышу эту, из сна пришедшую и сейчас быстро от меня уходящую, тающую песню. Ещё отчётливо вижу приснившиеся мне грустные, устремлённые на меня лица земляков. Ясная, неимоверная грусть. Стараюсь запомнить слова и мелодию песни.

Холодком в окошко тянет,
Засинело за окном.
Скоро, скоро солнце встанет,
Мглу развеет над селом...
Ржаньем конь напоминает:
Из станицы уезжать.
Пусть никто не провожает,
И не надо провожать.
Ретивое встрепенулось —
Вот Татьянино окно.
То ли шторка колыхнулась,
Сумрак утренний. Темно.
Слышу, как гармонь играет
Возле дальнего двора...
То мои дружки играют,
Возгудают до утра.
Там друзья всё колобродят,
Веселятся без меня.
Пусть дорога, как поводья
К степи выведет коня.
Ох, как медленно светает,
Всё осталось за спиной.

Лишь одна полынь седая
От села бежит за мной.
До сих пор в душе всё дрогнет,
Берегу их каждый взгляд.
Молча смотрят на дорогу,
У ворот родного дома
Отец с матерью стоят.

ГУТАЛИН

— Да что ты, Николай Александрович, не может быть, что не знаешь Мишку Тюлева. Да знаешь ты его, подзабыл просто. На механическом заводе он работал. Так-то весь нескладный, неказистый видом, на щеке шрам: бензопила задела — отметину поставила...

Жадный мужик, мы все хорошо знали эту его черту, испытали на себе. А почему? Да потому, что он, как и мы, рыбак был заядлый. Часто приходилось сталкиваться, стакиваться. На рыбалку-то как ехать, особенно, далеко когда — по-одному не с руки, так и собирались обычаем все вместе. Рыбалка сводит порой людей разных, в быту и обычной жизни, может, и совсем несовместимых. Но рыбалка есть рыбалка. Рад любому человеку, если у него увлечение и страсть к такому отдыху есть. Эта страсть сближает, как я уже сказал, людей, ну совсем, совсем противоположных по характеру.

Ну, так вот, собрались мы раз на рыбалку. Я, друг мой Володя, он врач, и Тюлев с нами. Володя и он — рыбаки заядлые. На рыбалке всё простишь друг другу, но недостатки, они тоже всегда на учёте, на замете. Что греха таить, подтрунивали над слабостями своих товарищей по рыбной страсти.

...Поехали на озеро. А комары — вьются, столбом над каждым стоят, никакого спасу от них нет. Мы мазь от комаров забыли. А у Тюлева есть. Мажется, а нам не даёт. Почти съели нас в эту ночь комары.

— Ладно, — думаем, — придёт и наше время, не спустится тебе эта ночь, жадина!

Через неделю туда же опять, той же компанией ударились на рыбалку. На этот раз, наученные той рыбалкой, запаслись мазью, а Тюлев забыл. Мы не говорим, что у нас мазь есть, потихоньку мажем себя, а Тюлева вконец комары заели.

— Почему вас не кусают, а меня уже съели? Никакого спасения нет.

Володя — шутник, любил подначивать, так же, как и я; сошлись мы с ним этой чертой, друзьями стали — не разлей вода. Вот он и говорит:

— А это зависит — кого кусают, кого не кусают комары — от его крови.

— Как от крови? Почему? — спрашивает Тюлев.

— От группы крови, от резус-фактора. Вот у тебя, Миша, группа какая?

— Третья,— говорит. — А у тебя? — спрашивает меня.

— Вторая, — отвечаю.

— И у меня такая же, — говорит Володя. — А резус какой?

Мишка говорит:

— Положительный. А у тебя? — опять спрашивает меня.

— Отрицательный, — специально, нарочно, поняв Володину шутку, говорю я.

— И у меня отрицательный, — поддерживает розыгрыш Володя. — Вот потому-то нас комары не кусают, — объясняет он.

Продолжается рыбалка. Тот исхлестался весь. Сидит на берегу и хлещет себя веником из талов.

Нарыбачились. Спать укладываемся. Мажем лицо, руки, чтобы ночью поспать хоть чуть-чуть спокойно.

В одной палатке все ложимся. Он и заметил, что у нас мазь, на виду ведь все.

— А, вот почему вас не кусают. Дайте хоть немножко и мне мази. А то, считай, всю ночь не спать, отпугивать от себя комаров.

Володя полез в свой рюкзак, пошарил, пошарил, достал тюбик и кидает Мишке:

— На, мажься да спи.

А в этом тюбике не комариная мазь, а гуталин - крем для смазки сапог, обуви. Темно, тот не разглядывает, — рад, что мазь у него. И давай мазаться, да толстым слоем, щедро. Не своя же — дармовая мазь. Намазался, улёгся. Заснул. Мы лежим, прыскаем, от хохота втихомолку давимся. Что дальше-то будет?..

Заснули все. Под утро, заря только взошла - засветало, солнышко вот-вот над лесом поднимется...

Самым первым встал Тюлев. Мы ещё спали. Подошёл к воде: после сна лицо ополоснуть, да и рыбачить спозаранку, чтоб пораньше всех, побольше всех наловить.

Стоит на берегу. Вода как зеркало. Спокойная — блеск! Тихо. Ни ветерка: ни рябью воду не шелохнёт, ни камыш, ни талишки не колыхнёт.

Нагнулся он — и увидел своё лицо. Своё и не своё! Чёрное, как уголь, как сажа, как у негра лицо, только белки глаз да зубы блестят. Обомлел Михаил. Да как рванёт от воды вскачь к палатке, кричит:

— Беда! Что случилось с моим лицом?! Беда!..

Мы проснулись. Спросонья не поймём, что за беда приступила? Отчего шум и крик зачался? Взглянули на него и тоже вначале обомлели. Ну чистый негр или чудище какое...

В маске из гуталина и не опознаешь Тюлева. Если бы не знали про нашу проделку, вряд ли бы его и определили. Вспомнили про гуталин, попадали с хохотом на землю... Катаемся по земле, не до рыбалки уже. Угомонились через час. Ну какая тут рыбалка — уже светло, клёв прошёл! Собрали удочки, домой собираемся.

...Вот тебе и комариная мазь! Удружили мы другу. Отмылся он, в себя пришёл. На нас никакого наката. Думал уже — всё! Спортилось лицо от какой-то причины. Смеётся вместе с нами над собой. Поделом тебе, впредь жадничать не будешь!..

ГОРШОК С КАШЕЙ

Такую вот байку поведали старики. Правда это или нет, но видно, было такое. Можно по рассказу представить, какой вольготной и изобильной была прежняя жизнь.

Ехал казак с семьёй в лес: то ли на огород — картошку прополоть, то ли сенокосные угодья проведать или клин травы прикосить скотине, то ли по другой хозяйственной надобе.

Переезд через речку по мостику. Мостик кое-какой, не успели казаки его подлатать, подладить — покрепче, вплотную и ровненько брёвна уложить, глины, земли сколько надо насыпать, до ровности довести, сгладить земляную насыпь на настиле. Может, не успели, а может, и не захотели станичники по-должному, как надо управить мосток. Получились щели меж брёвен — сквозняком на воду глядит мост. Одно бревно выше, другое ниже, не тесно приложены брёвна друг к другу. Земляная насыпь волнами по настилу идёт: то колдобина, то бугор, то яма. Вода задевает снизу брёвна, выплёскивается на мост через щели. Едет телега по неловко уложенному, не ухоженному мосту, переваливается из стороны в сторону, как по морям - по волнам плывёт, поскакивает по оголённым брёвнам, трясётся.

Тряхнуло тележку, — и вся приготовленная к обеду снедь (коробка с солью, хлеб, яйца варёные, огурцы, сало, горшочек с кашей) покатилась, посыпалась из накренившейся над самым краем моста таратайки — полетела в воду. Кое-что успели подхватить, горшочек же с кашей булькнул, ушёл на дно...

...Под мостом — глубоко. Загодя перед ремонтом моста русло расчищали, чтобы вода ровно и хорошо, степенно, не стеснённо шла, чтоб не поднималась и не задевала мост — омутом меж берегов стояла. Камыш густой возле моста по берегу расстелился, разросся...

...Так вот, сбурхнулся горшок с кашей — обеденным казачьим блюдом — в воду. А здесь — тут как тут - и хозяин пруда, всего водоёма здешнего — сам сом. Стерёг, поджидал добычу у камышей возле моста. Не зря здесь устроился. Видать, фартило ему тут с пищей и добычей, кое-что перепадало...

Уютное, укромное место. В камышах, да на глубине, да ещё под мостом — не разглядишь, не рассмотришь в мутной речной воде хищника. Застыл, замлел — ждёт. Ан и удача! Как с неба, под морду прямо, горшок с кашей упал. Рыбина огромная, может, и разъелась-то от таких вот случайных и не случайных дармовых харчей, то и дело слетающих из раздрызганных, разхлястанных переправой, грохочущих по выбоинам и колдобинам, едва не опрокидывающихся в воду телег.

Про этого ловца-удальца, разбойника речного станичники уже ведали. Волей-неволей прознаешь, коль ущерб в птичьем домашнем хозяйстве довольно-таки ощутимо стал учиняться почти в каждом дворе. Утки, гуси, частенько с выводками молоденькими вместе, стали исчезать, пропадать на пруду. Плавают, плавают утки и гуси со своими птенцами. Вдруг загогочет испуганно гусь, закрякает, закричит истошно утка: забьётся, заполощется, захлопает шумно крыльями птица, — и нет её. Пропала, улькнула прямо с воды.

Закричит, загалдит весь выводок. Шарахнутся все — и взрослые, и малые — в сторону, врассыпную к берегу все ринутся. Бегом, быстрей, быстрей к хозяйскому двору. Не одну птицу или птенца не досчитаются в этот день хозяева в своей испуганной стае.

Подглядел кто-то из сельчан, увидел вора во время охоты на домашнюю дичь, видел, как тот тянул, уволакивал, стаскивал с пруда на дно молоденького гуся. Показал место. Заметили себе это место станичники, взяли на память...

Проведать-то проведали, прознали казаки, где в пруду привык обитать, находиться разбойник, но не принимали мер — не доходили руки для его поимки. В летнее время сельчане заняты сильно, некогда рыбалкой заниматься, охоту на сома делать...

...Переехал с трудом, с горем пополам сельчанин этот внахлыст, взлягушки построенный мост. Остановил телегу, попробовал с сынками по горячим следам найти слетевший в воду горшок. Срубили жердину, смастерили шест, набили большой гвоздь вместо крюка и стали водить по дну. Хлобыстают, толкают везде, а толку никакого. Везде протыкали, везде прощупали. Чисто везде, пустое дно. Нигде горшка с кашей не находят, воду зря бороздят. Разделись, сами стали искать.

Глубокое, омутное место под мостом. Ныряют один за другим. И руками, и ногами дно щупают. Каждый булыжник, каждый

камешек на дне перебрали, каждую гальку в руках подержали, чуть ли не каждую песчинку потрогали пальцами. И на глубине под мостом, и у камышей вдоль берега. Нет ничего. Не солоно хлебавши, поехали дальше. Решили вечером после работы с бреднем продолжить поиск везде: и выше, и ниже по руслу речки, и под мостом с неводом пройти. Возвращаясь из леса, так и сделали. И что же? Радостью выдался, удачей вышел заброд. Вытянули рыбину. Да огромную! Вот чудо, пудов, наверно, на восемь сом! С трудом затолкали, погрузили в телегу. Дома стали разделывать, потрошить рыбу. Вспороли брюхо, а там, среди требухи всякой, с пищей, заглоченной сомом, горшок с кашей покоится. Вот она, нашлась пропажа! Хоть плач, хоть хохочи, хоть на месте падай от радости и удивления. Бывает и такое...

НУ, КАК ДЕЛА, ЛЁТЧИК?!

Рассказ сельчанки

— Всякое бывает. Ох, не ждёшь, не ведаешь, а прихлынет, заявится, привалит какой-нибудь случай нежданно-негаданно, свалится, как снег на голову, перетрёт, перетрясёт душу обмираньем, испугом и переживаньем. У дочери моей происшествие недавно было. Конечно, отошло всё это, отлегло, вспоминать — и смех, и грех. Хотя в ту пору всем не до смеха было, слёз и тревоги и мне, и моей дочке хватило.

Анна Васильевна задумчиво взглянула в окно, свела руки к подбородку, взглянула на нас.

— Доставали дочка с мужем картошку из погреба. Июнь-месяц уже — они сеять собрались. В мае земля не готова была — грязь, дожди и дожди, да к тому же место низкое, как в овраге. Погреб глубокий. Достают, а про сынишку забыли. Ему три годика. Сестрёнка его постарше. На неё понадеялись. А она иль заигралась, иль увлеклась хлопотами родителей (может, смотрела, как они картошку достают?). Братишка попятился да и полетел в погреб. Смотрят, уже лежит внизу: кричит, ревёт! Яма почти бездонная — три метра глубина: всякие загородки, перегородки в ней. Трясёт нас, побелели все. Достали мальчишку. Дочь слова вымолвить не может, ощупывает его. «Разбился, — думает, — всё!» Вызвали скорую помощь. Приехал врач.

— Что случилось? — спрашивает.

У дочери язык как отнялся.

— Машина наехала, под машину попал? — спрашивает он.

Объясняем:

— В погреб мальчишка угодил.

— А зачем погреб-то открытым оставили? Что делали?

Дочь, сама белее снега, объясняет:

— Картошку доставали...

— Много картошки-то достали? — допытывается врач.

Дочь отвечает (хоть и невмоготу, кипит вся, трясёт её):

— Несколько мешков. Да вам к чему это?

— Как к чему? Зачем так много доставали?

— Сеять собирались.

— Да ведь все посеяли, поздно уже?

Объяснила и это. Расспрашивает, а к ребёнку и не подошёл (дочка на руках его так и держит).

— Погреб глубокий? Как упал?

Рассказали. Пошёл к погребу.

— Да-а, глубина! — покачал головой. — Как же не усмотрели? Смотреть надо за детишками. О чём думали?

Дочь не выдержала:

— Вы, ради бога, ребёночка посмотрите, что вопросы всякие подставляете? Сделайте, что нужно — помощь окажите, ребёночек помрёт ведь: глядите, чуть жив и не плачет уже — обессилел!

Осмотрел и говорит:

— Здесь мы помощь вам не окажем. В больницу надо везти.

Отвезли в больницу, в хирургию. Боялись худшего. Но почти благополучно полёт вышел: только перелом руки, остальное всё цело. Наложили гипс, через три дня домой отпустили.

Ну, испуг-то у родителей прошёл. Зашла я к ним домой - навестить больного. Дочь уже смеётся, про наше медицинское обслуживание рассказывая.

Внучек уже скачет по двору с загипсованной рукой. Подхожу к нему, спрашиваю:

— Ну, как дела, лётчик?

А сестрёнка-то его, егоза такая (понаслушалась, наверно, разговоров-то от старших), обиженная за мой такой насмешливый подход, меня поправляет:

— Он не лётчик, он пострадавший у нас.

— Ну, как дела, пострадавший? — поправляюсь, — дай-ка, руку твою посмотрю.

Показал, как примечательность — гордый такой! Внимание к нему: в погреб слетал, с гипсом ходит. Один такой на весь двор...

СЕРЁЖА МАСЛЕННИКОВ

Мы — больные кардиологического отделения. Здесь обследуемся, лечимся, некоторые готовятся к операции, кто-то прооперi-

рован уже. Относимся друг к другу попросту. Неважно, какого ты возраста: за сорок ли тебе, пятьдесят ли уже, или за шестьдесят перевалило. Кто ты по профессии, тоже не имеет значения. В больнице все равны. Официальности в больничном обиходе, обращение по имени-отчеству, вежливое «вы» среди нас не приняты. Зовём друг друга по имени. Так теплее и доверительнее. Мне уже пятьдесят четыре года, и некоторые больные, из тех, кто помоложе, величают меня по-домашнему — дядя Коля.

Почти все мы деревенские жители. Серёже Масленникову пятьдесят два, выглядит он старше своих лет, но молодые ясные глаза частенько всплёскивают задором, озорством и проявляют весёлую натуру оторвяги и сельского Дон-Жуана. При появлении миловидных женщин очи его начинают сахариться, притягиваются к той особе, что зацепила его взгляд, высекают блеск и удаль.

Серёжа не издалека. До его деревни меньше ста километров. Земляки навещают его часто. Много односельчан и в больнице. «Вся твоя деревня приехала сюда на лечение, что ли?» — подтруниваем мы над Сергеем. Передачи ему несут с обильной мясной пищей, что совсем не совпадает с допустимым для сердечных больных меню. Сергей щедро угощает гостинцами из своих передач всю палату.

Сегодня у Серёги гостья. Полноватая женщина. Тихий, приятный голос. Говорит неторопливо. Это свояченица Сергея (младшая сестра жены). Ей не более тридцати семи лет. С неделю как лечится в соседнем отделении.

От семейных ли забот, может, от болезни, — чрезмерно повядшие черты лица и усталость на нём. Но они не стирают, не скрывают в ней привлекательности. Внимательный взгляд серых глаз, пухлые сочные губы, сдержанность в разговоре, деревенская открытость, безыскусность придают ей особое обаяние и очарование, располагают к ней.

Словно старшему брату, внимает она свояку, ловя его каждое слово, как бы любуется им.

— А меня прооперировали уже, — сообщает новость Сергей. — На самом сердце операция.

С гордостью, слегка рисуясь и утверждаясь в глазах своей родственницы, расстёгивает рубашку, показывает на груди тонкий, алеющий даже сквозь густую зелёнку, послеоперационный рубец.

Родственница с уважением смотрит на перенёсшего сложную операцию Сергея и с любопытством и страхом — на послеоперационный рубец на груди.

— Работать мне пока нельзя, — поясняет он, — так и остаюсь на инвалидности. Гулянки теперь не в резон — отгрохал своё! — весело роняет Сергей.

Поговорив о том, о сём, она встаёт и, прощаясь, напоминает:

— Как будешь выписываться — скажи...

Проводив гостью, Сергей, задумчиво улыбаясь, стоит возле кровати.

Словно поднимая в душе не всё сообщённое и сказанное свояченице или размышляя уже о чём-то другом, вслух то ли себе, то ли нам говорит:

— Да, жить вольготно и раздольно судьба дозволяла. Может, и не очень часто, но дозволяла.

Из какой глуби встаёт и всплывает это его воспоминание? Что толкнуло Сергея вспомнить эту историю?

— Я работал много лет заведующим фермой. На ферме моей выращивались телята — уже крупные бычки, к году приближались. Всяко бывало на работе. И вот надо же было вывернуться этому случаю.

Зимнее время. Метель вовсю крутит. А у меня на ферме разболелся телёнок. Возился весь день с ним. Прока нет, и всё хуже. Дело к вечеру. Посылаю сторожа за ветеринаром. Возвращается ни с чем: ветеринара нет дома, гуляет на свадьбе. Сказал, у кого гуляет.

Пурга — за шаг не видно. Идём вдвоём за ветеринаром, открываем дверь. Там веселье в разгаре. А наш ветеринар, здоровый, высокий, в самом центре выплясывает. Пожилой, много лет у нас в колхозе, знал толк в болезнях. Подошёл к нему, а он не останавливается, так и пляшет, только голову наклонил в мою сторону, то есть слушает.

Говорю ему: «Иван Михайлович, так, мол, и так — заболел телёнок, хужеет ему. Что делать?»

А он, топая в такт музыки и отмахивая рукой, приговаривает:

«Резать! Резать! Резать!» И поплыл, притоптывая, дальше по кругу.

Подали мне и сторожу по сто грамм, пошёл я на ферму. Сторожа моего не отпускают, ещё угощают. Жду: нет и нет. Наконец пришёл, еле тёпленький.

Зарезали бычка, освежевали. Тушку, чтоб мясо не пропало, вынесли на холод, вывесили перед фермой. И шкуру пристроили там же. Легли спать.

Наутро просыпаюсь, смотрю: перед фермой висит не вся тушка, только передняя часть. Кто-то уже разделил свежатинку.

Из того дома, где шла гулянка, к нам идёт делегация из трёх человек. У каждого по литру самогонки. Наш ветеринар во главе. (А мой сторож не отошёл, валяется на топчане.)

— Не переживай, Сергей Петрович, мясо в дело ушло, — успокаивает ветеринар. — Спишем, как надо всё сделаем. А это за труды

— на гулянье, — отдаёт самогон.

Эх! Да как мы засели в Красном уголке, да осушили всё — сил подняться уже не стало... Обмыли бычка и грехи наши...

К вечеру пришли наши бабы, растормошили, растолкали нас...

— Эх, бывало, — как бы продолжает свои раздумья Сергей, — гулять крепко выпадало, ничего не скажешь. Но последние три года, как заболел, и дух водки забыл. И не тянет, и не надо. Теперь, после операции, и вовсе не прикоснусь к ней, — искренне зарекается он.

И мы, вся палата, верим ему.

СКОРОСТЬ СЛУХА

Рассказ землячки

Она резко взмахнула рукой, поднялась и, как будто задумавшись, как будто взвешивая в душе всё рассказанное каждым из нас о всяких житейских приключениях, внимательно взглянула на всех, как бы удивляясь и ища объяснения тому происшествию, о котором задумала рассказать сейчас...

— Как такому случаю выдернуться-вывернуться, выскочить? Чудно в конце вышло, ладно не грустью, как в начале. Ну да чего в жизни не бывает, бывают и такие заковычки-закандычки, нарочно не придумаешь. Так выхлестнет, так вынырнет, как будто и ниоткуда, вроде б и ни с того ни с сего, а вот на тебе! — приключится история иль для разговора, иль для памяти-запоминанья, иль для напоминанья какого-то она появится? Не знаю, не скажу, никак не пойму. Как с ясного неба обильным дождём свалится, ливнем обдаст. Умом не постигнешь, только затылок чешешь: ну и ну, случай пригораздился.

Откуда же слух такой вывернулся, откуда потёк? Случайность? Ошибка? Суета наша повседневная, торопливость или оторопь? Откуда же тогда такой слух проскочил? Сколько лет прошло, а до сих пор его помним и удивляемся-изумляемся. Переполох, который с ног на голову всё правление наше поставил. Сейчас-то смеёмся, а тогда не до смеха было...

Это потом невольно всем сразу пришлось вспомнить, как всё получилось и откуда пошло. Сейчас-то уж ясно: от порядка и усердия, от исполнительности нашей этакое скандычилось. Не буду вперёд забегать.

Ранее, в доперестроечное время, не было такой сутолоки и беспорядка, когда каждый мог делать всё по своему усмотрению.

По-другому всё текло, двигалось. Нельзя было ни руководите-

лю, ни рядовому человеку вести себя так, как ему заблагорассудится. Каждый отвечал за свои поступки, каждый ответственно относился к каждому своему шагу и своим обязанностям работника иль руководителя.

Районное начальство еженедельно в определённые дни собирало всех руководителей на специальные утренние совещания — планёрки. На них заслушивался, как бы отчитывался каждый руководитель о состоянии дел в его хозяйстве, предприятии иль учреждении. Обстоятельно, со всеми проблемами, удачами и неудачами, успехами и провалами до подробных деталей (как на духу — ничего не утаишь, не спрячешь перед требовательным, дотошным районным начальством) — вся картина предстанет на виду, как на ладони — и коллектив, и деловые качества руководителя. Нерадивый или напрокудивший начальник долго в руководстве не держался.

Вот на одном из таких совещаний, видимо, и пошло начало этому случаю, который и происшествием--то не повернётся язык назвать.

Отсюда, отсюда, а ещё откуда бы председатель исполкома райсовета или первый секретарь (да будем его называть просто — районным начальником) мог узнать, что где-то кто-то умер?

Могло, могло так получиться, и, наверное, так и произошло. Как и каждый руководитель на таких планёрках заслушивался и главврач района. Докладывая о больничных делах, он и упомянул об этом случае: умер больной Корнев. Может, начальник что-то напутал, не поняв из отчёта врача, о ком речь идёт, может, наш председатель не так понял районного начальника, но получилось то, что получилось. Умер заслуженный, известный в районе человек. Председатель исполкома по своей должности и званью должен был принять меры, дать распоряжения по такому прискорбному случаю...

— Даймушин, — обратился он на планёрке к нашему председателю, — умер Корнев. Он у тебя долго работал. В его трудовой жизни колхоз ваш был последней организацией, после которой он ушёл на заслуженную пенсию. Даймушин, тебе этим надо заняться: гроб, венки, организация похорон.

Дальше рассказываю как очевидица и как участница, сама достоверно участвующая в этой истории.

Даймушин пришёл в правление и вызывает нас — меня и Аню — двух экономистов и говорит:

— Девчата, умер Корнев, наш пенсионер... Завтра похороны. Распоряжение о гробе я дал. Деньги бухгалтерия выпишет. Ваша задача — купить венки, отвезти в дом покойного. Что надо, чем ещё помочь семье, узнайте.

Мы развернулись, пошли. В магазине заказали, что надо. Достали венки, принесли в правление — надо ехать, везти. А сами раздумались: вроде недавно его видели, вроде бы ничего и не было слышно, что болел, чтоб сразу так и умереть. Сомнение закралось: «А вдруг ошибка вышла, или мы неправильно поняли? Давай-ка съездим вначале, узнаем, что и как, — на месте всё и прояснится». Решили — поехали! Идём к его дому. Смотрим, а он — живой и здоровый - нам навстречу идёт, открывает калитку:

— Здравствуйте, девчата!

Мы обомлели, растерялись, язык не развяжем никак, промычали с трудом:

— А мы вот шли и решили зайти, навестить пенсионера, узнать, как вы живёте, что нужно, — проведать пришли.

А он смеётся:

— Знаю, знаю, что проведать пришли. Не вы первые заходите проведать, сегодня с утра уже все звонят, заходят. Я уж и во двор вышел, чтоб меня видели, что я тут. Кто идёт — и я сразу к нему навстречу: мол, вот он я! Чтоб не врасплох застать человека. С утра меня уже проведывают, хоронят.

Потоптались, чай попили, попрощались, пошли.

Идём и говорим друг другу:

— Хорошо, что хоть с венками сюда не приехали, вот был бы театр!..

Из разговора с ним мы и узнали, отчего такая катавасия вышла, отчего все подумали, что это с ним — нашим пенсионером — получилось... Оказывается, умер отец невестки Корнева. У жены сына — то есть невестки нашего пенсионера — естественно, фамилия по мужу — Корнева. Отец жены и её мужу, значит, батя. Сын - видный в посёлке человек, учитель. На планёрке было доложено, что умер отец Корнева. Все так и поняли-приняли, что умер отец самого учителя, а не его жены. (Так растолковал, наверное, и районный начальник, так, видимо, понял и наш Даймушин). Весь колхоз собрался хоронить Корнева. Так бы всем скопом и явились проводить в последний путь бывшего пенсионера. Да ладно — разобрались.

Молва расходится быстро, летит, укладывается не в минуты — со скоростью солнечного света! И разобраться, и подумать в толк не успеешь — охватит, обернёт! То ль начудит-надсмеётся, то ль всерьёз обернётся — взгляд наш к себе притянет, хоть на миг, но стреножит торопливый, скоростной, расторопный твой быт: ведь для чего-то она появилась? Как думаешь?!



Светлана ЗАМЛЕЛОВА

СТОРОЖКА

Рассказы

Светлана Георгиевна Замлелова родилась в Алма-Ате, выросла на Крайнем Севере. Окончила Российский государственный гуманитарный университет. Писатель, литературный критик, переводчик. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, кандидат философских наук. Главный редактор виртуального литературного журнала «Камертон». Живёт в Сергиевом Посаде.

ПЕТРОВНА

«Экая ведь непогодь... Экой чичер...» — думает девяностодвухлетняя Петровна, глядя, как за окном пьяный ветер задирает подолы и срывает шапки, как резвится в столбах света шальной снег и, падая на землю, тотчас тает.

Согнувшись в три погибели и положив на колени тёмные, сухие руки, Петровна задрёмывает. Тяжелеют веки, а голова, начавшая было медленно клониться вниз, вдруг точно отрывается и камнем падает на грудь. Петровна вздрагивает, выпрямляется и, открыв глаза, смотрит вокруг себя с удивлением и испугом. Словно не понимая, как оказалась она в этой комнате, где помимо железной кровати, хромого стула да «солдатской» тумбочки свален весь хлам, какой уже не пригоден в доме, но расстаться с которым хозяевам жаль — от-

работавший своё холодильник, диван с драной плюшевой обивкой, груды старых журналов и множество коробок.

Оглядев своё пристанище, Петровна успокаивается и снова начинает задрёмывать. Но в какой-то момент просыпается от ощущения, что в комнате она не одна.

Перед Петровной стоит её невестка Валентина Михайловна, крупная дама с широкими чёрными бровями. Заметив, что Петровна пробудилась и виновато улыбается, Валентина Михайловна наклоняется к ней и в самое ухо кричит:

— Я пошла!

— Куды-и? — пугается Петровна.

— Ну, вот... «Куды»... К Васе в больницу.

— Куды-и? — уже с другой интонацией спрашивает Петровна.

— Ну-у-у... Закуды-икала!.. Вася, сынок твой, болеет. Уже неделю в больнице лежит.

— Ва-ася?

— Н-да...

— В больнице?

— В больнице, в больнице...

— Какая ж у него болесть? Алларгия?

— Тьфу... Какая ещё «алларгия»? Сто раз ведь рассказывала...

И Валентина Михайловна, махнув на Петровну рукой, уходит. А Петровна остаётся одна. Она вздыхает, оправляет платок и снова поворачивается к окну...

Пять лет назад Петровна овдовела, и сын забрал её из деревни в Москву. Однако уход за старухой он препоручил своей жене, Валентине Михайловне, считая, что дело это сугубо женское, и что негоже мужчине возиться с детьми и стариками. Валентина Михайловна, согласившись на роль сиделки, втайне вознегодовала, за какие грехи ей вдруг выпало присматривать за глупой старухой, к которой ничего, кроме раздражения и неприязни, она никогда не питала. И хотя Валентина Михайловна предпочитала помалкивать, но неприязнь свою к свекрови едва ли могла заглушить. И каждое слово Петровны отзывалось в ней всплесками желчи.

И потому устроили Петровну так, чтобы как можно реже попадалась она на глаза. Из трёх комнат Петровне отвели самую маленькую. Соорудив наскоро обстановку, Петровну предоставили самой себе.

Впрочем, три раза в день её зовут к столу. А по большим праздникам, как ярмарочного медведя из клетки, выводят из комна-

ты на показ гостям. Гости с таким любопытством рассматривают древнюю старуху, что, кажется, хотят заглянуть ей в зубы или, по крайней мере, пощупать. А Петровна, приходя в смущение от повышенного к своей особе внимания, улыбается беззубой улыбкой и шамкает:

— Дал бы Господь помереть... Чижало со мной... Зажилась, индо тошнёхонько, а и помирать горькохонько...

Гости смеются, но вскоре интерес к Петровне угасает, и о ней забывают. А Петровна уходит в себя и, тугая на ухо, принимается громко вздыхать.

— Ма-ам! Хватит стонать! — кричит через стол Валентина Михайловна.

— Слышишь? Перестань стонать!

Со снисходительными улыбками гости вновь обращаются к Петровне, а Валентина Михайловна не упускает случая пожалиться, как тяжело ей ухаживать за такой вздорной старухой. Петровна, скорее глазами, нежели ушами, понимает, что речь идёт о ней и поясняет:

— Чижало со мной...

Из-за болезни ног Петровна никуда не ходит. Целыми днями сидит она на кровати и смотрит в окно. А в окне проносятся с шумом машины, снуют люди, собаки. Бесконечной вереницей тянутся дома, серые, грязные, с клеточками окошек и уродливыми наростами застеклённых балконов. «И зачем люди в Москву едут, — думает Петровна. — Нешто хорошо друг у дружки на головах жить?..»

И глядя из окошка на грязь, на ставшую осязаемой вонь, на суету, вспоминает Петровна деревню. Там пахнет клевером, сеном и пылью. Горизонт обозначен зубчатой полоской леса. Внизу, под горкой в овраге, шелестит речушка. Ласковая, добрая речушка. Всё шепчет что-то, камушками играет. А водица, что твоя слеза, чистая, прозрачная, прохладная. За деревней — расцвеченный огоньками цветов луг. Звенят, переливаются колокольцами жаворонки, висящие в небе на невидимых нитях. Резвится, закидывает голову жеребёнок. Ветер ласкает цветы. А сочные травы источают пьянящий дух.

И при одном только воспоминании о деревне неудержимо тянет Петровну поговорить, рассказать кому-нибудь о том, как заела её в городе тоска, как одолела дума.

Есть у Петровны дума. Тяжёлая, мрачная. Грех большой на Петровне. Подписала она когда-то бумагу. Ходили по деревне ак-

тивисты, собирали подписи, что не нужна, мол, в деревне церковь, и что трудящиеся просят её закрыть. Пришли и к Петровне. «Подписывай, — сказали, — ежели ты не супротив советской власти...» Испугалась Петровна и подписала. И вот уж много лет прошло, а нет Петровне покоя. Гложет её тоска. Многое пережила Петровна, многое перевидала, но не ушёл стыд за минутную слабость, за скудость души. Угасает память, события текущие мешаются с давно прошедшими, но стыд этот не оставляет Петровну, сидит гвоздём в сердце. И помнит яснее ясного Петровна своё отречение...

Поговорить бы с кем, и тоска отошла бы, отлегло бы от сердца. Но Петровну давно уже никто не слушает, никто ни о чём не спрашивает.

А в деревне её уважали. Прислушивались, за советом ходили. Всю жизнь прожила Петровна в деревне. На земле, которую знала и любила. От неё кормилась, от неё уму-разуму училась. Знала, какая трава от какой болезни помогает, какая птица каким голосом поёт. И что туман падает — к вёдру, а собака траву ест — к дождю. Но не нужны стали её знания. И оттого, наверное, — думает Петровна, — говорить с ней неинтересно...

Выходит из подъезда Валентина Михайловна в байковой кепочке с наушниками и в кожаной куртке с капюшоном, похожим на ковш. «Валя-то картуз надела... Васин нешто?..» — думает Петровна, провожая её взглядом. А когда Валентина Михайловна скрывается из виду, Петровна ещё недолго смотрит ей вслед, а после начинает укладываться спать. Поначалу она ворочается и стонет, и, кажется, что стонам этим не будет конца. Наконец Петровна стихает. И видит она во сне зеркальный пруд, спрятавшийся в ивняке. Солнце отражается в воде, в серебристых ивовых листочках и в банке с червями. На мостках смуглые, с выгоревшими волосами ребятишки удят рыбу. За ними с берега наблюдает чёрный пёс, подёргивающий ушами от мух. Возвращается муж с покоса. Красивый, загарливый, сильный. Завидев его, Васятка маленький навстречу бежит, смеётся-заливается...

Внезапно бьёт по глазам вспышка света.

— Спишь? — спрашивает вернувшаяся Валентина Михайловна, по-хозяйски вторгаясь в комнату свекрови и щёлкая выключателем.

Петровна просыпается и, не понимая спросонок, что происходит, щурит на свет глаза и закрывается рукой.

— Что... что... — беспокойно повторяет она.

— Спишь, спрашиваю? Времени-то восемь, а ты в постели... Ну,

спи, спи...

Валентина Михайловна гасит свет и выходит. А Петровна долго ещё кряхтит и вздыхает, прежде чем снова задремать. Но вот, чудится ей снег с тенётой заячьих следов. Яркий зимний денёк. Занесённый снегом деревенский погост. Беленькая, тоненькая, как девушка-невеста, церковка. И, рассевшись на покосившихся крестах, кричат чёрные галки. Укором для людей стоит церковь, точно спрашивает: «Что же вы со мной сделали, за что надругались?..»

И так тоскливо, так бесприютно делается Петровне, что просыпается она и, выпростав из-под одеяла руку, тянется к ночнику. Костлявая, сморщенная, с распущенной седой косой, в открытой белой рубахе, едва освещённая тусклой лампой, походит Петровна на сказочную Ягу. Открыв наобум молитвослов, читает она вслух: «О, горе мне грешному! Паче всех человек окаянен есмь, покаяния несть во мне: даждь ми, Господи, слёзы, да плачуся дел моих горько...» Слова молитвы падают на благодатную почву, и Петровна совсем уж было собирается поплакать, как вдруг слышит над собой голос:

— Ты чего блажишь, мам?

Петровна вздрагивает. Перед ней стоит Валентина Михайловна, растрёпанная, в дезабилье.

— Я молюсь, — поясняет Петровна.

— Чего ж ты на весь дом-то молишься? Времени-то за полночь... От этого воя весь дом, наверное, проснулся... Ладно... Завтра домолишься...

И Валентина Михайловна забирает у Петровны молитвослов, гасит свет и уходит. А Петровна, прижав правую руку к сердцу, какое-то время неподвижно лежит в темноте. «Нешто Господь меня забыл? — шепчет она. — Отчего не заберёт?..» И тут же, спохватываясь: «Царица Небесная, Матушка, прости ты меня за ради Бога, прости грешную...»

Со стены смотрит с жалостью на Петровну «Троеручица» и, поблёскивая латунным окладом в свете уличных фонарей, молчит.

СТОРОЖКА

Единственный в городе троллейбусный парк разделён на два участка. И на каждом есть свои ворота, своя будка со сторожем и свои псы-приблуды — разномастные, разновеликие, каждый со своей особенной судьбой. На первом участке — ближайшем к шос-

се — ночуют троллейбусы, покорно свесившие рога и готовые хоть с рассветом нестись, подпрыгивая, куда угодно. На дальнем от шоссе участке хранится автомобильный хлам, и водителям городского автопарка позволено приходить сюда по запчасти. Но охотников до хлама, среди которого обосновались два пса, не так уж и много. Вот почему фонари над этим кладбищем созданий рук человеческих зажигаются нечасто.

Осенними ночами под окном дальней сторожки разлита чернильная тьма. Правда, там, где, словно кони в стойле, дремлют троллейбусы, всегда горит фонарь. Но свет его похож на свет далёкой звезды, лучи которой не доходят до земли, растворяясь в ночном сумраке. Внутри сторожка освещена лампой, что держится на торчащем с потолка проводе. А потому из темноты видно, что рядом с окном в сторожке стоит стол, а за столом в разные дни появляются то пожилая дама в бурой меховой жилетке, вооружённая против дальнозоркости очками с толстыми стёклами; то старик с обвисшими седыми усами, то и дело отхлёбывающий из чашки, которая, кто знает, чем наполнена; то всматривающаяся в темноту молодая темноволосая красавица. И нет никаких сомнений, что последнее впечатление отзовётся у стороннего наблюдателя неподдельным удивлением. Потому что, и в самом деле, молодая сторожиха напоминает цветок, выросший, по прихоти природы, на мусорной куче.

«Все! Все.., — с наслаждением думает Инга — а именно так зовут таинственную красавицу. — Все несчастные. И все ненавидят друг друга».

Инга не видела насилия, человеческое зверство никогда не распахивало перед ней своей зловонной пасти. Мера людского несовершенства, преподнесённого Инге судьбой, была столь мизерна, что отравиться ею до бессонницы, до кровавых видений и удушающих ночных кошмаров, было попросту невозможно. Своей каплей Инга отравилась лишь до тоски, до неприятия людей и презрения к жизни.

Дед Инги, как ей рассказывали, был священником, за что и претерпел перед самой войной, сгинув на бескрайних русских просторах. И эта незавидная судьба стала первой из обозримых Ингой. Бабушка Инги — вдова священника — Ингу невзлюбила, как невзлюбила невестку — Ингину мать. А потому Инга ещё пуще жалела незнаемого деда — отчего-то казалось ей, что будь он живой, и бабушка была бы добрее. А теперь и мать, и бабушка, и мачеха матери — все ненавидят друг друга.

«Ненависть.., — думает Инга. — Разве не она движет миром?» Ненависть лишь дремлет в сердцах. Но сон её чуток, и как легко пробудить её! Поддерживать хорошие отношения — значит уметь усыплять ненависть. Но попробуй не угодить, не оказать внимания... Ненависть... Кто, как не она, расставит всё по местам? Кто, как не она, вытравит глупый розовый цвет и окрасит всё в подлинные тона? Только ненависть называет всё своими именами...

У Инги есть профессия. Инга — учитель. Но в школе платят столько же, сколько и в сторожке. Инга сделала выбор. Здесь почти никто не беспокоит её. Днём она читает и кормит собак, ночами смотрит в окно и думает. Вид койки, безразлично занимающей треть сторожки, вызывает у Инги бессонницу, как страшное заклятие — злого духа. Осенними ночами бессонница приходит не одна, но приводит с собою «семь злейших духов». И тогда странные мысли ползут в голову Инги.

Иногда к Инге приезжают друзья, и рабочее время летит совсем незаметно. Вот недавно приезжала к Инге Ольга — школьная подруга. Последнее время Ольга приезжает часто — ей нужно выговориться. А Инга слушает её и всё думает, думает...

Ольга тоже учитель. А теперь, по примеру Инги, из школы подалась в сторожихи, только в автобусный парк. Автобусов в городе больше, чем троллейбусов, да и Ольгино рабочее место не в сторожке, а в одной из комнат, которую днём Ольга делит с диспетчером. К ним заходят водители, и Ольга ненадолго остаётся одна.

Из школы Ольга ушла, чтобы высвободить время на подработку: «С Вовкой-то одно было, — объясняла она Инге, — а теперь мне на мои учительские не протянуть с детьми. Хоть побираться иди! Да и побираться некогда — школа все соки выжмет». С Вовкой Ольга развелась ещё летом. А по весне Вовка объявил, что у него есть другая, и что теперь он намерен жить с ней.

— Всё у тебя... как... как в аптеке, — шипел Вовка, притворив за собой дверь на кухню, чтобы дети не проснулись от голосов. — Ненавижу я эту твою правильность! Всё у тебя как надо, всё... всё прилизано. Хоть бы напилась разок. Хоть бы... Да хоть бы изменила мне, что ли!..

Ольга оторопело хлопала глазами и не хотела верить тому, что слышала.

А толстый и неуклюжий Вовка, молчаливый и добродушный, вдруг точно с цепи сорвался.

— Скучно с тобой, — шипел он на Ольгу, — скучно! Потому что всё у тебя прилично — скучно! А Ксюша... она другая. Она и вы-

пить... и курит. И мужчин у неё было много. Поняла? Не то, что...

Такого Ольга ещё никогда и ни от кого не слышала: чтобы муж корил жену её же верностью. Наоборот — это сколько угодно, даже и на пустом месте. Но чтобы так...

— А бизнес? — и Вовка, утративший всякую покладистость, сделался язвительным, как старый шут. — Из-за тебя я и бизнес не мог делать... А с Ксюшей мы...

— Какой бизнес, Вова? — перебила Ольга, которой чем дальше, тем больше казалось, что говорит Вовка не с ней, а с кем-то ещё, кого нет на кухне или кого Ольга попросту не видит.

— «Какой»! Ещё спрашивает! — ухмылялся Вовка в пароксизме глума. — А палатка-то? Забыла палатку?.. А с Ксюшей мы на проспекте палатку открываем. А ты сиди тут!.. Хранительница очага... Охраняй вон! — и Вовка кивком указал на вычищенную газовую плиту, украшенную кастрюлей с супом.

Вскоре Вовка и в самом деле открыл палатку рядом с автобусной остановкой. И проходя мимо пестревших за стеклом обёрток жвачки, Ольга ёжилась, хлопала обиженно глазами и всё не могла взять в толк: что же это такое происходит?

— Верно говорят, — жаловалась она Инге, всхлипывая, — мужики эти сами не знают, чего хотят. Живём. Всё есть. Дети. Так нет же — нашёл себе... Я-то чем виновата? Неужто, что не гуляла?

И всякий раз от мысли, что бывший муж хотел видеть её гуляющей, Ольге становилось не по себе, как было бы не по себе, узнай она, что где-то узаконили воровство.

Инга, родители которой развелись лет пятнадцать тому назад, слушает Ольгу молча. Помнит Инга свою обиду и разочарование, помнит и удивление, что выкатилось навстречу радости, с которой встретила развод бабушка. Правда, новая отцова жена так и не пожелала знакомиться со свекровью, а через год и вовсе отца бросила. И все живут теперь как сычи и ненавидят друг друга.

— Палатку открыл, — рассказывала Ольга, — а денег не даёт. А я, значит, двоих детей одна содержи!..

В самом деле, то ли дела в палатке шли неважно, то ли Ксюша оказалась охочей до денег, только пришлось Ольге думать о заработках. Два дня в неделю Ольга дежурила в автопарке, в свободное время решила заняться репетиторством. Денег выходило больше чем в школе, и Ольга приободрилась. К тому же, в автопарке ей нравилось: работа лёгкая, водители заходят. Кто конфет принесёт, кто так пошутит. Один даже стал ухаживать. Добрые люди тут же предупредили Ольгу, что этот и в свои шестьдесят тот ещё ходок.

— Погуляет и бросит, — шептали ей в одно ухо.

— От жены ни за что не уйдёт, — шептали в другое. — Уж скольких предупреждал: жена на первом месте.

— А мне сейчас такого и надо, — нехорошо похохатывала Ольга, рассказывая Инге о новом ухажёре. — А что? Ни к чему не обязывает, цветы приносит. На автобусе тут катал, — и снова Ольга смеялась странным, не своим смехом.

Как-то, спустя недолго, он позвонил Ольге на мобильный.

— Привет, Витюся! — прощебетала Ольга.

Инга услышала её голос, увидела глаза, и всё поняла.

— Ты что, спятила? — спросила она, когда щебетание прекратилось, и телефон был препровождён в сумочку.

— А что? — притворно удивилась Ольга.

— Зачем он тебе? Старый, женатый... Я же видела: тощий, волосёнки седенькие висят — песок того гляди посыплется, а он себя хипарём воображает. Какой-то задри...

— А, может, я его люблю! — выпалила вдруг Ольга. — И потом, уж поверь мне — я знаю, мужикам это нравится...

— Что? — не поняла Инга.

— Ну... раскрепощённость там...

— Дура... — разозлилась Инга.

И Ольга обиделась.

«Все несчастные, — думает Инга, оставшись одна, — и все ненавидят друг друга».

И этот скучающий Вовка, потянувшийся из созданного Ольгой бабьего мирка к новым горизонтам, но за неимением горизонтов, ограничившийся палаткой и шлюхой. И Ольга, пустившаяся во все тяжкие и не понимающая, что палатка стала для Вовки своего рода неприступной крепостью, а шлюха — символом вольной жизни, не ограниченной с четырёх сторон магазином и поликлиникой.

Все несчастные и все ненавидят друг друга.

Муж Инги нашёл работу в другом городе и вот-вот должен вызвать Ингу к себе. И она, конечно, поедет. Но и там, знает Инга, всё будет то же самое.

Инга полюбила смотреть в окно и думать. Летом ночи были светлые и короткие, и мысли рассеивались. Но лишь подкралась осень, и тьма за окном стала цепляться за Ингин взгляд. «За что дедушку расстреляли?..» — думала когда-то Инга. «Значит, было за что!..» — думает она сейчас.

В сторожке Инга сменяет Петраса Йонасовича, бывшего когда-то главным инженером несуществующего теперь завода, литов-

ца по крови, которого все и всегда называли Петром Ивановичем. Пётр Иванович большой любитель пива, но в сторожке алкоголь под запретом. Поэтому Пётр Иванович наливает портер в заварочный чайник, а из чайника, делая вид, что пьёт чай, — в чашку. Когда Инга первый раз пришла на работу, Пётр Иванович оглядел её и, оставшись довольным, сказал приглушённым, заговорщицким голосом:

— Приходи в другой раз пораньше — пивка попьём.

— Обязательно, — хмыкнула Инга. Но когда в другой раз пришла в своё обычное время, Пётр Иванович встретил её обиженно.

— Что же ты не пришла? — спросил он таким тоном, словно Инга не пришла на обещанное свидание.

— Куда? — не сразу сообразила Инга.

— Как же?.. А пиво-то мы договорились....

— Знаете, Пётр Иванович, — сказала Инга первое, что пришло ей в голову, — я пива не пью.

— Что же ты пьёшь? — непринуждённо справился Пётр Иванович. — Сказала бы сразу...

— Разве обязательно что-то пить? — пожала плечами Инга. — Ничего...

— Как это? — не понял Пётр Иванович.

Инга смутилась отчего-то и сказала:

— Ну... вино. Сухое.

— Будем иметь в виду, — многозначительно изрёк Пётр Иванович и, очень довольный, поднял вверх указательный палец.

В следующий раз он сказал Инге, смотря куда-то в сторону:

— Хочешь, я вечером сегодня приду? Подежурю с тобой. Вина принесу.

— Не надо, Пётр Иванович, — взмолилась Инга. — Идите домой!

И, подумав немного, прибавила:

— Ко мне придут.

— А-а! — с пониманием и в то же время разочарованно протянул Пётр Иванович. — Понятно... Дело молодое.

И, тоже подумав, сказал зачем-то:

— Конечно, я же не газпромовский бухгалтер. И не ГАИшник с Рублёвки...

Инга хотела что-то возразить, но промолчала и уставилась в пол. Пётр Иванович ушёл.

С той поры он переменился. Напитков Инге он больше не предлагал, а прощался и здоровался с таким видом, что не оставалось никаких сомнений: Инга навсегда пала в его глазах.

На смену Инге в сторожку приходит пенсионерка Клавдия Никитична и приносит с собой ворох газет. Пока Инга ещё не ушла, Клавдия Никитична успевает поведать ей, на ком женился артист N и с кем сожительствует теперь певица Z. И каждый раз с наступлением утра, собираясь домой, Инга гадает, о ком сегодня поведает ей Клавдия Никитична. Одно Инга знает наверняка: каковы бы ни были герои дня у Клавдии Никитичны, она непременно расскажет о них с таким видом, точно от этих чужих и незнакомых людей, от их пустых занятий и никому не нужных передряг зависит сама Клавдия Никитична или кто-то из её близких.

«Как тяжело с людьми!» — думает Инга. Совсем другое дело — ночью в сторожке. Крупный, лохматый Омон и гладкошёрстный Черныш, чуть превосходящий размером кота, поднимают навстречу посетителям дружный лай. А если долго никто не приезжает ночами — принимаются выть самозабвенно. Сначала один кто-то не то громко вздохнёт, не то зевнёт. Потом выдержит паузу и зевнёт протяжнее, то ли пробуя голос, то ли приглашая товарища присоединиться. И вот уж товарищ подхватит, точно говоря: «Да чего там... Давай на полную!» И тоскливые, протяжные звуки взовьются тогда над сторожкой.

Стоит Инге выйти на улицу, как псы, почуяв её приближение, затихают и только радостно ворчат, устремляясь навстречу. Но случается, Инга нарочно остаётся в сторожке и слушает собачьи рулады, которые, как ей кажется, похожи на печной дым, вырывающийся из труб и ввинчивающийся в пустые небеса.

Завыл басом Омон. Черныш подхватил и вторит ему фальцетом. Инга всматривается в темноту и думает. И по временам кажется Инге, будто кто-то смотрит на неё из темноты...



Бэла ИОРДАН

«НА ЭТОМ ЯЗЫКЕ ЖИВУ Я И ДЫШУ...»

Бэла Иордан родилась в Еманжелинске Челябинской области. Окончила Чимкентское музыкальное училище и факультет журналистики КазГУ, Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им. Н. Черкасова. Работала в областных газетах в Казахстане, Киргизии, России, во всегерманской русскоязычной газете «Контакт», главным редактором журналов «Будущее» и «Абажур», режиссёром-сценаристом документального кино. Ныне – собкор в Германии бортового журнала «Tengri» Казахских международных авиалиний «AirAstana». Член правления Союза русских писателей в Германии, автор трёх поэтических книг, дважды лауреат международного литературного фестиваля «Литературная Вена», золотой лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» (2010). Живёт в Розенгейме (Бавария).

* * *

Казалось, что в тумане утра
гусли
звучат над полусонною
землей...
К теплу, на юг летели нынче
гуси,
за вожаком выравнивая
строй.

О чем они кричали, что
вещали?
Непостижима речь пернатых
нам —
прощались или, может,
обещали
вернуться вновь к обжитым
берегам?

А сердце защемило
отчего-то —
для всех в природе точные
часы.
Счастливо, птицы! Лёгкого
полёта!..
Дай, Бог, дожить до будущей
весны.

* * *

На этом языке живу я и
дышу,
на этом языке стихи свои
пишу,
хоть нет у нас родства и
общих нет корней —
язык России сутью стал моей.

На этом языке и мысли, и
мечты,
на этом языке со мною
нежен ты,
на этом языке сюжеты
моих снов,
на этом языке венки вяжу
из слов.

На этом языке со мной мои
друзья,
пусть я в другой стране, мне
без него нельзя.
И знаю, что, когда последний
миг придёт,
на русском к праотцам душа
моя порхнёт.

ОКНО В ДЕТСТВО

Распахну в своё детство до
боли родное окошко —
как невеста к венчанью,
наряжен цветением сад,
где румяное солнце гуляет
по чистым дорожкам,
по-гусарски топорщит усы
молодой виноград.
Там в заботах отец — он встречает
зарю с петухами
и не может без дела, находит
работу чуть свет,
в светлой кухонке мама, как жрица
в языческом храме,
совершает обряд, ежедневный
готовя обед.
Пахнет свежим укропом,
картошкой, ванилью и сдобой,
детством пахнет беспечным,
а годы летят чередой,
проживи хоть сто лет — дома
отчего запах особый,
словно имя твоё, навсегда
остаётся с тобой.
Лечь под вишней в траву и
смотреть в полуденное небо,
где спешат корабли-облака в
синеве без границ...
Ничего нет вкусней, чем
краюха горячего хлеба,
ничего нет святее любимых
родительских лиц.

СИРЕНЕВЫЙ ДЕНЬ

Дожди... дожди...
И вдруг — чудесный день!
С утра смеётся солнце
в настроенье,
И сладостно-душистым
наважденьем
Повсюду расцвела в садах
сирень.

Лиловый цвет закрасил хмарь
и грусть,
Плывет дворами нежный,
тонкий запах,
И чей-то кот, привстав на
задних лапах,
Смешно соцветья пробует на
вкус.

А память вдруг припомнила
до слёз
Давным-давно забытый день
весенний,
И мальчика, что мне букет
сирени,
Мучительно смущаясь,
преподнёс.

Прекрасна жизнь!
А нам тринадцать лет.
Цветущий май. И первое
свиданье.
И лестным было мальчика
вниманье,
А сверстники свистели нам
вослед.

Он был недолгим, детский
наш «роман».
Цветы в стеклянной вазочке
завяли.
И тот букет я вспомнила б едва ли,
Когда бы не сиреневый дурман...

ЧТО ОСТАЛОСЬ

ВЧЕРА — значит в прошлом.
А будет ли ЗАВТРА?
Живу только нынешним днём
И так же не знаю, что может
внезапно
Меня подстеречь за углом.

Заманчивы цели, но к ним
не успею,
Не хватит ни рвенья, ни сил,
Довольствуюсь тем, что
сегодня имею, —
Года поубавили пыл.

Мечты ничего уже больше
не значат,
А время торопит коней.
Лишь горсточка лет, как
монеты на сдачу,
Зажата в ладони моей.



Лидия Андреевна Сычёва родилась в селе Скрипниково Калачеевского района Воронежской области. Окончила исторический факультет Воронежского педагогического института, работала преподавателем. После окончания Литературного института им. А.М. Горького дебютировала с рассказами в журнале «Новый мир». Прозаик, публицист, политический журналист. Публикуется в журналах «РФ сегодня», «ВВП», «Русский журнал», газетах «Завтра», «Московский комсомолец», «Литературная газета», интернет-изданиях. Главный редактор литературного интернет-журнала «Молоко» («Молодое ОКО»). Лауреат премий журнала «Москва» (2004), им. Александра Невского (2008), им. Андрея Платонова (2009), Международной литературной премии им. Антона Дельвига 2013) и др. Живёт в Москве.

Лидия СЫЧЁВА

ТОПОЛЬ СЕРЕБРИСТЫЙ

Рассказы

ПОСЛЕДНИЕ ЖЕНИХИ

На воротах звякнула щеколда, дверь душераздирающе скрипнула, и после некоторой возни в сенцах в хату вошла худощавая, ладно сложенная женщина немолодых лет со следами былой яркой красоты в лице и фигуре, а также с намёком на изящество в простой, но с умыслом надетой одежде.

— Ой, ды какие люди! — вскричала баба Галя и чуть подпрыгнула на диванных пружинах, как бы символизируя вставание. Нежданной гостьей оказалась несостоявшаяся невестка Алка. Лет сорок назад брат бабы Гали чуть было не женился на ней, но родня дружно воспротивилась браку — девка была хоть и красавица, но из совсем нищей семьи.

— Приехала к тебе специально, думаю, воскресенье, надо повидать, — певуче говорила Алка, касаясь рукой белой, чисто выстиранной косынки, и мягко ступая маленькими нога-

ми по рубчатым половикам.

Гостья, несмотря на немолодые годы, сохраняла живость и даже изящество в движениях, а так же ту особенную опрятность и точность, что всегда свойственна природной красоте. Лицо её, с правильными чертами, было высохшим, но голубые глаза не потеряли блеска, и даже передние железные зубы не портили общего впечатления от её чуть высокомерной улыбки. Одежда на ней, по деревенским меркам, была весьма смелой — цветные носки в полосочку, тёмно-серая юбка по колено, жёлтая кофта на пуговицах и белая, не без шика повязанная косынка, обнаруживающая безупречные линии её головы.

— Садись, садись, — заприглашала баба Галя гостью, и та легко присела на старый стул.

— Ну чё, чё ты? — со стыдливым выражением на лице, бабе Гале совершено не свойственном, спросила она.

— Да чё... — Задумалась на секунду посетительница, видимо, не зная, с чего начать разговор. — Что ж, Ванька-то твой, пьёть? (Имелся в виду сын бабы Гали, который жил в городе).

— Пьёть, пьёть, — почему-то радостно сообщила баба Галя. — Он же, гляди, у меня здоровый, ему бутылка ничего не значит. Так что по улицам не валяется, — с гордостью заключила хозяйка.

Алка помолчала. Потом вкрадчиво продолжила:

— Ну, а твой как?

— Ничё, — баба Галя потупила взор, как бы смущаясь своей лебединой семейной песни.

— Это наши последние женихи, — вздохнула Алка, — нам уж на седьмой десяток, большого выбора теперь нету.

— Да-да, — горячо поддержала её баба Галя. — Какие наши годы? Уже ни на чердак, ни в погреб не залезешь. Вот я и приняла в зятья Викентича. Он мне говорит: Пропиши. А я ему кажу: Викентич, я ж подохну, а ты возьмёшь в мой двор чужую, а дети и будут меня проклинать, — она всхлипнула, как бы заранее переживая такой поворот дела. — А с другой стороны, не прими я его, как жить?! — баба Галя возвысила голос. — Дети, и Ванька, и Валька в районе, у них семьи, я там не нужна. А он и «скорую» вызовет в случае чего, и стакан воды подаст, и всё, всё. Конечно, ругаемся, бывает. Он кричит: Я тебя докормлю, такая-сякая! А я на него пру. Орём друг на друга и тут же балакаем.

— А пенсии как же? — заинтересовалась гостья.

— В общий котёл, на его книжку кладём. В случае чего, если я помру (я ж купила 5 метров на гроб у цыган, — попутно похвасталась баба Галя), ему хоть деньги достанутся; ну а я детям наказываю: вы его не прогоняйте, нехай он тут живёт, если что. И хату

вам посторожит.

— А где ж сам-то?

— Свиней покормил, так лёг в кухне отдохнуть.

— А... Тут вот какое дело, — Алка оглянулась, будто высматривая, нет ли в хате посторонних. — Я слыхала, на вашей улице баба молодая померла.

— Да-да! — баба Галя обожала просветительскую миссию, и даже заёрзала в предвкушении долгого рассказа. — Оля померла от рака кишечника. Там она высохла — страсть! А брал её Стёпка Вобленков с ребёнком — она нагуляла по молодости, — баба Галя снизила голос и прибавила скорбно-обличительных интонаций. — Мальчик, года четыре ему было. И вот Стёпка привёл эту Олю в хату и говорит ей: видишь, какой порядок? (А у него мать нигде не работала, только хату наряжала.) Она говорит: вижу. А он ей: Чтоб всегда тут так было, запомни! А она ж с дитём, и на работу устроилась телятницей, и дома хозяйства страсть: две коровы, два телка, три свиноматки с поросятами, птица всякая. Да... — Баба Галя сочувствующе охнула. — А свекрови дюже не понравилось, что Стёпка взял бабу с дитём чужим. Прямо поедом стала её есть. А Оля женщина была порядочная, — баба Галя всхлипнула и перекрестилась, — ну, грех был по молодости, ну чё ж, убивать ей этого мальчонку, что ли? И она страсть как старалась в семье всё делать; я видала раз — сено они убирали, хватает на вилы как мужик. Потом у них со Стёпкой девочка родилась, а свекровь вроде хотела парня... Как будто это магазин какой — чё Бог дал, с тем и живи! — баба Галя угрожающе возвысила голос до крика. — Девочке года не было, Оля вышла на телятню. А свекровь с дитём сидеть не хочет, мальчишка эту девочку нянчил. А Оля на работе надорвалась и всю зиму пролежала неподъёмная. Врачи ходили, опиум кололи. А запах от неё страшный стоял... Ну и померла она, — баба Галя вытерла набежавшие слёзы, — померла, а Стёпка через неделю машину купил легковую, пригнал с Тольятти за 200 тысяч. Туда-сюда на ней, прям неудобно, вроде как рад, что с Олей развязался. Или смерти её дожидался, чтоб машину купить?!

Наступила скорбная пауза. Наконец гостья задумчиво спросила:

— А хозяйство как же?

— Так сдал же хозяйство, машину купил, а за мелочью всякой мать ходит, да сестра его тут, в проулке живёт, корову доит да за дитём приглядывает.

— А мальчик где ж? — продолжала выпытывать Алка.

— Ой, соседи казали, — баба Галя снизила голос, почти зашептала, — мальчик походил-походил по двору, по огороду и говорит:

не, чужой я тут, пойду к бабе. Забрали его Олины родители на воспитание.

— Ну, а чё ж, эта свекровь, дюже строгая? В годах или нет? — не унималась гостья.

Баба Галя учуяла в этом вопросе какую-то особенную важность для Алки, но учуяла не умом, а интуицией. Глазки её блеснули:

— Ды чё ж, все мы не вечные... Она женщина пожилая. Строгая, конечно, кажуть, это да.

— А так мужик справный, говоришь? — клонила свою линию Алка.

— Справный, не пьёть, и богатый — страсть. На нашей улице, считай, первый кулак, — затряслась в мелком смехе от удачной шутки баба Галя.

Наступило задумчивое молчание.

— А я вот что, Галь, приехала, — наконец решительно заявила Алка. — И у нас на хуторе казали, что Стёпка — мужик серьёзный. А у меня ж зять, ты знаешь, забёг аж в Серпухов с проституткой, и ни слуху, ни духу от него уж второй год. А Ленка (дочь) у меня девка хорошая, ты знаешь, — баба Галя согласно кивнула, — и работящая, и хозяйственная. Он — тоже не парень, с дитём, ну я и подумала, если б, Галь, ты переговорила с ним: мол, взял бы он мою Ленку.

Баба Галя воспламенилась заревым румянцем от столь ответственного поручения:

— Ды я чё ж... Я всегда, пожалуйста. Спросить можно. Оля, правда, недавно померла, вроде и неудобно ещё?

— Как сорок дней прошло, так уже можно пытать, — решительно заявила Алка. — А сорок дней когда? На той неделе?

— Ну да, вроде...

— Вот я и приехала тебе сказать. Потому что ты — баба честная, не подведёшь, — баба Галя расплылась в улыбке и закивала головой, — и опять же, будем копошиться — перехватют, сама говоришь, что мужик он справный.

— Справный, да.

— Ну так гляди, Галь, я на тебя надеюсь, — Алка поднялась с дивана, — а я поеду, к вечеру и свиньям надо надёргать, и куры у меня голодные.

— Надо, надо, — поддержала баба Галя.

Она, охая, поднялась, вывела гостью на крыльцо.

Алка была на стареньком, но свежевыкрашенном в кричащий жёлтый цвет велосипеде (её кофта была в тон «транспорту»). Баба Галя громогласно передавала приветы на хутор Трибунский, где жила теперь Алка, та согласно кивала головой. Гостья вывела ве-

лосипед за ворота, щеколда звякнула, и стало тихо-тихо, будто жизнь на время остановилась...

ЕЩЁ И НЕ ЖИЛ

Расскажу я вам историю семьи одного нахального мужика. Зовут его Петька. Ему пятьдесят лет. Развратный, наглый. Мне он, например, говорит: «Вот вы бы за меня пошли?» (Имеется в виду сожительство). Хотела я ему ответить как надо, но удержалась: всё-таки я — государственное лицо, работаю в собесе, зачем же мне опускаться до его уровня?! «Вы, — говорю, — гражданин, не отвлекайтесь от вопроса».

А дело было так. Этот Петька на заре туманной юности женился, построил хату, провёл газ, родил ребёнка, прожил четыре года и ушёл. Жене, правда, всё нажитое добро оставил — в обмен на свободу от алиментов. Туда-сюда, пошатался он бесприютный, и женился на другой (пристал в зятья). Обложил её хату кирпичом, провёл газ, починил заборы и после некоторого раздумья родил в этой семье дочку Анечку. Но баба новая оказалась злостной алкоголичкой, совершенно невменяемой, её лишили родительских прав, и он её, естественно, бросил. А дочку Анечку навесили на него, и Петька, понятное дело, вскоре снова женился.

Новой супруге он первым делом провёл газ, построил сарай, покрыл шифером веранду, но долго на этом месте не задержался — ушёл. Поскольку приглядел себе уже новую супружницу, и опять же с этой Анечкой пристал к ней. И здесь он провёл газ (Петька работает сварщиком, профессия очень выгодная для одиноких женщин, у которых печное отопление), кое-чего помог по хозяйству, и всё-таки не удержался, сбежал.

После этих двух промежуточных баб пристроился он в зятья к Светлане Петровне, наивной и простоватой женщине, которая нынче мне все нервы вымотала. Она плачет, а я ей говорю: «Что вы творите?! Вы видите, я при вас валерьянку себе капаю, двойную дозу?!»

А суть в том, что распутный Петька дом своей новой жене достроил, газ, опять же, провёл, машину — старую «копейку» — купил, и Светлана Петровна родила ему сына Колечку. Младенцу сейчас год и семь месяцев. И в разгар этой семейной идиллии Петька возьми и уйди! Потому что суть его — кобелиная, режь, стреляй, но он ни с одной бабой не может жить дольше четырёх лет. Четыре года — предел, максимум.

А дочка его, Анечка, она к Светлане Петровне уже прикипела и кричит: «Никуда больше не пойду!» Дитё ж оно тоже уматывается

бегать по семьям, «мам» менять! Ну, Светлана Петровна и говорит: пусть Анечка у меня живёт. А у самой — дочь от первого брака, Анжела, младенец Колечка, и эта к ней жмётся, которая ей, считай, никто. А жить им всем на что?! Сама Светлана Петровна торгует на рынке беляшами (от хозяина).

Всё бы ничего, но я вижу, что хочет она этого беспутного Петьку детьми шантажировать. Надеется, что в нём совесть проснётся. А я ей говорю: «Дорогая Светлана Петровна! Ничего у вас не получится, он абсолютно бесстыжий человек, живёт только кобелиными удовольствиями, а о детях ему хоть трава не расти. Зачем вы Колечку рожали?! Вы что, думали, что вы лучше четырёх предыдущих жён будете?» А она: «У нас пятнадцать лет разница. Петя на коленях передо мной стоял, умолял: роди мне сына, наследника, я тебе и машину куплю, и газ проведу».

Ну правильно, мужик — не промах: зачем ему на ровне жениться, он выбрал бабу помоложе, а одногодка ему, понятное дело, уже никого и не родит. «Светлана Петровна, — пытаюсь я вразумить жертву брачного аферизма, — давайте рассуждать логически. Супруг ваш все обещания выполнил: газ провёл, дом достроил, машину купил (потом меня Светлана Петровна до рынка на ней и подвезла). Он что, клялся вам в вечной любви до гроба и в лебединой верности?!» Она глазами хлопает и говорит: «Такого не было...» Ладно. Спрашиваю я у этого бесстыжего Петьки: «Почему вы ушли из семьи?» Он и запел: «Я хочу свободы, я, как человек, ещё и не жил, а мне 50 лет уже...» А сам снял дом, чтобы встречаться с молодухой. Анечке с Колечкой на 1-е сентября ничего не дал, а новой подруге — шампанское, конфеты... Денежки водятся, он мужик рабочий.

А про новую «возлюбленную» как выяснилось? Анечка в жизни настрадалась, и потому за отцом стала приглядывать, шпионить. И когда он с бригадой тянул газ по улице Матери и ребёнка (есть у нас такая — нарочно не придумаешь!), девочка и предупредила мачеху, что, мол, папка как-то не так к одной тёте «тулится». А вскоре он съехал, сказал, что жить в таком ужасе («без любви») не может, и снял себе дом.

И вот Светлана Петровна взяла Анжелу с Анечкой и пошла в эту хату. Дом закрыт, они залезли в форточку, сели тихо, поджидают хозяина. А тут и молодуха объявилась, открывает дверь своим ключом. А в руке у неё — пакетик с цветным кружевным бельём «Дикая орхидея».

Ну Светлана Петровна круто с ней поговорила и прогнала эту пассию вон, а кружевное бельё в гневе изорвала в клочья. Она-то — жена законная (Петька теперь говорит: «Дурак я, расписался с

ней!») Сидят они дальше. Тут и сам кобель заявляется. Как она его не устыжала, он ноль эмоций: «Я сказал, не вернусь к тебе, и всё тут!»

Что делать? Я Светлане Петровне внушаю: ну вы подумайте, зачем вы Анечку на себя вешаете?! Она вам ещё даст оторваться, наследственность-то какая: мать — алкоголичка, отец — с порочными наклонностями. Анечка войдёт в возраст, вы с ней сдуреете. У вас своих двое, их поднимать надо. А за Анечку вам даже платить не будут — она вам никто. «А вдруг Петя одумается, вернётся?! Тут у него и сын, и дочь...» Я говорю: «Светлана Петровна, дорогая! Он пёс бродячий, у него все домашние инстинкты убиты! Не вводите себя в иллюзии. Единственное, на что он годен — это газ проводить, его бы куда-нибудь в Нечерноземье направить, в отдалённые районы. Может там дело, наконец, с мёртвой точки сдвинется, всё какая-то польза людям!»

В общем, выпили мы пузырёк валерьянки на двоих и разошлись каждый при своём мнении. А Петька что ж, за него и переживать не надо — не пропадёт. Он, как переходящее красное знамя — его из рук в руки рвут! Это у меня дома «валух», у телевизора день и ночь лежит...

ТОПОЛЬ СЕРЕБРИСТЫЙ

Если не было зимой крепкого мороза, свежести, снега, пушистого инея, снегопада на полтора суток, вьюжных вечеров, перламутрового льда и яркого, звёздно-далёкого неба, то, считай, что это время года не удалось. А осенью я люблю много чего: и тёплые-тёплые дни в сентябре, и утреннюю мелкую росу, и расписной грушевый лист, и кленовые бульвары в огне, и долгие, глухие дождливые времена, так что в середине дня кажется, будто «хмурое утро», но потом всё обязательно прояснится, закончится и утишится...

Но летом — всё другое. Лето никогда не надоедает, даже в самые жаркие дни. Летом кажется, что так хорошо будет всегда — в лёгком платье, в неге, в тепле и в радости.

Утром — яркое солнце, и белый туман у земли клубится, и праздничный тополь серебристый.

А ночью, когда много серебряных звёзд на небе, тополь возле родного дома тоже тёмно-серебрист, загадочен, он похож на огромный букет, и кажется, будто звёзды на небе — первые облетевшие листья... Небо далеко, тополь — рядом, и так же непознаваема жизнь, и невозможно оторвать глаз и проститься с этим навсегда. Есть особый, вселенский уют серебряной тёплой ночью, когда

ты один на земле, ты и звёздное небо, ты и тишина, и когда ты понимаешь, что твоя жизнь принадлежит только тебе. Наверное, это ночное заблуждение. Утро — солнечное, и солнце всегда «вьёт гнездо» в кроне моего тополя. «Золото в серебре». Тополь наш растёт на востоке.

И первые опавшие листья хрустят под ногой, а утром, отсыревшие, они мягки и податливы.

И вдруг наступает равновесие души.

Я читала книги про путешественников, как в одиночку они переплывали океаны, скитались в джунглях, покоряли вершины. Я, наверное, хотела уйти от себя с этими целеустремлёнными мужчинами, которые знали настоящие дороги. Я тоже смутно чувствовала свою цель — в дымке, в тумане — но с чего начать, как сделать первый шаг? Да и стоит ли? Я была и есть — я уверена — очень обыкновенной, обычной — только немного странной, слишком чувствительной и ранимой.

Здесь, у тополя, я фотографировала своим старым ФЭДом сестру. Вышло, будто она стоит у берёзовых стволов — кора тополя зеленовато-светлая, и на чёрно-белой фотографии получилась да, берёза. Сестры больше нет. Несчастной моей сестры, которая металась в наркотическом забытьи, комкая подушку-«думочку» — она умирала от рака, ей кололи опий. Об одном жалею, твердила она перед тем, как совсем слечь, потерять разум, что мы вырастили своих детей безбожниками. Что с ними будет? И что будет с нами?

Но тогда, во времена увлечения фотографией, я была слишком молода, чтобы терзаться такими вопросами. В летние дни я выбиралась на речку: к прохладе воды, мягкому песку. Здесь я встретилась с курчавым парнем — он гонял на мопеде, как школьник. Влюблённый, он приезжал к тополю. Ему казалось, что я тоже влюблена, но сердце моё было стыло и пусто. А он, молодец, добивался моей взаимности и хвастался: смотри, у меня все руки сбиты (он показывал крупные мозолистые ладони), я дом строю, двухэтажный, давай жить...

Парень мне нравился. Ничего у нас с ним не было — даже поцелуев, только несколько разговоров у реки и один раз — у тополя. Вечером. Он узнал, вызнал, где я живу, хотя я ему даже имя своё не сказала. «Не приходите ко мне больше. Ничего не выйдет», — твердила я. «Но почему, почему?» — удивлялся он. Это было долго и мучительно рассказывать: почему. И стыдно. Я погубила свою жизнь, а теперь терпела. Но ведь никто не виноват, только я! И я делала вид, что всё нормально. Чтобы меня не жалели хотя бы в глаза. Потому что жалеть нужно тех, у кого случайность или сте-

чение обстоятельств. А я сама, сама виновата!

И он больше не приезжал. Я даже, кстати, не помню, как его звали. Сергей? А, может быть, Слава? «Ты знаешь, — говорил он мне, — я в прошлой жизни, наверное, жил в Персии. Или в Финикии, Сирии. Я очень люблю финики».

Из-за этого Серёжи или Славы я тоже полюбила финики — в память о нём. О хорошем парне на мопеде. Его даже не остановило то, что он был меня младше — на год или два. «Это ничего», — объяснял он мне. Вот так, имя я ему не сказала, а возраст — пожалуйста. Он был загорелый, плотный, с шапкой тёмных кудрей. А я была золотистая — от летнего щедрого солнца, тонкая — от переживаний, и вьющиеся волосы гладили меня по плечам. «Забудь меня, — говорила я ему. — Мы взрослые люди».

Но я и сейчас всё ещё чувствую себя иногда ребёнком, маминой дочкой, а мамы — нет. А тогда она мне сказала резко: «Что за парень? Что люди подумают?» И ещё что-то. Ну, он всего-то и приехал один раз — к тополю. Ничего, наверное, люди и не успели подумать...

В густую крону тополя любили прилетать сороки — праздничные, хлопотливые птицы. А осенью зачастили грачи — чёрные, крикливые, любят они это дерево — потолковать перед тем, как податься в дальнюю дорогу.

Тополь, тополь, волшебное дерево! То у тебя лишь серебряный окоём, а вся листва, вся шуба — зелёная, блестящая, а то тронет ветер — и весь ты — драгоценно-серебристый, как виски моего любимого. «Я люблю тебя, — твердила я, стоя на крыльце, — слышишь, люблю!» И знала — там, далеко, ты — со мной, ты — не предашь, и никому не отдашь, и никогда не оставишь — ни в горе, ни в радости!

Тополь серебристый — это ты. Большой, непокорный, самое красивое дерево на нашей улице, «самый красивый парень на деревне», самый-самый... «Ты — самый лучший!» — убеждённо говорю я, глядя в любимые глаза или слыша любимый голос. Не только для меня, а вообще.

Когда-то, в юности, у меня был красный спортивный костюм (я любила радость движения) и три красивых летучих платья (одно подарила покойная сестра). Я чувствовала силу юности, чистоты и свежести. И ужасно страдала от грязи, от нелюбви, от вида чужой глупости — мне казалось, что всего этого не должно быть в моей жизни.

Теперь беды закалили меня. Нет, я не научилась их преодолевать легче, но мне всё труднее чувствовать себя счастливой и лю-

бимой. И лишь в твоих ладонях мне хорошо и покойно. И когда мы долго не видимся, я мечтаю: сразу начну целовать твои ладони. И стану перед тобой на колени. Это не знак и не символ, просто ноги не держат от счастья. Но ничего из этих мечтаний не получается — это ты меня начинаешь сразу целовать и твердишь о своей любви, а я не могу ничего сказать, потому что слёзы бегут по щекам.

Серебряный ветер — на серебристом тополе. На мраморном памятнике маме. Серебристая вьюга зимой. Серебряный ветер разбрасывает листья.

Помню, зимой, малоснежной и серой, тополь всё равно был серебристый, задумчиво-жемчужно стояли его ветви в низком небе. Но здесь, над тополем, небо было выше! Потому что дорогу мимо не миновал никто. Здесь проезжал на машине мой брат — его давно нет, и уже выросли его сыновья; здесь стояла, провожая меня, мама — и её нет; здесь, если честно, часто нет и меня — когда я проваливаюсь, пропадаю в городе — далеко отсюда, чужом, если вдуматься, городе, который я уже много лет по кирпичику перестраиваю под себя. А тополь — ждёт! Здесь я всегда дома и всегда своя, и ничего этому тополю не надо — ни полива, ни ухода. Это мы все — при нём.

И вечером, будто бы по какому делу, я иду по всё ещё зелёной траве, мягкой, приятной ноге, к тополю, иду медленно, о чём-то думаю, мечтаю... О чём же? И думы все эти одинаковы, каждый год, уж много лет. Что жизнь — коротка, что скоро она пройдёт и проходит, что будущее, к счастью, неизвестно, а прошлое, к сожалению, не переделаешь. Но, раскаиваясь во многом и многом, я никому не хочу его отдавать, это моя жизнь, мои вынянченные дни, дни сомнений и разочарований, вдохновений и тревог. Дни беды. Но было, было и счастье...

Раньше я страдала от того, что не стала художником, что не передала на картинах то радостное и светлое, что во мне есть, и что я вижу. А теперь думаю: хорошо! Лишь дома — вечный пейзаж и вечная радость. Картины в Третьяковке уже не удивляют, как прежде. Многие книги — не нужны. А это небо, эта земля, этот тополь, этот вечер — также радуют и печалят душу, как много лет назад. Кажется, без этого можно прожить, можно забыть и не помнить, но вот я возвращаюсь домой и мне здесь хорошо. Самые главные мои картины всегда со мной, их много, и не нужно краски, кисти и холста, только бы помнить! Серебристый тополь и дымку над ним, и неуклюжую любовь кудрявого парня (кто-то живёт теперь в его двухэтажном доме?!) А мой любимый никогда этого

тополя не видел. А могила моей сестры — далеко, на Украине. Но если ехать, то всё равно путь, начало, лежит мимо тополя, могучего и серебристого.

Почему же так грустно? Ведь ещё долго жить, и будет, наверное, счастье...

ОТКРЫТКИ С ВИДАМИ КРЫМА

Я полюбила сразу эту землю. Лёгкую, пористую, сквозь которую так быстро уходит вода. Иногда кажется, что люди здесь ничего не пьют, кроме сока, который даёт им виноград, персики, слива... Но воды здесь более чем достаточно — праздничное море омывает Крым.

Да, да, я видела небо с растворёнными в нём чернилами, и на фоне густой тучи зависала белая, отважная чайка. После, когда дождь уйдёт за гору, чайки будут подходить совсем близко ко мне. Они похожи на отмытых, здоровых, нахальных кур. Перо у них очень белое, клювы — красно-жёлтые, крепкие.

А гром сотрясает чернильную тучу, сопровождая каждый раскат ломаным жёлтым бликом. Дождь, так долго готовившийся в небесных коридорах, оказался крошечным, двухминутным крапом, спорым, весёлым, детсадовским. И едва он ушёл, убежал, как море вспыхнуло тысячами серебряных искр, там, вдали, на границе воздуха и воды; и где-то там же заблудился одинокий парус — белый-белый...

Против всех обычаев, я приехала к морю одна. Мне нужно было хорошенько, вдоволь, не жалея времени, подумать о том, как я тебя люблю, зверино заскучать, и, сломя голову, мчаться потом с безумными глазами через полстраны, через весь город, чтобы броситься тебе на шею. Я любила тебя, любила свою любовь и даже иногда любила себя; и, единственное, что меня тревожило, так это быстрое прохождение жизни. Мне не нравились эти залихватские темпы, с которыми мы неслись к известной конечной станции, и я всячески старалась затормозить экспресс. Известно, что в разлуке время движется невыносимо медленно, и чем эта разлука никчёмней, тем мучительней тянутся дни; в общем, я взяла билет и поехала. Это было совершенно глупое предприятие: никто же не пытается затормозить поезд пяткой, высунув ногу из вагона; но глупость, пожалуй, есть одно из самых изящных женских украшений.

Но поначалу мне было хорошо. Здесь, у моря, где крупный, побитый волной, песок; где голубой воздух и синяя вода, где серая, поросшая зелёным, скала; где много красивых тел — гибких,

коричневых, ловких — как легко здесь думается о бессмертии! Кажется, что ты попал в край, где никто никогда не умирает. Просто все родились в разном возрасте — старика, юноши, ребёнка. В нём же и останутся — если не во веки веков, то, по крайней мере, до следующего лета.

Я нежилась под солнцем, ласкала своё тело синей, равнодушно-солёной волной; и, когда на горизонте вырисовывались металлически-дымчатые силуэты кораблей, вздыхала. Корабли были похожи на мужчин — в них та же определённость, жёсткость, смелость линий, в них был мощный ход, дерзость и мужество, с которым они преодолевали море жизни. Но никто из мужчин — а рядом со мной уж который день насмерть билась компания пляжных волейболистов — и близко не походил на тебя. Отличие было в том, что они наслаждались жизнью, не думая. Все они были сильны, загорелы, ловко сложены — коричневые сильные звери, весёлые и спортивные. Но даже их вожак — белокурый, с прекрасно развитой мускулатурой — он руководил распасовкой, и, ставя блок, сильно, радуясь своему здоровью, вскрикивал; так вот, даже он рождал лишь эстетические впечатления, как будто был красивым муляжом из дорогого магазина. После волейбола они пили пиво, рвали сухую рыбу сильными пальцами, громко плескались и резвились в воде, и всё у них было о'кэй... Я повела рукой по своему зелёно-изумрудному купальнику, и вдруг совершенно ясно ощутила себя веткой, живой веткой с дерева; и уж, конечно, дерево это росло не в Крыму. В этот же день, после обеда, кое-как побросав вещи в сумку, я уехала с частником в Симферополь, намереваясь взять билеты на вечерний поезд.

До отправления было два часа, я вдруг почувствовала голод и купила громадный бутерброд — горбушку чёрного хлеба с отбивной. Предвкушая питательный ужин, я уже открыла рот, как вдруг на скамейке материализовался бомж, худой, всклокоченный мужик лет сорока в чёрном трико и грязных сандалиях на босу ногу.

— Девушка, красавица, — зачастил он, — так есть охота, ты мне оставь кусочек, я доем, — и впился в отбивную голодными, блестящими глазами.

У меня мгновенно пропал аппетит, я сунула бутерброд бомжу, стараясь не касаться его рук, он тут же, при мне, жадно его сожрал, оглянувшись, схватил с пола едва тлевший окурок, пару раз курнул; повеселевшими глазами подмигнул мне, и, внезапно, будто это был не человек, а чёрт, растворился в вокзальной утробе.

Горестно опустив голову, я побрела в город. Моя любовь, которую я пыталась привезти с собой в самые красивые места, окру-

жить её самыми радужными пейзажами и воспоминаниями, — нет, она не боялась жизни, но ей было больно; она словно не имела права быть счастливой, сталкиваясь с чужой бедой и неустройством. Я боялась старости, бедности, тюрьмы, одиночества и уныния. А вечер был тих и хорош — я покидала Крым навсегда.

В тихом сквере, у здания местного Белого Дома, я села с мороженым (всё-таки мне хотелось есть), села, пристроившись к компании чистеньких, по-морскому отмытых пенсионеров. Говорили они горячо и громко, как всегда говорят пожилые, долго молчавшие, напуганные боязнью за близких — детей, например, — люди.

— Алла Пугачёва выступила и сказала: Ленина надо вынести из Мавзолея. Какое её дело? Певичка. Сама ложилась под каждого. Резник ей песни сочинял за бесплатно, что ли? — пенсионер в кремовой рубашке, ещё симпатичный, в силе, делится новостями с дамой — на шее бусы, в ушах серёжки в тон, волосы — осветлены, завиты. А вот пара поплоше — он с палочкой, она морщинистая, чуть сгорбленная:

— А я вас вчера не видела на танцах. А позавчера — вы были...

Я присматриваюсь к собранию внимательнее: не так уж много здесь кавалеров, в основном пожилые, раздавленные грузом лет, женщины. Они-то, в основном, и создают возмущённый, наэлектризованный шум:

— Ельцин на два года меня моложе. Ему — 69, а мне 71.

— Помычит, и пауза до минуты. У них у всех такая тенденция. Все начинают говорить бойко, а потом идут паузы. Горбачёв тоже резво начинал...

— А Райка его облучённая, у неё рак.

— Ничего, найдут орган здоровый у ребёночка и пересадят.

А импозантный пенсионер в кремовой рубашке убеждает:

— Без насилия ничего сделать нельзя. Как в песне: «Никто не даст нам избавленья, ни Бог, ни царь и не герой. Добьёмся мы освобожденья своей мозолистой рукой». Сейчас вся молодежь с разрушенной психикой — сидят с утра до вечера торгуют на базаре собачьими ошейниками.

— А мне надо бы. Я собаку завела комнатную, — задумчиво говорит его дама. — Беленькая, на кошечку похожа.

— Теперь многим собака заменяет и детей, и жену. Некоторые живут с кобелями, — просвещает её кавалер.

— Да вы что! — ужасается дама.

И снова кричат женщины, перебиваю друг друга:

— У нас Кучма, мы его зовём Чума, а в России — Сибирская язва.

— Татары — страшные перекупщики, все рынки захватили. На

Украине они и не знают этих татар, живут на всём готовом, беды не чуют.

— Западэнцы приедут к нам и восхищаются: як гарно! Да сейчас Крым — помойка! В 50-60-е годы здесь всё цвело, дур этих многоэтажных не было, у нас же другой ландшафт, зачем нам такая застройка!

— А немцы — молодцы! Какой народ культурный! Какие у них передачи по радио! А эти, чуть что — «мой народ!» Русские что-то не говорят «мой народ».

— У Ельцина — комсостав. Он из комсостава.

— Западэнцы спят и видят себя в Польше.

— Кому они там нужны?! Только быдлом. С паспортами, где буква «Д». То есть — «Дрянь». Бендеровцы — это же страшные люди. Руки-ноги пилили, убивали, русских живьём закапывали. Там жуткий национализм. Это же вторая Чечня.

— А я гляжу на него и думаю: от чего ж ты, падла, так распух - от водки или от гормонов?

— Гитлер — маньяк, но этот — больший маньяк. Такого ещё не было за всю историю России. Жиды его вертят, как куклу.

— Хохлы поменяли Кравчука, белорусы Шушкевича, а Россия терпит эту развалину.

— Он никогда не умрёт.

— Это да.

— Концерт маньяка — как начал с моста падать, так до сих пор не остановится.

— Татары они дружные, один за другого...

— Пропал Крымчик! Бедный, бедный наш Крымчик! — сухая, костистая, с резким голосом старуха громко причитает, и в глазах её стоят слёзы.

...Тогда я не понимала, зачем я появилась в этом месте и в это время. Словно кто-то большой, всесильный, могучей рукой подвёл меня к этим людям и заставил выслушивать их воспалённые, похожие на болезненные стоны, речи. Да, обычные люди живут обычно, зарабатывают деньги и тратят их. Они делают вид, что им нет никакого дела до того, для чего они живут. Но у меня-то была любовь! А любви, помимо всего прочего, нужна была территория, страна обитания; и в тот момент я вдруг с ужасом почувствовала, что земля уходит из-под моих ног. В буквальном смысле. Что моей любви просто-напросто негде будет жить! Во всём этом диком чувстве был огромный сбой логики, но логика не имела никакого отношения к правде. Да-да, я знала, что нет общей беспристрастной правды, правда — во мне, и она, может быть, совсем не беспристрастна, а жутко пристрастна, но именно это чувство спра-

ведливой пристрастности и позволяло мне находить ложь в себе и в других. Я поняла, что наступает время, когда чужую жизнь становится почти так же жалко, как свою; это чувство называлось — любовь; и в общем, оно было ужасно.

Но вся эта крымская эпопея закончилась благополучно. В конце концов, я ушла от пенсионеров, меня не обворовали на вокзале, я не отстала от поезда, в пути продавали прохладительные напитки, а приехав, я позвонила тебе и сломя голову, с безумными глазами неслась через весь город, чтобы очутиться в твоих объятиях, по которым давно и крепко скучала. Да, любовь выручает тебя всегда, спасает и поднимает, и заставляет видеть то, на что в обычном состоянии ты бы и не обратил внимания.

Как-то, спеша на свидание, и находясь по этой причине в приподнято-возвышенном состоянии, я наткнулась на старушку, которая пыталась вести незамысловатый бизнес у Дома архитекторов. Она разложила на газете вещи для продажи. Старушка была ветхая, газета - жёлтая, на ней лежали: с десяток потрёпанных брошюрок, шурупы - новые и использованные в облупленной жестяной баночке из-под леденцов, два куска мыла советского ещё производства и набор открыток с видами Крыма. Именно эти открытки и задержали, зацепили меня. Я взглянула на старушку — это было опустившееся, не вполне сознававшее себя существо — простоволосое, в халате с оторванными пуговицами, с блуждающим взглядом полупустых глаз. Жалость пополам с ужасом взяла меня: тут же я увидела Её и Его, молодых, длинноногих, на фоне черноморского прибоя, в закатных, красно-золотых лучах; и было странно, что Его уже нет — несколько месяцев — иначе он бы ни за что не разрешил ей продавать шурупы — пригодятся в хозяйстве; а Она, Она доживает на грошовую пенсию, и что ей какие-то шурупы, теперь она готова продавать самое дорогое, что у неё осталось — воспоминания о том времени, когда никакого призрака старости не было и в помине.

А в это же самое время в Крыму волны бежали одна за другой, и те, кто стояли у моря, думали, что этим волнам не будет конца. Но и моря высыхают, превращаются в пустыни, и горы рушатся, сходят на нет леса, погибают империи. И всё же, глядя на полубезумную, жалкую старушку, я упорно верила, что любовь (моя, например), не уходит в никуда. Ведь не во времени дело. И не в пространстве. Дело в нас, таких обыкновенных, простых и смертных, соединивших собой пространство и время.



Ольга ЛУКЬЯНОВА

«СИЯЕТ БОЖИЯ СТРОКА...»

Ольга Ивановна Лукьянова родилась в городе Новошахтинске Ростовской области. Окончила филологический факультет Луганского педагогического института. Работала в отделе культуры и различных периодических изданиях Луганска – газете «Жизнь Луганска», ТВ «Эфир-1», «Новини культури Луганщіни» и др. Печаталась в журналах «Молодая гвардия», «Студенческий меридиан», в коллективных сборниках «Поиск» (Донецк), «День поэзии». Автор сборников стихотворений «Горлинка», «Свет мой вечный». Живёт в Воронеже.

Клёнов ноябрьских грубеет
кора.
Мне восемнадцать лет было
вчера.
И, как вчера, распевает
щегол,
что он девицу из дома увёл,

и лишь ему она будет верна...
Бросит Господь золотого
зерна —
будем клевать его в сонной
тиши,
будем певать, чтоб с небесных
вершин

бисер струился на платье
Руси...
Боже, Твоими судьбами
спаси!
Ах ты, щегол-серцеед,
душегуб,
слов заповедных не много ли
с губ

горько роняю? В дорогу пора.
Мне восемнадцать лет было
вчера...

* * *

А если б любовь и сбылась бы,
в тот Богом назначенный день?
Душа от печали спаслась бы?
Но не проявлялись нигде
следы сновидений забытых:
ни в шуме осин, ни в дождях...
И город уснул, как убитый,
устав от величья вождя.
И думать о том теперь
странно,
что жаворонок в три утра
от алого неба отпрянул,
моих не заметив утрат.
И ведать про то теперь
страшно:
ведь Бог ошибиться не мог!
И Ангел-хранитель, как
пращур,
глядел, неподкупен и строг
из тайных чертогов Эдема,
как я разминулся с тобой...
И мудро слагал он поэму
о нашей любви неземной!...

* * *

Тоска и грусть заполонили
сердце,
когда сказала прошлому:
прощай...
И месяц, словно серп
(и звался: «серпень»)
мне грустную дорогу обещал.
Чумацким шляхом плыли в
Украину
раздувшиеся тучи, как волы.
Мой мир радушный безоглядно
сгинул,
лишь память, словно
горсточка золы.
Я знаю, обо мне там плачут
птицы...

На Родине — «казанской
сиротой»!...
У Матушки «Казанской»
яснолицей
вымаливаю благостный
покой.
И всё едино — Небо и
землица,
и Бог един: Он наших зол
«сумний».
И чья-то хата, вросшая в
границу,
не знает, из какой она
страны...

РОДНАЯ РЕЧЬ

Ещё поёт церковный хор,
и колокол медовым звоном
втекает в дремлющий простор
и растекается по склонам.
Давно у Господа сочли
страданья, слёзы и увечья.
А мы по тайным тропам шли,
ведомые родимой речью...
Бурлит России океан
в снегах, дождях, акаций цвете.
И длится жизней караван
из повестей и междометий
под колокольные века
и неусыпное моленье...
Сияет Божия строка,
как небеса в Богоявленье!

* * *

Приголубь меня тёплым
крылом,
длинноногая аистиха!
Словно старая хата под слом,
жизнь моя распадается тихо.

Точит стены злословья жучок,
взгляды-молнии палят
крышу...
Аистихи крыло — что плечо!
День с добром приходил —
да весь вышел.

Ты обнимешь крылом,
как судьбой,
и закружишься над церквями:
выбирай себе купол любой,
если жизнь по годам лихо
грянет.

Ты оставишь меня на крыльце
храма белого со свечами.
И России глухой райский
центр
заласкает меня куличами...

* * *

В печали холодно. Во злобе —
неуютно.
И небо придавило глыбой
грудь...
А я в душе дитя своё баюкаю —
священный край. Мне хочется
вернуть

собор золотоглавый, что у
Дона
был всякому прохожему
приют.
И до Москвы летели стоном
звоны
о тех, кто за неё погиб в бою.

Земля — что пух спине, тепло
отдавшей,
а руки небо обняли устало.
Земля донская, сиречь — вся
из павших!
Закат над Доном беспросвет-
но-алый...

Москва, Москва, тебя
хранили чудно
твои твердыни — крепости
донские.
Не спи, не спи, Москва, так
беспробудно.
Столетний храп несётся
по России...

* * *

А за метелью, где-то за
метелью
заметен дом мой, хоть и
заметён.
Меняет Русь одёжку на
апрелью,
на смех весны меняет зимний
стон.
Ветра меняет те да всё на эти —
на храмовы весенние ветра.
И где-то я живу на Божьем
свете,
да в Божьем Свете, да за
Божий страх.
Мой мир — ларец. Сокрыт он
в Божьем дубе,
округ него метели бродят в
ряд...
Дуб стар, как Русь. Он в
вековечной шубе,
он всех красот дороже во
стократ
заморских — тёплых, в
золотой лазури...
Он мне и кров, он мне и щит
от зла.

Убережёт и в горе от безумья.
И у него детишек — несть числа!..
И я его родная желудинка.
Он выжить мне велит, и чтить свой дом,
что за метелями — как Божья сиротинка.
Зато в дубках со всех, со всех сторон!

* * *

А мы действительно устали
кричать «ура!» и жить в запале.
И вдруг открылось: не забыли,
что мы людьми когда-то были.
Над теремами звоны плыли...
И это точно было былью.
И дни тянулись — не мелькали,
и песни, и полотна ткались,
А Бог внимал мольбам о хлебе
и на седьмом, конечно, Небе...
А нынче люд на телебашне
глядит в пространство ошарашенно,
и дышат адом небоскрёбы,
и тают снежные сугробы.
Подходят к горлу Божьи воды...
Да не видать нам век свободы!
А лишь глоток махновской воли
и небо, чёрное от боли...

* * *

Мне снится Родина моя.
Погибшая, как Атлантида.
И охнул мир, видавший виды —
а мы живём, печаль тая,
и стёрлись грани бытия.
И безграничны лишь границы,
в которых можно заблудиться.
И фронтовик стал, как боян
вещать о гибельных боях...
Своё Отечество не сдали,
чтоб в европейском умном зале
встречали, злобу не тая.
Мне снится Родина моя,
в которую влюблён был Пушкин...
И, сдвинув солнце на макушку,
мой край мне был везде свояк.
Не фарисействуйте зазря:
мы утонули с Атлантидой!
Не звёзды в небе, но — обиды
огнём потерянным горят...



Диана КАН

«ВЕДОМЫЕ РОДИМОЙ РЕЧЬЮ...»

О книге стихов О. Лукьяновой «Свет мой вечный»

«Прогресс неумолим...» — говаривала героиня известного отечественного кинофильма. Сказанное следует уточнить в плане неумолимости прогресса к самобытности национальных языков. Благодаря пресловутому прогрессу мы живём в эпоху унификации языка. На уровне межгосударственном нам вместо языкового этнического полноцветия уже по факту навязано англо-американское «эсперанто». Но паче всех бед, что по мере нашего продвижения к общемировым ценностям стирается и становится более плоским в масштабах государства национальный полноцветно-самоцветный язык — русский язык, созидаемый многими поколениями великих и безвестных (но оттого не менее талантливых!) словотворцев. Язык, завещанный нам многими поколениями наших предков. Язык, выстраданный нашим народом в течение веков и даже тысячелетий... Не зря Пушкин, когда писал «...и назовёт меня всяк сущий в ней язык», под словом «язык» подразумевал «народ», считая эти слова — синонимами. Не зря сказано другим великим человеком, что нужно много-много истории, чтобы получилось немного языка и литературы. В тигле трагической и одновременно великой истории нашей страны выковался-выплавился язык, в котором по меткому замечанию Ломоносова есть крепость немецкого, дружественность французского, деловитость английского, сладкозвучие итальянского языка...

Но таков ныне ритм современной жизни, что языковое богатство становится обременительно. Некогда в суете сует подбирать точные эпитеты и «заморачиваться» на забытые и подспудные смыслы «родовитых» слов. И «родовитые слова» вытесняются из повседневного обихода безродно-беспородными и потому куда как более «лёгкими на подъём» иноземно-залётными словами-выскочками, не имеющими глубоких корней, похожими то на «айтишное» кукареканье, то на подростковое чириканье... Вот

почему сегодня так важна русская национальная литература — духовная и нравственно-эстетическая «млекопитательница» нации, защитница огромного языкового наследия и богатства, которое мы обрели в процессе истории страны. Применительно к Слову — Богатство следует писать с заглавной буквы, ибо это языковое Богатство в изначально-корневом смысле этого слова, ибо «...в начале было Слово, и Слово было Бог, и слово было у Бога...».

Однако много говоря сегодня о природных материальных богатствах, — нефти, газе, лесах, сланцах и прочее, мы при этом напрочь забываем, что главное наше Богатство — Богоданный язык наш. В языке заложен национальный код будущего и прошлого, заложена судьба России вообще и каждого из нас в частности. К сожалению, литературы-хранительницы языка сегодня в России часто не встретишь. Она существует «точечно», не поддерживаемая должно на государственном уровне, не приветствуемая коммерческими издателями. Существует порой, как некое недоразумение, как бы отдельно от государства и общества... Но при этом она — в каждом из нас, покуда мы — русские люди. Такой вот парадокс!.. Редкие встречи с такой ярко окрашенной языковым богатством литературой — радость. И такую радость я испытала при знакомстве со стихами поэтессы из Воронежа Ольги Лукьяновой. Как редактор её книги не могу сказать, что в творчестве Лукьяновой всё идеально с точки зрения «чистой филологии». Той «филологии», что напоминает хлорированную воду. В хлорированной воде, в отличие от живой родниковой, ни песчинки, ни листика не встретишь. Но не стерильно мёртвая, а родниковая вода, вода нашего рода, животворит! Это же можно отнести к книге Ольги Лукьяновой. Важно чётко понимать: неизбежные для каждой рукописи (ибо идеальных книг, как и идеальных людей не бывает по определению!), хотя и редкие, филологические особенности в стихах Лукьяновой — есть следствие именно «избыточности», а вовсе не «недостаточности» языка. Этот принципиальный момент надо чётко зафиксировать в сознании тех, кто будет читать эту книгу.

Сама же, читая стихи Лукьяновой, невольно вспомнила, что воронежская земля, на которой живёт поэтесса, является родиной замечательного нашего словохранителя А.Н. Афанасьева, чьими работами зачитывались Клюев, Есенин, Кузнецов... Именно Юрий Кузнецов в своё время открыл мне Афанасьева,

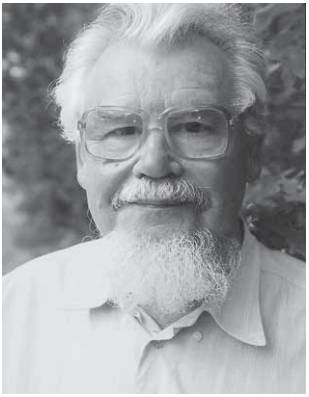
подарив трёхтомник «Поэтические воззрения славян на природу». Увы-увы, в плане Афанасьева я не была прилежной ученицей Юрия Поликарповича! Подумалось: «Зачем мне воронежский Афанасьев, если у меня есть «свой» оренбургский Даль?». Оренбургские уральские народные речения мне были куда как привычнее и роднее с детства. Так казалось тогда. С годами открыла простую истину, что разные речения России — неделимое единое целое. Как разные реченьки — единая российская гидросистема... Будучи воспитан в стихии природного-народного языка одного российского региона, ты уже подспудно «подключён» к стихии всей исконной русской речи. Чтение стихотворений Лукьяновой — наглядное тому подтверждение.

Поэтессе Ольге Лукьяновой повезло. Судя по её стихам, она выросла в обнимку со стихией народного языка, она — его детище, причём благодарно талантливое. Уж не знаю, читала ли она великие труды своего воронежского земляка А.Н. Афанасьева, но то, что она следует исповедуемой им русской языковой традиции, сомнений не оставляет. Многие стихи Лукьяновой поистине самоцветны. Иным не грех и позавидовать (а иначе, зачем читать других поэтов, если у них тебе нечему завидовать и нечему поучиться?!). Оно конечно, самоцветные стихи тем паче нуждаются в тщательной «ювелирной» литературной обработке. Про иные лукьяновские «самоцветы» можно сказать — хотелось бы улучшить, до-огранить. Но по зрелом размышлении понимаешь — настолько самобытен изначально-исходный природный словесный материал, что грех без самой что ни на есть насущной надобы трогать «филологическим резцом» это самоцветие! Эту красоту слова, прекрасную именно отсутствием филологических прикрас. Дыхание стихов Лукьяновой не просто русское, но — настолько русское, что даже франкофонные «анжабеманы», обильно рассыпанные по её стихам, не в силах «сбить» это дыхание!..

Эта книга имеет православную направленность. Стихов православных в современной поэзии достаточно и даже предостаточно (так в своё время хватало стихов о партии). Иную лирику, которую некоторые авторы позиционируют как «духовно-православную», впору назвать «приходской». Ибо вся суть её заключается в более или менее грамотном пересказе Библии. Эта книга — книга именно духовных православных стихов в самом высоком смысле этого понятия. Книга навеяна и пронизана Ве-

рой не сусально-бездумной, но — осознанной, творчески выстраданной и порой горчащей, с которой, собственно, и начинается наш путь к Богу. А начинается он, как известно, с осознания собственной греховности и изначального человеческого несовершенства перед лицом Творца. Созданные Им по Его же Образу и Подобию, мы никогда не будем Ему равны, хотя всегда будем к Нему стремиться!.. Неженская внутренняя суровость, которой отмечены многие стихи Ольги Лукьяновой, заставляет вспомнить о том, что Вера, Надежда и Любовь — не просто высокие Слова, пусть и Богоданные. Не просто женские имена, облечённые святой благодатью. Вера, Надежда, Любовь — великие таинства, освящённые Создателем и доступные душе и духу человеческому лишь по вдохновенному наитию.

Когда Ольга Лукьянова в одном из своих стихотворений называет наш мир недостроенным храмом, вспоминается присловье о том, что когда дом окончательно достроен, то в него входит смерть. Ведь дом, как и храм, как и весь наш мир, мы призваны строить постоянно, противостоя законам смерти и энтропии. Как и наш путь к Богу никогда не может быть завершён при нашей земной жизни. Всю свою земную жизнь мы, Его создания, идём к Нему, взлетая и падая, горюя и радуясь, ощущая в душе свет истины и заблуждаясь, истекая горючими слезами покаяния и материального несовершенства... Но «блаженны плачущие, ибо они утешатся»! Слёзы в книге Ольги Лукьяновой — это высокие, бытийные, хотя порой проистекающие из бытовых коллизий, слёзы любви и вдохновения!.. Бог-Творец «вдохновенно вдохнул» в созданного Им из праха земного человека Свою Божью искру. И неважно, кто мы, Его создания — поэты, творящие стихи, или читатели, внимающие им. Важно, чтобы вдохновение не покидало нас.



Владислав БАХРЕВСКИЙ

ПЕРОВСКИЕ

Роман

Владислав Анатольевич Бахревский родился в Воронеже в 1936 году. Окончил Орехово-Зуевский педагогический институт, работал литсотрудником в сакмарской районной газете «Путь к коммунизму», посещал занятия литобъединения при газете «Комсомольское племя» в Оренбурге. Известный прозаик, член Союза писателей России, соредактор журнала славянских народов «Брега Тавриды» (Крым), лауреат премии Госкомиздата РСФСР за лучшую книгу года, региональной литературной премии им. П. И. Рычкова, всероссийских Пушкинской «Капитанская дочка» и им. Александра Невского «России верные сыны», премии им. А. Грина, Международной литературной премии Владислава Крапивина, премии международного кинофорума «Золотой витязь» (2012). Живёт в Подмосковье.

Двадцатилетие*

Всю ночь великан стены ломал. Пробудившись, как всегда, задолго до свету, Василий Андреевич вышел на крыльцо и ахнул: флигелёк со стороны Мишенского занесло по трубу, высокий барский дом — по окна. Вместо деревни — бело, выдуло деревню за ночь, унесло за тридевять земель.

— А дымы-то стоят! — улыбнулся Василий Андреевич: где зимой дымы, там жизнь.

Потрогал рукою воздух: неосязаемо. Неосязаем наступающий день, а ведь 29 января — день рождения, а ныне так день двадцатилетия.

В тепло, к столу, и вот уже перо помчалось по бумаге.

---

* Начало - альманах «Гостиный Двор № 48

О, лира, друг мой неизменный,
Поверенный души моей!
В часы тоски уединенной,
Утешь меня игрой своей!

Стихи себе и друзьям, без тайн и хитрости иносказаний. В открытую жаловался, но кому — друзья далеко, а иные так и очень далеко, — стало быть, бумаге.

Для одиноких мир сей скучен,
А в нём один скитаюсь я! —

кричал в Геттинген Сашке Тургеневу, счастливому студенту, кричал Кайсаровым, должно быть, в Сербию, а может, и в Черногорию, в Париж — Митьке Блудову, в Петербург — Андрею, в Москву — Воейкову с Мерзляковым.

Не нужны мне венцы вселенной,
Мне дорог ваш, друзья, венок!
Но что чертог мне позлащенный?

В молодости чертогами, коих в помине нет, разбрасываются не задумываясь, а чертог, да уж такой раззолотой — ждал своего постояльца...Грустными вышли праздничные стихи.

Достал листок со стихами, посвящёнными Марии Николаевне Свечиной.

Протекших радостей уже не возвратить...

После Греевой элегии написалось всего два стихотворения. Впрочем, прозой начат «Вадим Новгородский», начат перевод Антона Феррана «Дух истории, или Письма отца к сыну о политике и морали». Митя Блудов прислал из Парижа все четыре тома. Андрей согласился взять на себя половину, но у него пока что текста нет. Братец Александр даже в просвещённом Гёттингене не может сыскать книги, к себе зовёт, расхваливает профессоров — Шлёцера, Бутервека. История, эстетика. Переслал через Андрея новую драму Шиллера — «Орлеанская дева». Могучее творенье. Тоже надо перевести.

Василий Андреевич поднимает глаза на портреты, присланные Александром. Портреты над столом: Шекспир и Шиллер. В лице Шекспира не-проницаемая тайна, ключ к сей тайне сокрыт куда как надёжно — во глубине веков. Шиллер — юноша. Его драмы —

крик отчаянья, крик в зев тьмы вселенной, а на лице одна мечтательность. Художника вина иль недомыслие современников?

Тут и солнце взошло. Полыхнули окна яхонтами.

— Вот я и родился! — сказал себе Жуковский.

На именинный пирог — творенье счастливой Елисаветы Дементьевны — собрались свои: Мария Григорьевна, Екатерина Афанасьевна, с Машей, с Сашей, Мария, Анна и Авдотья Юшковы, Андрей Григорьевич, Ольга Яковлевна да Голембевский. Ради праздника заядлый охотник облазил соседние леса и добыл дюжину тетеревов. Пиршество вышло самое что ни есть барское.

В своей здравице добрый пан Голембевский пожелал пииту влепить Музе отменную пулю — в яблочко. Екатерина Афанасьевна — творений и славы не меньше, чем у Державина.

— Что вы носитесь с вашей славой! — осерчала Мария Григорьевна. — Желаю тебе, Васенька, разумной жизни без нужды, детишек, радостей семейных.

Матушка Елисавета Дементьевна вовсе ничего не сказала, перекрестила сына и расплакалась.

Завершил здравицы Андрей Григорьевич.

— Ах, ласковый ты мой! Слава, разум, книжки, что сие без Божьего благословения? Прах! Один только прах! Будь жив, Василий Андреевич, Господним водительством да любовью благодатной. Будь у Христа — словом!

Покушали с удовольствием, помянули Афанасия Ивановича, песни спели, Василий Андреевич поиграл в шарады с дочками Екатерины Афа-насьевны, а с Машею так даже посекретничал. Девочка призналась: когда ей очень грустно, она плачет, но точно так же из глаз её катятся слёзы, когда ей очень даже хорошо. Маман сердится. Маман слёз не терпит.

— Я такой же, как ты! — признался Маше Василий Андреевич. — Чтобы не плакать, когда мне хорошо, и особенно — когда мне тягостно, я пишу стихи... А ты пиши свой журнал. Заведи тетрадку и записывай самые дорогие для тебя мгновения жизни. Записывая, ты сохранишь все эти драгоценные мгновения живыми. Они будут с тобою всегда, ибо запечатлены словом.

— Я буду писать в тетрадь, — сказала Маша.

Она была, как страусёнок, длинноногая, длинношеяя, большеглазая, Василию Андреевичу до слёз захотелось, чтобы вся её детская некрасота превратилась, когда это будет так нужно, — в прелесть совершенства.

Подошла Екатерина Афанасьевна.

— Нам пора, Мария... Мы завтра отправляемся в Москву. Повидаю твоего Карамзина, он пишет мне очень грустные письма. Не отвезти ли что-нибудь твоё для «Вестника Европы»?

— У меня нет готового! — испугался Василий Андреевич, и ему захотелось очутиться в Москве.

— Ах ты наш страдалец совершенства! — рассмеялась Екатерина Афанасьевна. — Не гордыня ли это? Ты хочешь быть ровней гению.

— Стихи, пусть даже самые незатейливые, требуют отделки. Такое уж свойство литературы. А другое свойство — Карамзину быть Карамзиным, Жуковскому — Жуковским.

— Васенька! Да ты сердишься!

— Нет, я просто говорю серьёзно о серьёзном. Мне не стыдно признаться — я преклоняюсь перед Николаем Михайловичем. Когда я бываю у него, то физически чувствую — обновление. Карамзин — гений нового.

— Ох, Васенька! — Екатерина Афанасьевна даже головой покачала. — Муза-то, я гляжу, сударынька опасная... Как ты говоришь о Николае Михайловиче? Гений нового? Какие же вы молодые, пииты. Твоему кумиру под сорок, а в письмах — юноша.

Минин сладкой русской речи

Для русских слово «новое» — синоним «весны». Молодая Россия приняла сочинения Карамзина с восторгом. Так радуются подснежникам в проталинах, когда земля задавлена сугробами, а реки закованы льдом.

Прозрачность, лёгкость языка, интимность стиля, европейское мышление, общечеловеческая значимость в устремлениях и чувства, чувства!

«Старое» Россия почитала сокровищем во времена допетровские.

Нынешние вертопрахи, нахватавшись парижских верхушек, свысока взирают на святоотеческое, на исконное. У нынешних во всём пустота. Не золото копят, но бумажные ассигнации, облигации, акции и векселя, будь они неладны!

Для Александра Семёновича Шишкова, академика с 1796 года, вице-адмирала с 1798-го, томики новых журналов и книг были подобием железных прутьев, коими Карамзин и карамзинчики отгораживали русских людей от корени, из которого пошла Святая Русь, от природного языка, от божественного величия церковнос-

лавянского.

Поставив перед собою на столе презренную книжицу «Вестника Европы», адмирал запер кабинет на ключ и, облачившись в мундир со звездою, с Анненскою лентою, увидел себя капитаном фрегата «Николай».

Сражение предстояло не менее грандиозное, нежели со шведами.

Перо выбрал из доброй дюжины, поменял чернила, затеплил лампаду перед иконой святителя Николая.

Чувствуя в сердце львиную силу, львиный гнев, не торопился разразиться рыком. Не гром убивает — молния. Разворошить улей — пустое дело, нужно до царицы-пчелы добраться.

Застёгивая пуговицы на мундире, Александр Семёнович смотрел на себя в зеркало. Для нынешней, ничтожной по духу своему публики истина не есть довод следовать истине. Для нынешних дороже — от кого слышат. Подавай модника наподобие французистого шута Базиля Пушкина.

Будет ли нынешняя Россия внимать Шишкову?

Автора «Морского словаря» знают на флоте. Переводчика «Слова о полку Игореве» — два десятка любителей древней словесности... Однако ж адмирал Шишков вхож во множество семейств как автор детских книг.

Кто не читал в России колыбельной:

На дворе овечка спит,
Хорошохонько лежит...

Или «Николашиной похвалы зимним утехам»?

Хоть весною
И тепленько.
А зимою
Холодненько,
Но и в стуже
Мне не хуже...

И это не говоря о «Нищенькой»:

Услышьте стон плачевный мой,
Мне только минуло шесть лет.
Ах, сжальтесь, сжальтесь надо мной:
Есть хочется, а хлеба нет!

Я ведаю, хотя мала,
Что в свете надобно терпеть;
Но мало так ещё жила!
Не дайте рано умереть.

Александр Семёнович быстро прошёл к столу. Начертал на белом листе название статьи стремительно и чётко, так пишут приказы во время сражений: «Рассуждения о старом и новом слоге Российского языка».

Покосился на томик «Вестника Европы». Адмиралу досадила статья, в коей Карамзин предлагал дело весьма благое и для воспитания юношества зело значительное: создать картины и монументы о важнейших событиях Российской истории. И даже предлагал сюжет картины.

Александр Семёнович не утерпел, открыл заложенное место: «Рюрик, опершись на лук свой, задумался, Синеус и Трувор советуются между собой. Некоторые из их товарищей занимаются ловлею, другие, узнав о прибытии славян, спешат к ним. Послы говорят друг с другом, удивляясь величественной красоте варяжских князей».

Заглянул в конец статьи. «В Нижнем Новгороде глаза мои ищут статуи Минина, который, положив одну руку на сердце, указывает другою на Московскую дорогу...»

Великое дело, проповедуемое Карамзиным, укрепит доверие и к его пустым полуфранцузским писаниям — вот в чём беда!

Ломоносова и Державина все эти базили пушкины, шаликовы вкупе с курятником Московского пансионата, готовы придать забвению и, пуще того — пыжатся осмеять.

Перо решительно помчалось по бумаге, будто ветер ударил в паруса.

«Всяк, кто любит Российскую словесность и, хотя несколько упражняется в оной, не будучи заражён не исцелимою и лишающею всякого рассудка страсти к французскому языку, тот, развернув большую часть нынешних наших книг, с сожалением увидит, какой странный и чуждый понятию и слуху нашему слог господствует в оных».

Подбежал к шкафу, взял прошлогодний номер карамзинского журналишки, прочитал: «Сверх того, в «Вестнике» будут и русские сочинения в стихах и прозе, но издатель желает, чтобы они могли без стыда для нашей литературы мешаться с произведениями иностранных авторов».

— Каково?!

Спазма сжала горло адмиралу. За русскую литературу стыдно

этому охотнику проливать потоками слёзы, воздыхать над каждым цветочком.

Как можно разлюбить, что нам казалось мило,
Кем мы дышали здесь, кем наше сердце жило?
Однажды чувства истощив,
Где новых взять для новой страсти?

Вот он весь Карамзин! Пустые словеса. Да возможно ли сие равнять с Державиным?

...Как сквозь жилки голубые
Льётся розовая кровь,
На ланитах огневые
Ямки врезала любовь?
Как их бровки соболины,
полный искр соколий взгляд...

Но вот ведь парадокс. Не кто другой — Державин приветствовал первые хилые сочинения нынешнего кумира:

Пой, Карамзин! — И в прозе
Глас слышен соловьин.

Так-то! А карамзинская орда? Разве способна ценить величие других? Ищут любого повода, дабы явить своё искусное злоречье.

Александр Семёнович опахнул себя попавшимся под руку веером. Взял перо.

«Древний Славянский язык, повелитель многих народов, есть корень и начало Российского языка, который сам собою всегда изобилен был и богат, но ещё более процвёл и обогатился красотами, заимствованны-ми от сродного ему Эллинского языка, на коем витийствовали гремящие Гомеры, Пиндары, Демосфены, а потом Златоусты, Дамаскины и многие другие христианские проповедники... — И припечатал всех отечествен-ных парижан, — Кто бы подумал, что мы, оставя сие многими веками утверждённое основание языка своего, начали вновь созидать оный на скудном основании французского языка?»

Званка

Плыть по лону вод исконно русской реки — наслаждение уму и сердцу. Александр Семёнович Шишков, хоть и досадовал на

медлительность хода, но в то же самое время благословлял неспешное сие путешествие. И даже находил отрадное преимущество речного судоходства перед морским. Море — очарованная пустыня, у реки — берега. Зелёными клубами дубовые рощи, чудо березняков, золото сосен. Всё родное, и река родная. У рек облик народа, живущего по её берегам. Вон какие дали-то! Богатырские. Окунись сердцем в сии дали, очами же в могучий поток — и ты сам частица сокровенной тайны Русской земли. Волхов. Волх, волхование.

Отправляясь в путешествие, Александр Семёнович изучал карту.

Исток Волхова в озере Ильмень, впадает в Ладогу. А каковы притоки! Оскуя, Пчевжа, Кересть, Тигода! Вот оно, волхование, но о чём? Чей загад? В какие времена сбудется прореченное?

Александр Семёнович сидел на корме. Запах чистой, должно быть, напоенной серебром воды пьянил непонятной, невесть о чём — грёзой. Тёплые волны воздуха, пахнущего медвяным сеном, накатывали с покосов одна за другой. В груди было молодо. И на тебе — обольщенье!

Отгородясь от берега густыми вётлами, Паранька ли, Манька, а статью да живым мрамором — Венера — отжимала золотой сноп волос, должно быть, не токмо пят, но песка касавшихся. Красавица обмерла, увидевши перед собой ладью. Дивное мгновенье явившейся очам девичьей тайны, и — пассаж! Укрыла наготу власами.

— О, где же ты, Сандро Боттичелли! — воскликнул Александр Семёнович и улыбался до самой Званки, думая о Державине: — Есть чего ради быть поселянином!

Званка открылась вдруг, поразив нежданностью. На ласково зелёном холме ослепляющий белизной храм с колоннами гордого бельведера. Столь же безупречная мраморная лестница прямо от воды. Посредине лестницы фонтан, извергающий алмазные струи. И всё это среди волшебного сада!

Царство Муз!

Едва Александр Семёнович ступил на лестницу, грянул пушечный залп, и пока он шел по лестнице вверх, пушки палили. Аховый грохот новых залпов сливался с эхом. И небеса дрожали! Слава Богу, не страшно, скорее, с бесшабашной радостью.

Пушки палили, но людей не было. Александр Семёнович, дивясь затейливости Гаврилы Романовича, вступил на площадку перед фонтаном, выложенную мозаикой: Аполлон со всеми его Музами. Грохот пушек смолк, заиграл пастушеский рожок, и к поэту-адмиралу вышли ботичеллевские грации — недаром на ум

пришли, — в прозрачном газе, держа над собою венок из полевых цветов и роз, а с грациями — Весна — несравненная Дарья Алексеевна, хозяйка Званки.

Грации увенчали адмирала венком, взяли за руки, повели на лужок, и он очутился посреди хоровода, поющего русское, вечно молодое, призывно игривое:

Куманёчек, побывай у меня.
Душа-радость, побывай у меня,
Побывай-бывай-бывай у меня.
Душа-радость, побывай у меня!

Хоровод плыл кругом, да всё быстрее, роговая музыка заливалась пуще, жарче! И — тишина. Хоровод растёкся, и перед Александром Семёновичем, раскрыв объятья, стоял Державин.

— Экий ты Пан! — восхитился Шишков.

— Здравствуй, драгоценный наш воитель во славу русского слова! Здравствуй!

Сенатор обнял адмирала, и они пошли в беломраморный храм, оказавшийся уютным домом, за столы дубовые.

Скатерть-самобранка в серебре и хрустале, кушанья все русские, настоечки свойские, разве что шампанское из Шампани.

— Какое мистическое, какое вдохновенное место избрали вы, Гаврила Романович, для жизни, а, стало быть, и служения русскому слову!

— За встречу! — поднял чашу Державин.

— За Волхов! — добавил растроганный встречей Шишков.

— Река полноводная, рыбная, что ни поворот — красота и восторг! — добродушно согласился Гавриил Романович.

— Мне чудится, Волхов назван Волховом в честь князя Всеслава Полоцкого.

— Оборотня?

— Да почему же оборотня? Грозного князя, воевавшего аж саму Индию. Оборачивался князь птицей и зверем ради военных хитростей: ясным соколом, серым волком, гнедым туром — золотые рога. Мне прислали из Москвы списки с дивных сказаний, возможно, Баяновых. Ключарёв — молодец, директор московской почты, собирается издать сей сборник. Я запомнил несколько строк о младенчестве Волха Всеславьевича:

«А и гой еси, сударыня матушка,
Молода Марфа Всеславьевна!
А не пеленай во пелену червчатую,

А не поясай в поесья шелковыя, —
Пеленай меня, матушка,
В крепки латы булатныя,
А на буйну голову клади злат шелом,
По праву руку — палицу,
А и тяжку палицу свинцовую,
А весом та палица в триста пуд».

Сие сказано новорождённым, когда ему исполнилось... полтора часа!

Дарья Алексеевна рассмеялась. Александр Семёнович, поднявши брови вопросительно, увидел на лице хозяйки радостное изумление — хохотнул, довольный, и повернулся всем корпусом к Гавриле Романовичу:

— Но ведь сколь сие выразительно! Сколь мощно! Куда нам до Баяновых времён! Особливо всем этим карамзиным, новоиспечённым жуковским. Их поэзия — перелицованное платье с немецкого, с английского, более всего — с французского плеча. Искатели вздохов и слёз дурочек-барышень. По мне всё их европейское умничанье сродни куплетам Сандунова:

Чернобровы, белокуры,
Не откажут ни одна:
Денег не клюют лишь куры,
А любовь до них жадна.

— Уж очень вы строги, Александр Семёнович! — Дарья Алексеевна засмеялась ещё веселее. — Я не поклонница Карамзина, и всё же, полагаю, он очень талантлив. Ума пусть насмешливого, но, слава Господу, не злого. Помните его «Илью Муромца»?

— Тут красавица приметила,
Что одежда полотняная
Не темница для красот её,
Что любезный рыцарь-юноша
Догадаться мог легохонько,
Где под нею что таилося...

Державин подхватил:

— Так седой туман, волнуяся
Над долиною зелёною,

Не совсем скрывает холмики,
Посреди её цветущие;
Глаз внимательного странника
Сквозь волнение туманное
Видит их вершинки круглые...

— Ну, так это же и есть Сандунов! Сандунов Николай Николаевич, перевитый шёлковой лентою из магазина мадам Обер-Шальме.

— Литература литературой, но, любезный Александр Семёнович, мы однако ждём от вас новостей! — перевела разговор на светское Дарья Алексеевна.

— Какие ж в Петербурге новости?! Ездят в оперу, кто в городе остался, а в опере — всё тот же Сандунов, хоть сочинители другие:

Замужни и вдовицы —
Все на один покрой:
И муж глаза закрой!

Сие сочинение господина профессора Мерзлякова. Ему в пику Бородулин романс произвёл, а может, и не в пику, но позавидовав, — пошлость сию поют даже в трактирах:

Все женщины — метрессы,
Престрашные тигрессы.
На них мы тигры сами
С предлинными усами.

Нет новостей, Дарья Алексеевна! Одни на водах за границей, другие на липецких водах. Доктор Альбини приставлен к сим отечественным струям главным врачом, а ведь он лейб-медик государя. Вот все и ринулись в Липецк: Нарышкины, Щербатовы, Голицыны. Директором вод назначен Иван Новосильцев, брат статс-секретаря Николая Новосильцева.

— Александр Семёнович! Неужто ничего весёлого не происходит на белом свете?! — взмолилась Дарья Алексеевна.

— Весёлого? Как же, как же! Тут одно дельце недавно замяли. Сынок симбирского помещика, офицер, разумеется, наделал долгов и продал имение отца, вместе с... отцом! Записал его как бургомистра!

— Господи! — восхитилась Дарья Алексеевна. — Сие смешно до слёз.

Державин поднял перст к потолку:

— Но может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать!

Сколь велик поэт у Бога

После обеда русские люди предают себя Морфею. Поспав часок, переварив телятинку на сливках, индейку, кормленную грецкими орехами, щучью уху, запечённые в тесте стерляди, приятели отправились на пленэр. Гавриле Романовичу было что показать, чем погордиться. В имении работали паровая мельница, лесопилка, движимая силою воды, суконная и ткацкая фабрики с красильней.

Посмотрели больницу для крестьян. Прошлись по винограднику, по оранжереям. Всё отменно в высшей степени.

За кофе Гаврила Романович и Дарья Алексеевна просили гостя прочитать его перевод «Слова о полку Игореве».

— Да разве я всё помню! — взмолился Александр Семёнович. — Чай, четыре года тому назад издано.

Но у Державиных перевод Шишкова был. Адмирал разволновался, читал стоя:

— «Приятно нам, братцы, начать древним слогом прискорбную повесть о походе Игоря, сына Святославова! Начать же сию песнь по бытиям того времени, а не по вымыслам Бояновым. Ибо, когда мудрый Боян хотел прославлять кого, то носился мыслию по деревьям, серым волком по земле, сизым орлом под облаками. Приятно нам по древним преданиям, что поведав о каком-либо сражении, применяли оное к десяти соколам, на стадо лебедей пущенным: чей сокол скорее долетал, тому прежде и песнь начиналася, либо старому Ярославу, либо храброму Мстиславу, поразившему Редедю пред полками косожскими или красному Роману Святославичу. А Боян, братцы! Не десять соколов на стадо лебедей пускал: но как скоро прикасался искусными своими перстами к живым струнам, то сии уже сами славу князей гласили».

— Не довольно ли? — спросил адмирал.

Гаврила Романович протестующе пошевелил бровями:

— Лишний раз послушать «Слово» — побыть в семействе всего нашего русского дома, у которого нет ни завтра, ни вчера, а как у Господа Бога — мир в оба конца, единый и вечный.

— А есть ли какие недовольства прочитанным? — спросил автор.

— Твой перевод подкупает величием и простотою, пожалуй что,

и простодушием. Верно я говорю, Дарья Алексеевна?

— Мне такое слово по сердцу! — улыбнулась хозяйка Званки, её большие прекрасные глаза с дивною поволокой всегда волновали поэтов. Чудилось, сей загадочный перламутр рождён созвучиями и чувством стихов. — Ежели вы ждёте замечания, ради высшего совершенства, то не жалко ли вам, Александр Семёнович, некоторых переменённых в переводе слов? В древней рукописи персты вещие, а у вас всего лишь искусные. Там «рокотаху» — рокотали, а у вас — гласили.

— Бес попутал! — признался автор. — Перевод для честного сочинителя пусть блаженное, но всё-таки рабство. Вот и насочинял.

Сделавши перерыв, выпили ещё по чашечке кофе, и Александр Семёнович, перекрестясь на икону Спаса, продолжил чтение.

У него несколько раз перехватывало дыхание, когда пошли картины русских бед:

— «На реке Каяле свет в тьму превратился; рассыпались половцы по Русской земле, как леопарды из логовища вышедши, погрузили в бездну силу русскую и придали хану их великое буйство. Уже хула превзошла хвалу; уже насилие восстало на вольность, уже филин спустился на землю. Раздаются песни готфских красных девиц по берегам моря синяго. Звеня русским золотом, воспевают они времена Бусовы, славят мщенье Шураканово...»

Плач Ярославны был читан ласково и горестно:

— «Ярославна поутру плачет в Путивле на городской стене, приговаривая: «О ветер! Ветрило! К чему навеваешь лёгкими своими крылами хановские стрелы на милых мне воинов? Или мало тебе гор под облаками? Развевай ты тамо, лелея корабли на синем море. Но за что развеял ты, как траву ковыль, моё веселие?»

Дарья Алексеевна, с мокрым от слёз лицом, выпорхнула из кресел, поцеловала руку поэту.

Гаврила Романович промокал слёзы рукавом халата:

— Пронял!

Шишков, весь дрожа от пережитого, хватил рюмку ликёру и, придвинувшись к Державину, заговорил о давно продуманном, о заветном:

— Нам, Гаврила, нельзя уступить русского! Сего русского, — стукнул ладонью по «Слову» — французистому бесовству... Карамзин со всей оргией шаликовых да пушкиных, переменяют строй речи. А строй речи и есть — душа. Господи! Языка родного не знают. Мужиковата, видишь ли, русская сладко-звонкая речь, им бы токмо картавить. Картавым кривляться проще. Обезьянье время, Гаврила Романович!

— На армию нужна армия! — согласился Державин.

— Золотое слово! Будто великого князя Святослава слышу! Единение и напор! И надо по-суворовски — в штыки!

— Ах, у вас пошли мужские разговоры! — сказала Дарья Алексеевна. — Позвольте мне удалиться. Нужно дать некоторые распоряжения.

Хозяйка ушла, а они думали, кого можно рекрутировать на бой с русскими французами. Иван Андреевич Крылов, князь Сергей Александрович Шихматов-Ширинский, Хвостовы, граф Дмитрий Иванович и Алексей Семёнович, Фёдор Петрович Львов, флигель-адъютант Пётр Андреевич Кикин, Карабанов Пётр Матвеевич, сенатор Иван Семёнович Захаров, не пишущий, но любящий служителей муз, щедрый меценат. Князь Дмитрий Петрович Горчаков, полковник Александр Александрович Писарев, Александр Фёдорович Лабзин, Василий Фёдорович Тимковский, Пётр Александрович Корсаков, сочинитель букваря — Николай Иванович Язвицкий, Галинковский Яков Андреевич, Шулепников, как его, Господи...

— Это же сила! — решил Шишков и, прижавши руки к груди, смиренно попросил: — Гаврила Романович, почитайте новое... Что нынче волнует российского Овидия?

— Волнует. Волнует, Александр Семёнович... Возьму листы, совсем недавно сочинено.

За окном было сине, зажгли свечи. Державин прочитал:

Необычайным я пареньем
От тлена мира отделюсь,
С душой бессмертною и пеньем,
Как лебедь, в воздух поднимусь.

В двояком образе нетленный,
Не задержусь в вратах мытарств;
Над завистью превознесенный,
Оставлю под собой блеск царств.

Да, так! Хоть родом я не славен,
Но, будучи любимцем муз,
Другим вельможам я не равен
И самой смертью предпочтусь.

Это была песнь поэзии и самому себе. И что-то в ней было лебединое.

С Курильских островов до Буга,
От Белых и Каспийских вод,
Народы, света с полукруга,
Составившие россов род,
Со временем о мне узнают:
Славяне, гунны, скифы, чудь...

Вдруг грохнули пушки, языки огня на свечах припали, но в саду, должно быть, папоротник зацвёл.

Оба поднялись. Гаврила Романович дочитал стихотворение, и, омочивши друг друга слезами восторга, они вышли на крыльцо — любоваться сказкой фейерверка.

Розовое утро

Гаврила Романович поднялся на заре, а гость уже в саду.

— Нигде и никогда не видел столько розового! — Александр Семёнович повёл руками. Розовое небо, розовый Волхов, розовые плёсы противоположного берега, сад, розовый от роз и шиповника. — Ежели в Званке ловят розовых щук и голавлей — не удивлюсь.

— А не погулять ли нам по Волхову?! — предложил Державин.

— Зачем моряка спрашивать о море?

— Тогда я за Тайкой.

Тайка улыбалась хозяину и гостю, уж так была рада путешествию, что у пиитов настроения прибыло вдвое.

Флот Званки насчитывал, кроме дюжины лодок, два корабля. Один, с домиком посредине, носил имя «Гаврила», другой был «Тайкой». Самый настоящий бот, устойчивый на волне, быстроходный.

Выбрали «Тайку».

Гребцов было четверо, но спешить не хотелось.

— К заводи! — распорядился Гаврила Романович. — Покажу тебе царство чёрных стрекоз и кувшинок.

— Кувшинок, — повторил Александр Семёнович. — Я голову ломаю над корнями слов. Откуда что пошло. Какое оно, первое слово, сказанное Адамом Еве?

— Бог!

— Ишь как просто. А я вот вслушиваюсь в слово «кувшинка», и во мне так и звенит буква «ка». Кувшинка — от кувшина. Но кувшин — он ведь для воды. Ре-ка. О-ка. Прото-ка. А рыбы? Шу-

ка, о-кунь. Или, скажем, пере-кат, пото-к, ручеё-к. Всюду «ка».

— Заниматься такими вещами — голова пойдёт кругом! — посочувствовал другу Державин.

— Я последнее время предлоги исследовал. Сила предлогов зело велика. Всякий предлог, приставленный к глаголу, показывающему единократное и неокончательное действие, переменяет оное в окончательное и совершившееся. Возьмём первое, что приходит на язык: жить, пить, просить, золотить... Приставляем предлог и получаем картину завершённого круга бытия: прожить, выпить, пропить, вызолотить, выпросить.

— М-да! — согласился Гаврила Романович. — Слово — материя высшего порядка. А вот и старица.

Ботик заскользил по лону спящей воды, не тронутой ни единым дуновением.

— Где же кувшинки? — озирался Александр Семёнович.

— Подождём.

Гребцы подняли вёсла, и такая тишина объяла судёнышко, будто природа дыхание затаила.

— Вот видишь, — сказал Гаврила Романович, разведя руки. — Моя заводь, моя землица, моя Званка. — А всё ведь — Музы! Я — из нищих казанских дворян. Девятнадцати лет от роду вступил рядовым в Преображенский лейб-гвардии полк. Прапорщика получил через десять лет! Казалось, чего ждать от жизни? Но Музы, Музы! В тридцать семь возвели меня в статские советники. В сорок — «Ода к Фелице». И вот уж губернатор. В пятьдесят — тайный советник, близкий человек великой императрице. При Павле Петровиче, ради моего несребролюбия, — казначей. А там и бескорыстная честность была оценена. Государь Александр поручил мне, нелепому служителю истины, министерство юстиции... Увы! Правда и государям обуза. Да ведь и слава Богу! Ныне я — хозяин Званки, и то мне в радость. Шестьдесят лет с годом. А мог ли мечтать вечный солдат о сим великолепии? Такое даже в сладких снах не снилось.

— Я тоже смолоду не скакал с чина на чин. В Морской кадетский корпус хлопотами благодетелей попал. В семнадцатое лето — гардемарин. Служить отправили в Архангельск. Юному человеку побывать в краю, родившем Ломоносова, счастливый жребий. Вот только капитан корабля оказался пьяницей. Сие пьянство аукнулось на мне весьма жестоко. Съехал я на берег с мичманом. Вернулся, а капитан — чуть не с кулаками: «Самовольничать? Ну, тогда не прогневайся. На каждое плечо — по свинцовой гире в пуд с четвертью, и будешь всю ночь на палубе звёзды считать».

Заматерился громово и ушёл проспаться. У нас, гардемаринов, был свой начальник, я к нему. Он и сам знает, что у меня было разрешение, но отменить приказ капитана — нажить беду уже на собственную голову. Сочувствует, и только: «Ничего поделать нельзя, будить капитана — без толку, невменяем». Повели меня к месту казни, тут я и взмолился: «Отсрочьте экзекуцию до утра!» Смилостивились. Отложили мою гибель до восхода солнца. Я хоть и моряк, а здоровья слабого. Утром капитан протрезвел, разобрался в деле и — казнь отменил.

Залаяла на пролетевших уток Тайка. Пустили собаку на берег. Гребцы закинули удочки.

— Много рассказов о трудностях морской службы, верно ли это? — спросил Державин.

— Море — стихия неспокойная, у каждого корабля свой норов, что ни командир — характер, а то и сама дурь. Я в моё первое большое плаванье много бед перенёс. Зимовали мы в Двине, а как река открылась, пошли по Белому морю к брегам Лапландии. Плаванье было моим счастьем.

На море я смотрел глазами Ломоносова, а корабельная служба шла с Петром Великим в сердце... Всё лето бороздили северные моря, а в октябре бросили якорь в порту Копенгагена. Оттуда пошли к острову Борнгольму. Капитан доверил вести корабль штурману: а тот, устрашась бури, повёл судно вдоль шведского берега. И вот она — мель! Сели крепко. Волны огромные, того гляди перевернут корабль. Надели мы белые рубахи, срубили мачты, чтоб облегчить корабль. Принялись палить из пушек, призывая помощь. Но шведам русские хуже злобных медведей-шатунов... Гардемарины кинулись к капитану просить лодок. А капитан спьяну или по природной тверди своей — решил утонуть вместе с кораблём и со всем экипажем. Мы — восстали. Выбрали другого капитана. Слава Богу, умного человека. Привёл нас к прежнему начальству. Произошло примирение, и капитан позволил послать одну шлюпку на берег. Мой приятель, лифляндец, был назначен за старшего, меня позвал с собой. Я согласился, но вдруг почувствовал такую смертную тоску, что бросился к другу и умолил не называть моего имени среди отбывающих... Сей нечаянный ужас спас мне жизнь. Шлюпку возле берега перевернуло шквалом, мой друг погиб. А плыть среди волн, кипящих не хуже казацкого кулеша, мне пришлось в тот же день, а вернее — в ночь. Наш соотечественник, узнавши о том, что русский военный корабль терпит бедствие, прислал лодку — спросить, что нам нужно. Прибывший говорил по-немецки, а на корабле немецкий язык,

после гибели моего друга, знал один я. Меня и посадили в лодку. Восемь вёрст хаоса, ледяных брызг, и в три утра я был на берегу... Много пришлось хлопотать перед бургомистром и всяческими властями. Сначала перевезли с корабля больных, но оставили на берегу под открытым небом, а погода — упаси Господи! — дождь, пронизывающий ветер... В конце концов — всё обошлось.

Нас устроили в городке Истеде. Жители были очарованы русскими, а я так потерял голову, влюбившись в Христину Белингьери. Но — приказ, перевод и разлука сделали нас несчастнейшими людьми. Признаюсь, до сих пор сердце щемит, когда вспоминаю те давние дни.

Тут Шишков поднялся со скамьи, с восторгом поводя руками:

— Кувшинки! Как золотом посыпано. Откуда же они взялись?

— Всплыли! — улыбался Державин. — Солнце взошло.

Нежданная известность

Весною человек счастлив от весны, а тут всё было чудо. Жуковский ехал не столько в Москву, сколько в Свиблово, на дачу Николая Михайловича Карамзина.

Сам даже на краткий визит храбрости не набрался бы, но сей вояж — по приглашению! Приглашение «быть непременно» привезла ещё в феврале Екатерина Афанасьевна. Карамзин к тому же прислал книгу князя Шаликова «Путешествие в Малороссию» с нижайшею просьбою написать отзыв для мартовского номера «Вестника Европы».

Просьба Карамзина — Боже мой! Сочинение князя прочитано залпом. На другой день перечитано. На третий — толстое письмо почтари помчали из Белёва в Москву.

И вот Жуковский стоял перед Николаем Михайловичем. Стоял растерявшись, и, не от своей глупейшей стеснительности, вдруг открыл: Карамзин на голову ниже!

В прежние встречи Василий Андреевич этого не заметил, не запомнил... Может, вымахал за год Мишенского сидения?

И ещё одно изумило: великий писатель был рад ему. С дороги — за стол, накормил, повёл в парк. Показывал усадьбу Нарышкиных, церковь, построенную в Петровскую эпоху.

— А на колокольне-то у нас — пленный швед! Голос — медь с серебром! — погордился Николай Михайлович. — История. Я теперь весь в прошлом. Мой Вергилий по дебрям Российским — преподобный Нестор.

— А литература?! — испуганно вырвалось у Жуковского.

— Литература — суета... При Павле Петровиче — суета опасная, нынче голову за изящную словесность не рубят, а жилы из сочинителей тянут не хуже, чем в застенке. Ваш кумир Антон Антонович Прокопович-Антонский — он ведь ко всем своим службам ещё и цензор — изъял было из «Вестника Европы» мою «Марфу Посадницу». Я потребовал объяснений. Если повесть запретите — уеду из России. Всполошились, скандал-то ведь до государя дойдёт, указали карандашиком на слово «вольность». Я тем же карандашиком «вольность» зачеркнул, а поверх начертал «свобода». Делу, к обоюдной радости, — конец, но каково автору! Я — Карамзин, а если повесть принадлежала бы господину Н, только начинающему писательский путь?

Николай Михайлович говорил, как с равным, но ведь господин Н, это он — Жуковский.

— Разве история не опаснее литературы? — сказал, что думалось. — Степан Разин, Пугачёв... Великий Пётр, казнивший Алексея, наследника? Грозный, своею рукой убивший сына, тоже наследника.

— Пётр III, Иоанн VI, — Карамзин быстро глянул на Василия Андреевича, — Павел... Я пока что во глубине веков. Темно, да безопасно. О Баяне нынче думал. Дивный образ пиита древнейших времён. Певец полусказового царя Трояна. Увы, есть только имя! Произносишь сие дивное — Баян, и кажется — воздух всколыхивается от сказаний, но, увы! — ни единого слова не разобрать.

Вечером, покуривая, говорили о журнальных делах.

— Вы написали о князе Шаликове превосходно. Князь объявил себя моим последователем. Это ему ужасно вредит, а он упорствует. Но ведь романсы в народном духе у него не худы.

Нынче был я на почтовом на дворе —
Льстил себе найти от миленькой письмо.

— Я, не укоряя, сказал о книге князя правду.

Карамзин снял с полки мартовский номер «Вестника Европы». Открыл заложенную лентой страницу, прочитал:

— «...Не езда в Малороссию для одних летних вечеров; они и здесь в Москве прекрасны. Выйдешь на пространное Девичье поле; там, где возвышаются гордые стены Девичьего монастыря, сядешь на высоком берегу светлого пруда, в котором, как в чистом зеркале, изображаются и зубчатые монастырские стены с их башнями, и златые главы церквей, озарённые заходящим солнцем, и ясное небо, на котором носятся блестящие облака...» Светло, поэтично, всё по-русски... Настоящая проза. Утёрли Шаликову нос!

— Но ведь это отблеск ваших «Писем русского путешественника». Подражание.

— О нет! Сие — поток новой литературы, торжество русского языка скинувшего вериги златошубого — старославянского... Прошу вас, не торопитесь. Поработаем. Я — своё, вы — своё. Вечером можно почитать сочинённое за день. Когда читаешь вслух то, что накропал в затворничестве, все промахи — вот они! — и вдруг наклонился, вложил в руки Жуковского свой журнал. — На мне теперь такая гора... Я хочу передать «Вестник Европы» человеку, умеющему любить всё талантливое, что есть в России. Такого человека я знаю... Уж очень молод, да ведь и, слава Богу, силы не растрачены, стремления не расшиблены о суету.

И тотчас перевёл разговор на иное. Спросил, какое впечатление произвела книга адмирала-академика Шишкова «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка». Оказалось, Василий Андреевич в белёвской глуши даже не слышал о таком сочинении.

— Я тоже хочу в Белёв! — воскликнул Николай Михайлович. — Нет в Москве человека, который не пытал бы меня о сим суровом трактате. И сам я, как видите, не устоял, спросил.

Карамзин положил солидный томик перед гостем, указал отчёркнутый абзац.

— «Кто бы подумал, — прочитал Жуковский, — что мы, оставя сие многими веками утверждённое основание языка своего (т.е. церковно-славянский язык), начали вновь созидать оный на скудном основании французского языка».

— Догадываетесь, в кого сей камень из пращи?

— Нет. Увлечение французским в России повальное, и не токмо в России. Взять ту же Польшу.

— Вот здесь ещё! — И Карамзин сам прочитал вслух: «Между тем, как мы занимаемся сим юродивым переводом и выдумкою слов и речей, ни мало нам несвойственных, многия коренныя и весьма знаменательные российские слова иные пришли совсем в забвение; другия, не взирая на богатство смысла своего, сделались для непривыкших к ним ушей странны и дики; третьи переменили совсем знаменование и употребляются не в тех смыслах, в каких с начала употреблялись... Итак, с одной стороны, в язык наш вводятся нелепые новости, а с другой — истребляются и забываются издревле принятые и многими веками утверждённые понятия...» Всё это в первую очередь адресовано мне, а также и вам, Василий Ан-дреевич. Уж очень возлюбили вы лёгкость и прозрачность в языке... Речь, а тем более поэтическая, должна напоминать ворочанье каменных глыб в допотопных карьерах... Вот видите,

чужое слово сорвалось с языка — карьер! В каменоломнях, господин Шишков. В каменоломнях!

«Рассуждения» огорчили.

— Привыкайте, друг мой! — утешил Николай Михайлович. — За одни и те же стихи поэта могут увенчать лаврами и забросать каменьями... Я понимаю адмирала, но мне сдаётся, не наберёт он большой толпы побить в литературе литературу.

Пишущая и читающая Москва встрепенулась, гудела, как улей. Приезжали Пушкин, Шаликов, сыпались приглашения от почитателей.

Над Шишковым смеялись, всяк сочиняющий накропал эпиграмму на адмирала, возомнившего себя пророком-языковедом.

Две недели отдал Свиблову Василий Андреевич. Немного переводил «Дон Кишота», наезжал в Москву к издателям. Выслушивал тирады похвал.

— Гримасы славы! — смеялся Карамзин. — В литературе прекрасное нужно растоптать, чтоб все наконец-то признали: это хорошо!

Всё это странно.

— А что вы хотели?! Нелепое «Рассуждение», и наша слава ему под стать.

— Я никогда не жаждал славы! Даже самой благородной.

— Но хотели, чтоб вас читали?

— Хотел.

Карамзин улыбнулся.

— Привыкайте к известности. Известность многое даёт, но забирает большее: тебя у тебя.

Утрата

Труженики по рабочим будням скучают, как по родным.

Жуковский примчался в Мишенское, будто Васькова гора могла, обидевшись, уйти за тридевять земель.

Пылая жаждою трудов, чаял замахнуться на великое, но в первый же утренний поход на Васькову гору ощутил странную зыбкость, не жизни своей, не положения своего, но зыбкость мира. Будто всё это — Мишенское, Ока и Выра, всё это могло... перемениться.

Когда ему подали письмо от Ивана Петровича Тургенева, вдруг ощутил на себе мундиришко городового секретаря Главной Соляной конторы. Вскрывал конверт в ознобе...

Избегая первых строк, глянул в середину листа: «Лечил лучший

медик государев». Значит, Андрей! Но ведь государев лекарь-то! Глаза беспощадно прочли: «А мой цвет увял в лучшую пору».

Сердце надорвало христианское покорнейшее «Верую». Иван Петрович глаз не выплакивал, но его масонское упование на всемогущество разума перед бедою — пыль словес. «Он жив, жив любезный Андрей! Как ему быть мертву, когда ничто не умирает, а только изменяется. Природа то доказывает, разум утверждает... Что есть смерть? Переход от времени в вечность... Так, мой друг, всё живёт, ничто не умирает, а только изменяется и другой вид и образ приемлет... Как умереть Андрею? Как погаснуть его искре? Чем долее, тем пламя его будет чище».

Мир с места не сдвинулся, а Андрея нет! Василий Андреевич с ужасом смотрел на стопу листов — перевод «Дон Кишота», на толстенную тетрадь, сшитую из синих листов: «Историческая часть изящных искусств. Археология, литература и изящные художества у греков и римлян», на внушительный альбом с застёжками (для записей прозрений и планов). О, планы, планы! Сколько их! Исполни — и вот оно, бессмертье. Но мысль — всего лишь зерно. Нужна жизнь, чтобы росток вытянулся, а колос созрел.

Подвинул к себе третью тетрадь, для записи изречений. Сегодня утром занёс в неё мысль Джона из Солсбери: «Плоды словесной науки милы нам во многих отношениях, и больше всего в том, что, отменяя всю докучливость пространственных и временных расстояний, они дают нам исключительную возможность насладиться присутствием друзей и не допускают, чтоб вещи, достойные познания, убила забывчивость».

Останется ли в памяти России Андрей Тургенев? Столько обещал и всё унёс с собою... Господи, нужны ли гении Небесам? Гении — для жизни.

- Не отступлю! — Василий Андреевич упал на колени перед иконою Вседержителя. — Господи! Моя жизнь в Твоей Воле, но я не отступлю. Благослови мечтания наши с рабом Твоим Андреем, мы готовили себя для великой службы Слову, Свету.

Плакал, смахивая слёзы ладонью, но не кинулся в постель заспать врачующим сном скулящую боль. Сел за стол, достал стопу тетрадей, принялся надписывать. «Роспись во всяком роде лучших книг и сочинений, из которых большей части должно сделать экстракты», «Для журнала чтений или экстрактов», «Для выписывания разных пассажей из читаемых авторов», «Для собственных замечаний во время чте-ния, для записки всего, что встречается достойного примечания, для разных мыслей», «Для отдельных моральных изречений».

Оставил перо, умылся и снова — к столу. Сшил ещё две тетради. Надписал: «Примеры (образцы) слога, выбранные из лучших французских прозаических писателей и переведённые на русский язык Василием Жуковским», «Избранные сочинения Жан-Жака Руссо, перевод с французского, том первый».

Чувствовал, как дрожит сердце: отныне надлежит творить в одиночестве, но за двоих. В тетради, куда заносил пришедшие на ум сюжеты и образы, записал, что нужно сочинить в ближайшие годы: 1. «Марьина роща» — что-нибудь из «американской жизни» в подражание «Атала» и «Рене» Шатобриана. 2. Биографии великих людей (Жан-Жак Руссо, Лафонтен, Стерн, Фенеолон). 3. Статьи: «О садоводстве», «О счастье земледельца», «О вкусе и гении».

Перевернул страницу и написал, что нужно перевести из мировой литературы: «Оберон» Виланда, «Освобождённый Иерусалим» Тассо, творения Гомера, Вергилия, Лукиана, Овидия, «Дон Карлос» Шиллера — не исполненное с Андреем дело, произведения Вольтера, Буало, оды Горация и Анакреонта».

Сверху втиснул: «Эпическая поэзия»: отрывки из «Мессиады» и Мильтона...»

Не зная, куда деть себя, выбежал из флигелька и кинулся в луга, минуя тропинки. Остановила буйная Выра. Смотрел на кипение воды на перекате, пошёл к вётлам, сел на корневище. Стихи пошли сами собой, их словно бы листва нашёптывала.

О, друг мой! Неужель твой гроб передо мною?
Того ль несчастный я от рока ожидал?
Забывшись, я тебя бессмертным почитал.
Святая благодать Предвечного с тобою!..

Вернувшись домой, записал все три строфы, закончив последнюю строку бесшабашно начертанным восклицательным знаком:

С каким веселием я буду умирать!

В нём кипело, как в Выре.

В тетрадь для замыслов вписал сюжет ещё одной повести: «Приступ: утро; пришествие весны; Весна всё оживляет, разрушение и жизнь — Андрей Тургенев... Краткость его жизни, гроб его. Надежда пережить себя. Опять обращение к весне: главные черты весенней природы (из Клейста); жизнь поселянина (из Клейста); цена неизвестной и покойной жизни, уединение, обращение к себе, к Карамзину, лес, черёмуха, ручей; гнёзда, конь... озеро,

рыбак, первый дождь».

И глазами — иконе:

— Господи, пошли долголетие, ибо задуманное — как молния, на исполнение задуманного — жизнь положить.

Дом

«Вестник Европы» напечатал повесть Василия Жуковского «Вадим Новгородский». Повесть предваряла поэма-плач: «О ты, незабвенный! Ты, увядший в цвете лет, как увядает лилия, прелестная, блаженная! — кричало сердце по Андрею Тургеневу. — Где следы твои в сем мире? Жизнь твоя улетела, как туман утренний, озлащённый сиянием солнца...».

Карамзин тоже не остался безучастен. Слово его было краткое, простое: «Сия трогательная дань горестной дружбы принесена автором памяти Андрея Ивановича Тургенева, недавно умершего молодого человека редких достоинств».

Потерявши сына, таланты коего почитал за сокровище с печатью мирового духа, батюшка его Иван Петрович замкнул сердце от наук, а правдивее сказать, бежал от университетского юношества. Получил отставку, купил дом в Петроверигском переулке на Маросейке, собираясь дожить оставшиеся дни отшельником, без чувств, без желаний. Но жизнь никогда не убывает — заканчивал учёбу в Геттингенском университете Александр, младший — Николенька — был светочем Благородного пансиона, ему прочили Золотую медаль и место на мраморной доске, пониже Кайсаровых, Воейковых, Жуковского.

А у Василия Андреевича вышел первый том «Дон Кишота». Он принёс книгу порадовать матушку, да Мария Григорьевна не без гнева перехватила подношение.

Как ножом по сердцу резанула сия сцена бедного Василия Андреевича, но осерчал на самого себя. Сколько матушке ждать его сыновнего обещания свой дом поставить! Убежал во флигелёк, взял большой лист бумаги и нарисовал мечту: двухэтажный просторный дом с итальянским окошком в центре второго этажа. Место для дома ни выбирать не надобно, ни тем более покупать. С 1797 гола имел он недвижимость: дар от дочери Афанасия Ивановича Авдотьи Афанасьевны Алымовой — дом в Белёве, над Окою. Одна беда, хоромы сии били столь ветхие, что жить в них нельзя ни зимой, ни летом: стены мороз пропускают, а крыша — дождь.

Со своим планом поспешил к матушке Елисавете Дементьевне. Ей представил не столько рисунок, сколько смету расходов. Ма-

тушка призадумалась, а скорее всего биение сердца уняла, дабы не расплакаться, и благословила.

К Марии Григорьевне подступиться Василий Андреевич не посмел. Опасался какой-либо невоздержанности грозной барыни, но та, узнавши о затее от Елисаветы Дементьевны, поцеловала любимца в макушку и решила дело:

— В голове стишки, а ведь хозяин! С Богом, Васенька. Пора тебе иметь свой дом. Строку-то о найме плотников зачеркни. Своих пришлю, наши не хуже белёвских.

Зимой Василий Андреевич закупал лес. Летом плотники раскатили по брёвнышку старые хоромы, копали яму под фундамент. Дом недалеко от обрыва, строить нужно прочно.

Сам тоже был в трудах, с поспешанием заканчивал перевод «Дон Кишота». Грозились в гости друзья, Мерзляков с Воейковым. Обещали быть в Белёве из рязанского имения Воейкова — не приехали.

Но Господь послал дружбу Василия Ивановича Киреевского, хозяина сельца Долбино. Василий Иванович вышел в отставку в чине секунд-майора. В юношеские годы переводил английских поэтов, ибо любил мудрую жизнь островитян, а посему дом содержал в английском духе, хозяйствовал тоже на аглицкий манер. Сочинительством стихов переболел, и теперь на первом месте у него была химия, на втором — медицина, на третьем — философия.

Владел Киреевский пятью иностранными языками и библиотеку собрал превосходную.

Летом Василий Иванович зачастил в Мишенское и наконец, набравшись духа, посватался к Авдотье Петровне. Батюшка её Пётр Николаевич Юшков да бабушка Марья Григорьевна благословили влюблённых и венчание назначили на январь, через неделю после Крещения.

История государства российского

Василий Андреевич снова ехал к великому Карамзину. Ладони уже не вспотевали, когда думал о встрече. В сердце ни восторга, ни радости. Все чувства и мысли перебивала маята. Наконец-то признался себе: тяготился сельским своим уединением. Пожалуй, с тою же болью, какая жила в нём... по Агапке. Девка исчезла из Мишенского, и никто из домашних о ней не вспоминал ни разу, а он стыдился спросить, где она. Замуж, должно быть, выдали, с глаз подальше. Случись беда — дворня бы не смолчала.

Дорога к Николаю Михайловичу стала короче вёрст на сорок.

Вот уже третий месяц новоиспечённый историк жил возле Подольска, в Остафьеве, в имении князей Вяземских.

Не без тревоги ехал Василий Андреевич к преображённому Карамзину. Пусть побочная, но родня князьям: летом сыграл свадьбу с Екатериной Андреевной Колывановой — сукиной дочерью сенатора, князя Андрея Ивановича Вяземского. Да и сам уже не вольный сочинитель, а человек двора. Должность получил не ахти какую денежную, однако ж весьма почётную — государственный историограф.

Не слава первого писателя России доставила автору «Бедной Лизы» царскую службу — протекция. Михаил Никитич Муравьёв, товарищ министра народного просвещения, — словечко замолвил императору. Михаил Никитич был учителем Александра, преподавал русский язык и русскую историю.

Доходы от «Вестника Европы» были вдвое против царского жалованья, но Николай Михайлович, как и обещал, из журнала ушёл. Вместо себя предложил друга молодости, сослуживца по Преображенскому полку Панкратия Сумарокова. Панкратий Платонович тонул в долгах, но издательское дело знал. Два журнала редактировал в Тобольске, переехав в Тулу, затеял ещё один: «Приятного, любопытного и занятного чтения». Эпохе Жуковского в журнале время не приспело.

Принял Николай Михайлович Василия Андреевича ласково, но был он и впрямь другой. На лице сосредоточенность. Говорить стал медленнее. Василий Андреевич насторожился: «Должно быть, каждое слово у него теперь, прежде чем с языка слететь, на весах взвешивается».

— До великой беды дожили, — сказал Карамзин, усаживая гостя в мягкое кресло.

— До беды?! — удивился Жуковский. — В дороге ничего не слышал... Пожар?

— Будет и пожар, — Николай Михайлович потёр озабоченно лоб. — Наполеон посла отозвал из Петербурга, генерал Гедувиль уже уехал.

— Гедувиль, должно быть, республиканец, а Наполеона сенат провозгласил императором.

— Ах, если бы так! Речь не о перемене посла. Отзыв — иное. Прекращение дипломатического диалога. Бонапарт посчитал неприличным, даже глупостью со стороны Петербурга объявить траур по герцогу Энженскому.

— Но это же было ужасно! Герцога схватили в Эттенхейме, на территории герцогства Баден. Тотчас и расстреляли возле Венсен-

ского замка.

— Какая дивная у вас память! И замок помните, и город... Боюсь, многие неизвестные деревушки и реки скоро станут достоянием истории. Кровавые битвы, громовые победы, ошеломительные поражения...

— Но Россия, слава Богу, далеко от Наполеона.

— Пока далеко. Сардинское королевство новоявленный император уже захватил, на очереди Неаполитанское. Но довольно о политике. Скоро обед. Обедать нужно в добром настроении.

Повёл гостя показать парк. Тут, на природе, Василий Андреевич и опростал свои душевные тайники.

— Не казни себя, — утешил Карамзин. — Твои теперешние чувства — усталость и недовольство собою. Задатки могучие, а сделанного мало. Поверь, всему своё время. Душа жаждет мир повидать — так собирай саквояж не мудрствуя. — Вздохнул, показал на старые липы: — Я думаю, мне до конца жизни будет этого достаточно. Дворцы, мундиры, бриллианты, пойманная улыбка государя... Теперь я, слава Богу, при деле... Всему своё время... Возвращайся в свет; в кипение страстей, слишком ты молод для затворничества.

— Свет для таких, как я, побочных детишек, завуалированное шутовство. Поэт среда князей и княжен — забавная игрушка. Но я вижу, мне из Мишенского не дотянуться до светочей разума. Книга без профессоров, без среды посвященных — не имеют ни вкуса, ни аромата, ни цвета. Я даю себе три года на завершение образования. Год на Парижскую Сорбонну, год на Геттингенский университет и год на путешествия: Италия, Англия, Испания... Швейцария...

— А Вена? — улыбнулся Карамзин.

— Вена! Да ведь и славянские страны! И Скандинавия!..

— Манит, манит свет Европы жаждущих знаний русаков! Даже если в Европе Наполеон... Друг мой, прекрасные, здравые планы! — Карамзин пожал руку Василию Андреевичу. — А для меня Европа... погасла. Для меня разверзается во всей своей необъятности — судьба России... Год тому назад мы как-то заговорили с тобой о Пугачёве, об Иване VI, Петре III... Хочу почитать тебе самое свежее, то, что вчера писал...

Но их позвали. Приехал Василий Львович Пушкин.

— Ко мне теперь редко наведываются, — улыбнулся Карамзин. — Стихами не бряцаю, не до статеек... А разговоры мои о России для большинства — скука смертная.

Василий Львович был в удивительном однобортном фраке, во-

лосы прилизаны, блестят жирно, благоухают.

— Вот он сам Париж! — Николай Михайлович обнял расцветшего от комплимента Пушкина.

В прошлом году знаменитый московский модник посетил Берлин, Париж, Лондон. Письма Пушкина к Карамзину печатались в «Вестнике Европы». Толковые письма. Василий Львович слушал лекции аббата Сикара, обучавшего грамоте глухонемых, свёл знакомство с поэтами Дюсисом, Виже, Мерсье, посетил знаменитую графиню Жанлис, чьими романами зачитывалась Россия, успел стать своим в салоне Жанны Рекамье. В музее Наполеона восхищался «Венерой Медицис», в Сен-Клу «Федрой» придворного художника барона Гереня. Был на приеме Жозефины Багарне и на аудиенции её супруга Первого консула Франции.

«Физиономия его приятна, — написал наш путешественник о Наполеоне, — глаза полны огня и ума; он говорит складно и вежлив».

— Василий Львович, а Бонапарт перестал быть вежливым, — припомнил Пушкину сей опус Карамзин. — По крайней мере, с Россией.

— Наполеон — генерал! Он просто заскучал без войны!

— Ах, не веселитесь! Великие люди малыми войнами не довольствуются! — историк не скрывал озабоченности. — Наполеону подавай славу Александра Македонского.

— Значит, ему нужна Индия!

— Боюсь, прежде всего он будет искать славы в победах над сильнейшими противниками, кои близко.

Сели обедать. К обеду вышла Екатерина Андреевна.

Николай Михайлович представил супруге Жуковского. Пушкин на правах старого знакомого позволил себе приятельски восхититься Екатериной Андреевной.

— Ваши домашние наряды — праздник. Ах, мне бы подобное бесподобное искусство!

— Секрет простой. Я доверяю своим дворовым портнихам. — И Екатерина Андреевна потянула ноздрями воздух. — Василий Львович, я теперь понимаю, почему в Москве только и говорят, что о вашей голове. Это же бальзам владык Востока!

— Самый что ни на есть парижский, но редчайший. — Пушкин наклонил голову в сторону Екатерины Андреевны. — Тайна сего бальзама не токмо в аромате. Поверите ли, — как намажусь, так в голове — стихи! Перо само летит по бумаге... Я заказал ещё три флакона и обязательно поделюсь с Николаем Михайловичем.

Карамзин всплеснул руками.

— Я уже не сочиняю стихов! Вот разве Василий Андреевич! Он у нас сама поэзия.

— Жуковский, Москва почитает вас своим, а вы, ко всеобщему огорчению, — отшельничаете. — Екатерина Андреевна подала гостю соус. — У Василия Львовича бальзам, а у меня — соус... Вам бы для театра написать. Какое диво — Сандунова, Мочалов, Волков, Баранчеева. Их таланта хватает спасать от провалов фальшивые ничтожные трагедии, комедии. Но чтобы творить божественно, нужна божественная драматургия.

— В Париже я был на спектаклях Жорж! — Пушкин даже немножко подскочил на стуле. — Три грации — в одной. Если бы не Бонапарт, то Франция жила бы в эпоху Жорж. Она прекрасна, более того, она сама гармония. Париж расколот на два лагеря. Одни поклоняются Дюшенуа, другие Жорж... Консул на стороне Жорж, и я его понимаю. Дюшенуа великая актриса, но она дурнушка! Вы, Василий Андреевич, были в Париже?

— Собираюсь...

— В Париже быть надобно каждому русскому! И — знаете, почему? Да чтобы парижане доподлинно понимали, сколь они необходимы Вселенной. Мы, русские, жить не умеем. Но зато как восхищаемся!

Василий Львович изрёк сию тираду, и было видно, сколь он доволен собою. Воскликнул:

— Жуковский! Я покорен вашей мудростью в столь младые лета. Вы не в столицы ринулись шаркать по прихожим. Вы избрали благословенную жизнь поселянина, и, попомните мое вещание, жизнь сия отблагодарит вас твореньями духа высочайшего! Вы станете примером для юношества.

Пушкин расточал похвалы Василию Андреевичу не совсем бескорыстно, ему не терпелось прочитать своё новое сочинение «Сельский житель». И прочитал:

Кто в мире счастия прямого цену знает
И сельской жизни все приятности вкушает,
В кругу своих друзей, от шума удалён —

и с ударением в голосе, рукою показывая на Василия Андреевича:

Средь бурь и непогод он будущим богат.
Судьба труды его успехом награждает:
Здесь кравы тучные млеко ему дают;
Там стадо пёстрое пригорок украшает,

Источники шумят, и соловьи поют,
И пчёлы перед ним сок роз душистых пьют;
Он под жужжаньем их приятно засыпает.

Последние две строки:

И нежный в ней певец, природой восхищённый,
На лире счастие и радости поёт, —

прочитал стоя и кинулся целовать Жуковского.

Сразу после обеда Василий Львович уехал, его ждали в городе дела малоприятные. Предстояло появиться в суде по затеянному его супругой, красавицей Капитолиной Михайловной, бракоразводному процессу: обвинила в преступном сожительстве с вольноотпущенной девкой Аграфеной.

— Господи, кто без греха?! — махнул рукою Василий Львович и укатил.

— Европа на российский лад, — улыбнулся Карамзин и положил руку на руку Василия Андреевича. — Я обещал тебе почитать... историческое.

Поднялись в кабинет Николая Михайловича. Против свибловского это был воистину — кабинет. Вдоль стен приземистые, будто осевшие под тяжестью книг шкафы. Все — красного дерева. Но словно в пику шкафам — два огромных стола. Один — пюпитром. На нём древние грамоты, летописи. Другой обычный. Но оба из гладко струганной некрашеной сосны. Окно, чуть не во всю стену, смотрело в парк.

— Отсюда я в такие дали засматриваюсь, самому страшно, — улыбнулся Карамзин.

Стулья в кабинете тоже были простые, жёсткие, не для мечтаний.

— Я теперь пишу об Олеге. Олег не был князем, опекун малолетнего Игоря, но властвовал тридцать три года, до смерти. В начале своего правления Олег призвал в свою дружину не только новгородцев, но кривичей, весь, чудь, мери, а с большим войском он и над князьями был князем. Добился союза со Смоленском, но такого союза, что власть в городе вручил своему боярину. Завоевал Любич — это всё днепровские города — и возжелал Киева. В Киеве сидели Аскольд и Дир — воеводы Рюрика, городов от него не получившие. Они сами себе и добыли княжество. Да какое! Благословенный климат, тучные чернозёмы. Я думаю, Олег позарился на Киев и по более весомой причине. Новгород — вотчина Рюрика, продолжительного опекунства новгородцы не потерпели

бы. Олегу нужен был свой город. А теперь я лучше почитаю: «Вероятность, что Аскольд и Дир, имея сильную дружину, не захотят ему добровольно поддаться, и неприятная мысль сражаться с единоземцами, равно искусными в деле воинском, принудили его употребить хитрость. Оставив назади войско, он с юным Игорем и с немногими людьми приплыл к высоким берегам Днепра, где стоял древний Киев. Скрыл вооружённых ратников в ладиях и велел объявить Государям Киевским, что Варяжские купцы, отправленные Князем Новгородским в Грецию, хотят видеть их как друзей и соотечественников. Аскольд и Дир, не подозревая обмана, спешили на берег: воины Олеговы в одно мгновение окружили их. Правитель сказал: вы не князья и не знаменитого роду, но я князь — и, показав Игоря, примолвил: вот сын Рюриков! Сим словом, осуждённые на казнь, Аскольд и Дир под мечами убийц пали мёртвые к ногам Олеговым...» — Карамзин положил рукопись на стол. — Вот начало Киевской Руси. Через поколение Владимир убьёт предательски брата Ярополка. Святополк убьёт братьев Бориса и Глеба.

— Такова природа власти?

— Такова природа человека. Каину было тесно на земле с братом Авелем.

— Как же вас полюбил бы Андрей Тургенев за сей гигантский труд! — вырвалось у Жуковского. — Вы один перед морем времён. И вам не страшно.

— Страшно, Василий Андреевич... Да ведь словечко к словечку, событие к событию, царствие к царствию. — И сказал без улыбки:

— А литература-то российская теперь на ваших плечах.

Жуковский только вздохнул: всей его литературы — «Сельское кладбище». Правда, обещал Бекетову в декабре представить сразу три тома «Дон Кишота».

Суматошный год

И представил. Рождество отпраздновал в Мишенском, а Новый 1805 год встретил в Москве. Получил от Бекетова деньги за добрый пуд исписанных листов — и с себя скинул гору. У свободы — крылья. Просил Антона Антоновича благословить на странствия за европейской мудростью.

Учитель согласился с Парижем, с Геттингеном, с посещением Италии, Англии и весьма, весьма советовал вкусить плодов Швейцарии. К советам своим прибавлял три тысячи рублей. В долг, но с отдачею, сроком неоговорённым: когда деньги будут.

Суматошно начинался год для Жуковского. На 13-ое января в

Мишенском была назначена свадьба Василия Ивановича Киреевского с Авдотьей Петровной Юшковой.

Забежал попрощаться с Иваном Петровичем Тургеневым, а тот с радостью: 16-го возвращается из Геттингена Александр.

— Непременно буду! — пообещал Василий Андреевич, умчался домой, поздравил молодых, и снова в санки.

И вот они смотрели друг на друга, и губы у них никак не складывались в слова.

Обнялись, разрыдались. Тут в комнату вбежал Николенька, вернувшийся из пансиона — тоже в слёзы.

— Мы снова вместе! Мы снова вместе!

Слёзы были счастливые. Андрей, уйдя из жизни, соединил их всех узами сладчайшего товарищества. Слова Андрея: «Усовершенствование духа всем, что есть высокого и великого» — стали им и девизом, и благословением из мира горнего.

С прожектом Жуковского о путешествии по Европе подступили они в тот же час к Ивану Петровичу. Старец разволновался, разрумянился: всю жизнь свою положил на просвещение. Решил просто:

— Поедете втроём! Николенька заканчивает пансион, незачем ему тратить лучшие годы на затхлые келии Бантыш-Каменского. Деньги, слава Богу, есть, и вложить их в европейское образование — выгодней, чем прирастить на тысчонку-другую.

Отъезд назначили на май, а покуда — в Санкт-Петербург. Александру надобно было сделать визиты к нужным людям, напомнить о Тургеневых, заручиться поддержкою — сколько ни путешествуй, а служить придётся. Жуковский искать места не собирался: идущему стезею книжника драгоценна свобода, однако ж в столице и книжнику побывать не худо.

Вернувшись от Тургеневых к Антону Антоновичу, Жуковский застал гостя — студента пансиона.

— Степан Петрович Жихарёв, — назвал себя юноша. — А вас, Василий Андреевич, в пансионе помнят, любят. Вы наш кумир! — И прочитал:

— Скатившись с горной высоты,
Лежал во прахе дуб, перунами разбитый.
А с ним и гибкий плющ, кругом его обвитый...
О Дружба, это ты!

— Откуда вам сие ведомо?! — изумился Василий Андреевич, краснея. — Нигде же не печаталось! Разве что у Дмитриева читал...

— Вот каковы-та у нас студенты-та! — засмеялся Антон Антонович, очень довольный. — Всё-та на лету ловят. А кабы поменее-та

по театрам шатались, так бы и в математике-та не отставали.

Тут и у Степана Петровича щёчки зардели: с математикой у него беда.

— А я, Васенька, — сказал Антон Антонович, — имел нынче беседу с Михаилом Трофимовичем, с Каченовским. У него-та скоро магистрская защита, а надо бы-та сразу доктора давать. Речь-та однако ж про «Вестник Европы». Университет Каченовскому передаёт редактирование-та. Вот я и говорил о тебе. Лучшего-та сотрудника ему не сыскать.

— А путешествие?!

— Путешествуй-та во благо российской словесности, а стихи-та Каченовскому шли.

— О журнальной работе я думал, — признался Василий Андреевич. — Мы наметили с Тургеневым издавать журнал сразу по возвращению из Европы. На журнал отдаю четыре года. Я посчитал. Проценты со скопленных за четыре года денег, худо ли, бедно, но прокормят. Дорога свобода. Без свободы сочинительство немыслимо.

— Вот и пригодится-та работа с Каченовским! — решил Антон Антонович.

А через неделю все московские дела вылетели у Жуковского из головы. Петербург!

Остановились у Мити Блудова. Митя чиновничал в Иностранной коллегии, квартиру снимал в самом чиновничьем месте, на Владимирской площади, неподалёку от казарм Семёновского полка. Приехали вечером. Обнялись, положили вещи и — в Большой театр. Шла «Лиза или следствие гордости и обольщения», драма Василия Михайловича Фёдорова, переделка «Бедной Лизы». Главную роль исполняла любимица Петербурга Александра Дмитриевна Каратыгина. Играли муж и жена Сахаровы, Алексей Яковлев, знаменитый Шушерин.

С Блудовым в театре здоровался каждый второй, и Митя, как заядлый театрал — пустился рассказывать об артистах. Знал, сколько платят Якову Шушерину — две тысячи пятьсот годовых плюс пятьсот рублей на экипаж, и сколько Сашеньке Каратыгиной и Машеньке Сахаровой: те же две с половиной тысячи, но на экипажи по триста рублей. А вот их мужья, оказалось, ценились много дешевле: Николай Сахаров имел тысячу двести, Андрей же Коротыгин — только семьсот.

— Ах, как здесь было на торжестве в честь столетия Петербурга! — восторгался Митя. — Сцена и ложи в цветах. Праздновали 16-го мая. Давали тоже Фёдорова, его драму «Любовь и доброде-

тель». А потом балет «Роланд и Моргана» с Огюстом. Ставил, разумеется, Дидло. Кстати, завтра «Ацис и Галатея». Что слова?! Вы сами увидите, какой огонь пылает в крови Огюста. А за всем очарованием балета, — верю, сердца ваши будут похищены с первого же танца-полёта, — рябой, лысый, костлявый, как обглоданная рыба, и всё-таки несравненный Дидло! Дидло — Пётр Великий балета. Это он заказал чулочному мастеру Трико обтяги-вающие чулки-штаны, то, что мы теперь называем «трико». Это он ввёл газовый тюник и создал балетную мимику. Дидло был славен в Париже, в Лондоне, но князь Юсупов не пожалел денег — и Петербург отныне имеет лучший балет Европы!

— Митя! Митя! — нарочито посокрушался Василий Андреевич. — Ты, кажется, готов забыть не токмо Иностранную коллегию, но саму Музу литературы!

— Стихи я почитаю вам на сон грядущий! — успокоил друзей Блудов. — А моё увлечение театром вы тоже прочувствуете сполна.

Загадочную фразу объяснил их поздний ужин.

Митин слуга Гаврила, поставив перед гостями блюдо с половиной булки, объявил:

— Вашего кушанья господского, Дмитрий Николаевич, от обеда вашего не осталось.

— А от твоего?

— От моего — щи да ячменная каша.

— Так подавай! — радостно воскликнул Митя и глянул на приятелей.

— Театр стоит поста! — согласился Жуковский.

Саша Тургенев хохотал:

— А я по щам так даже соскучился!

Уже на другой день, выхлопотав разрешение, Василий Андреевич стоял перед Эрмитажем, за дверьми которого — мир великих живописцев, собранных со всей Европы для царских глаз. Ему показалось, Атланты, напрягшись, поднимают перед ним своды выше, выше, словно обрадова-лись его приходу.

У картин он оробел. Вот оно, стремление человечества к божественной красоте! У всякого народа красота своя, и, однако ж, невозможно сказать: это прекраснее того.

Вернулся в Москву в апреле. Привёз стихи:

Друзья небесных муз! пленимся ль суетой?
Презрев минутные успехи —
Ничтожный глас похвал,
кимвальный звон пустой, —

Презревши роскоши утехи,
Пойдём великих по следам! —
Стезя к бессмертию судьбой открыта нам!

В Москве Василий Андреевич застал Марию Григорьевну, которая передала ему письмо от матушки, от Елисаветы Дементьевны.

Дом был построен, на «людской избе» за крышу принялись. Матушка просила купить крючки и задвижки для растворчатых окон и благодарила за письмо из Петербурга.

«Желания твои о моём щастии чрезвычайно меня тронули! — радовалась Елисавета Дементьевна. — Конечно, мой друг, я с тобою надеюсь быть щастлива и спокойна. Любовь твоя и почтение право одни могут сделать меня благополучной. А во мне ты напрасно сомневаешься, я очень чувствую, какого имею сына, и если когда с тобою бранюсь, то право, это от лишних хлопот. А когда даст Бог, мы будем жить в своём домике, то ты можешь быть уверен в моём снисхождении и доверенности; увидишь, что у тебя есть добрая мать, которая только твоего щастия и желает».

Праздники по-русски

Они смотрели на Оку, Василий Андреевич и его чудесный дом. На втором этаже итальянское окно в половину центрального сруба, овалом, под ним такое же большое, прямоугольником, по два строгих окна стражами по сторонам. Дом света.

Окна смотрели в необъятные просторы земли и неба. Ока в оправе кудрявых вётел, будто серебряная речь — сказание о богатырских временах.

— Господи! Куда же это я от такой красоты!

Дом был пока что пуст, без печей — без домового, стало быть. Василий Андреевич огорчился. Всё затеяно ради материнского тепла, коим его обделили в младые годы. И что же! Дом заполнится жизнью, когда он будет в далёких, нерусских краях, а матушке — пусть хозяйкою, коротать здесь дни, как и в Мишенском, без сыновнего попечения.

Поспешил к Екатерине Афанасьевне. Они теперь соседи, но разлука грядёт, Боже мой! — на добрых семь лет. Три года на путешествия, четыре на журнал, в Москве ли, в Петербурге...

Машенька и Сашенька кинулись к нему ласточками. Подняли счастливый визг, закружили. Глазки сияют, любят! Душа затосковала, защемила: он вернётся сюда, когда милые синицы обернут-

ся барышнями, а Машеньку-то и замуж могут выдать.

И тут вышла из своих комнат Екатерина Афанасьевна.

— Угомонитесь! Да угомонитесь Бога ради! — в расстроенных чувствах, под глазами тени. — Ах, Василий Андреевич! Замучилась, считая так и этак. Даже в Белёве жить накладно. Мои деревеньки далеко, приказчик жульничает. Самой приняться за хозяйство невозможно. В Муратове не то что усадьбы, избы приличной нет. Но горшая-то печаль — сии стрекозы. Учить же надобно! А денег моих — разве что дьячка пригласить. Я каждое утро пробуждаюсь с ужасом: ещё день ушёл! Дикарки мои одикарели более вчерашнего!

— Я буду учить Машу и Сашу, — сказал Василий Андреевич, чувствуя, как радостно дрожит сердце.

— Но ты же едешь в Париж?!

— Потом. Потом съезжу. Ты согласна, чтобы я был учителем Маши и Саши?

— Васенька! Господи! Господи! Я — к себе. Не могу, не могу! Васенька, ты святой! Святой!

Она убежала.

— Ну вот! — Василий Андреевич развёл руками и увидел — плачут. — Ну вот!

Рассердился, а Сашенька ему платочек подаёт:

— У тебя тоже слёзка!

Так-то с заботами расправляются. И возле мамы, и строительство дома под присмотром. Книги не сироты, Васькова гора сутулилась, сутулилась, да и повеселела.

Василий Андреевич каждое утро шёл из Мишенского в Белёв, сначала к своему дому — посмотреть, как идут работы, и — к ученицам.

Екатерина Афанасьевна изволила присутствовать на уроках. На всякую ошибку дочерей — окрик, на испуганную бестолковость — злая насмешка.

И Василий Андреевич однажды объявил:

— Сегодня у нас история. Урок мы проведём, гуляя по нашим горам, под коими кладези древности Белёва.

Лица девочек озаряла счастливая заговорщицкая радость.

— Посмотрите, какое величие в природе от громады сих белых облаков!

Они стояли на самой круче: простор — под ногой.

— Смиренна тихая жизнь Белёва. Но сколько видывала эта прикрытая весёлой травкою земля! Когда-то из синевы бесконечного простора, что перед нами, пришли на белёвские кручи

— арии. Дивное племя! Прародители множества народов. И мы, русские, от корня их.

— Значит, куда я ни шагну — древность? — спросила Машенька.

— Так оно и есть. Где Спасо-Преображенский монастырь — праотцы наши поклонялись Дажьбогу. Дажьбог — солнце и огонь, дающий жизнь. А на месте храма Иоанна Предтечи тысячу лет тому назад стоял идол Ярилы. Ярило тоже солнце, но молодое, весеннее.

У девочек глаза во всё лицо.

— В Ипатьевской летописи, — я у Карамзина в Остафьеве нашёл сие место, — Белёв помянут в лето 1147-е. Город был уделом Черниговских князей. Великий князь Великой Литвы Витовт в самом начале XV века присоединил Белёв к своим владениям. У Литвы город отнял золотоордынский хан Улу-Махмет. Его изгнали из Орды, вот он и сыскал себе княжество. Его друг князь Московский Василий Тёмный, — а хан помог Василию занять Московский стол, — убоясь такого соседства, послал войско на татар. Да Улу-Махмет был великий воин. Побил во много раз превосходящую дружину москвичей и ушёл на Волгу. Сначала сел в Нижнем Новгороде, но близкое соседство с Москвой было опасным. Тогда он отступил в пределы древней Булгарии. Построил вблизи сожжённой Казани новую Казань и, таким образом, основал Казанское царство.

— Выходят, он белёвский?! — обрадовалась Сашенька.

— В Белёве жил ещё один столь же знаменитый человек — князь Дмитрий Вишневецкий. Сей муж — основатель Запорожской Сечи. Рассорившись с поляками, князь перешёл на службу к Ивану Грозному и за многие свои ратные доблести получил от царя в вотчину наш Белёв.

— Жуковский! — Сашенька сложила ладошки. — Жуковский! Давайте всегда заниматься на улице.

Машенька вздохнула, да так глубоко, что плечики до ушей поднялись:

— Скоро осень! Всё станет мокрым...

— Так будем радоваться лету, пока оно с нами! — воскликнул Василий Андреевич.

Сашенька даже запрыгала: она умела радоваться.

Если дни счастливые, они такие скорые. Осень явилась с дождями, с холодами, с теменью.

Василий Андреевич каждый день приходил в Белёв на занятия, а по утрам составлял антологию российской поэзии. Он назвал её «Собрание русских стихотворений».

В конце ноября пришло письмо от Ивана Ивановича Дмитриева. Знаменитый поэт сообщал, что получил из Франции десятитомник «Малой поэтической энциклопедии», где собраны лучшие произведения европейского стихотворчества, от поэмы до дистиха. Советовал: «При каждом роде наставление, которое не худо бы вам перевести для вашей хрестоматии». Насмешничал: «Если б я умел рисовать, то представил бы юношу, точь-в-точь Василья Андреевича, лежащим на недоконченном фундаменте дома; он одною рукою опёрся на лиру, а другою протирает глаза, смотрит на почтовую карету и, зевая, говорит: «Успею!»... В ногах несколько проектов для будущих сочинений, план цветнику и песочные часы, перевитые розовою гирляндою...» И немножко сплетничал. Саша Тургенев ждёт не дождётся возвращения друга в Москву. «Лирик наш или протодьякон Хвостов беспрестанно кадит Гомеру и Пиндару и печёт оду за одою... Князь Шаликов возлагает на надёжный свой нос зелёные очки и объявляет себя «Московским зрителем», а любимый наш Карамзин терпеливо сносит жужжание вкруг себя шершней и продолжает свою «Историю». Он уже дошёл до Владимира».

Москва она и есть Москва, а в Белёве — Машенька и Сашенька.

По скрипучим снегам декабря из Мишенского в Белёв доставил обоз пожитки Елисаветы Дементьевны да сундуки с книгами Василия Андреевича.

А вместо радости — горе. Умер Пётр Николаевич Юшков. Семейство покойного, ища родного тепла, перебралось к Жуковскому в Белёв, а сам он помчался в Москву устраивать дела по наследству, платить и собирать долги.

Застал Москву в тревоге, в растерянности.

Пришли вести из Моравии о битве с Наполеоном. Разбиты! Разбиты в пух и прах! Старые вояки головами качали:

— Из-за немцев — позор. Да, слава Богу, немцев-то и побили. Сие звание — Аустерлиц — на долгую нам память. Живьём слопал француз силушку нашу.

Иные бодрились, особливо купечество:

— Ну и потрепали. Бог глядел-глядел на нашу дружбу с немчурой да и наставил на ум.

Багратиона славили. Если бы не Багратион, не его стойкость — французики всю бы армию пустили под нож. Разговоры о геройстве звучали всё громче. Славили гренадёра Фанагорийского полка. На него напали четверо французов. «Пардон!» — кричат — стало быть, руки вверх. А он бах из ружья — один готов, второго прикладом по башке, третьего на штык, а четвёртый

– давай Бог ноги.

Василий Андреевич приехал к Дмитриеву. Иван Иванович за щёку держался.

– Зубы у меня – орехи грызть, а болят. Нервы, братец. Ужасное поражение! Двадцать семь тысяч убитыми с нашей стороны против восьми сотен французов. Это не война – бойня.

– Но, слышал я, потери понесли главным образом союзники.

– Австрияков полегло шесть тысяч, отними от двадцати семи. Да сто восемьдесят пушек! Да весь обоз! Суворовское наследие – до последнего гроша промотано. Геройски умирать умеем, а вот геройски побеждать разучились.

Диво дивное! Через неделю Москва уже ликовала. Говоруны соглашались: потеря аховая, тут уж молчи! Но тотчас грудь колесом – слава Богу, велика Россия. Побили нас, побьём и мы. Народу у белого царя на дюжину Бонапартов хватит. Нарожаем!

Хвастали престранно: в Английском-де клубе за один вечер патриоты осушили сотню бутылок шампанского! С гаком! И это притом, что все французские вина вздорожали, а шампанское так на полтинник. Три рубля пятьдесят копеек – бутылка.

У Тургеневых Василий Андреевич услышал: городок Аустерлиц некогда звался Славковым. Горькая слава досталась русскому воинству. В такой-то час хотелось послужить Отечеству, но чем? Как?

Воротившись домой, записал в дневнике: «Итак, целью моей жизни должна быть деятельность, но такая деятельность, которая мне возможна: деятельность в литературе».

Смысл жизни определён, а что до служения, до высокого служения, до счастья?

«Надобно сделаться человеком, – написал он Саше Тургеневу, – надобно прожить недаром, с пользою, как можно лучше. Эта мысль меня оживляет, брат! Я нынче гораздо сильнее чувствую, что я не должен пресмыкаться в этой жизни, что должен возвысить, образовать свою душу и сделать всё, что могу, для других. Мы можем быть полезны пером своим, – не для всех, но для некоторых, кто захочет нас понять... Наше счастье в нас самих».

Больше, чем через полгода, стремясь быть полезным и думая о поражении русских под Аустерлицем, сочинил «Песнь барда над гробом славян-победителей»:

– Ударь во звонкий щит! Стекитесь, ополчены!
Умолкла брань – враги утихли расточены!..

И пришла слава. Почти триста строк, тяжеловесных, но пла-

менных, поручики и ротмистры, прошедшие Аустерлиц, и нежные девы, охочие до чтения журналов, заучивали наизусть.

К одинокому имени Карамзин прибавилось ещё одно: Жуковский.

У государства своя жизнь

Двадцать одна тысяча русских солдат, убитых под Аустерлицем, не омрачили царствия Александра, не убыло любви у дворян к своему белокурому синеглазому гению самодержавия.

Петербург встретил императора как героя. Кавалерская дума поднесла виновнику жесточайшего поражения — отстранил перед битвою генерала от инфантерии Голенищева-Кутузова от командованья войсками — высший боевой орден государства. Георгия Первой степени.

Александр награды не принял: орден полководческий, но, признавши за собой разделённую с войском неустрашимость и многие опасности, согласился на Георгия самой низкой, четвёртой степени.

В рескрипте же к Петербургу объявил: «Любовь любезного мне народа есть моя лучшая награда и единый предмет всех моих желаний».

Юношество ликовало, почитая себя счастливейшим поколением. Жить под державою Александра, быть сотворцами России — великой, просвещённой, благодатной!

(Продолжение следует)



Иван ВЕНЕВЦЕВ

УРАЛ - БЫСТРА РЕКА

Главы из романа

Предисловие Валерия Кузнецова

Роман «Урал — быстра река» (авторское название «Михаил Веренцов») о «неизвестной» во многом Гражданской войне на землях Оренбургского казачьего войска идёт к читателю около семи десятилетий. Судьба его рукописи, созданной за колючей проволокой Карагандинского исправительно-трудового лагеря, напоминает судьбу самого казачества, обречённого на физическое и духовное уничтожение как народный уклад и образ жизни, как народная вселенная.

Через семь десятилетий после Великого по народным страданиям Октябрьского переворота мы начали эпически вглядываться в кромешную тьму братоубийственной катастрофы. Свою правду о ней в нашей стране говорили лишь победители, хотя подлинные победители в гражданских войнах чаще всего остаются за непроницаемым занавесом истории.

После завершения Гражданской войны в России лукавые или безбожно-простодушные идеологи победившей стороны начали канонизацию, освящение классового видения её хода и её итогов. Всё, что отходило от канонов, попадало в разряд «антисоветчины» или «политически незрелого». Только гению Шолохова удалось — и это можно назвать чудом — показать невозможную по тем временам трагическую правду личности и истории.

Недостаточно было уничтожить противника как боевую силу, надо было на протяжении десятков лет добивать память о нём исторической полуправдой, которая хуже всякой лжи.

«Добрая слава лежит, а худая бежит», — говорят в народе. Всею мощью своего идеологического аппарата государство помогало распространяться худой славе белого движения, неизбежной в глобальном противостоянии, оставляя «лежать» в спецхранах чистоту по-

мыслов и жертвенность белых патриотов.

Можно только предположить, что испытывали при этом оставшиеся в живых представители оболганных поколений. Обжёгшие их события на землях Оренбургского казачьего войска по своим масштабам и напряжению, военным и политическим последствиям были ничуть не меньше событий на Дону. Единственное, что могло примирить их с жестоким временем, это правда о них самих, воздающая по заслугам каждому — как отпущение грехов, заслуженных и незаслуженных. Оскорблённость массированной ложью, ответственность перед павшими братьями — вот что могло подвигнуть участника братоубийственной войны, каким был старший урядник Иван Степанович Веневцев, на отчаянный труд: создание романа-свидетельства, романа-хроники о пережитой трагедии.

Всякой письменной истории предшествует история устная. Народ творит фольклор, давая времени свою, единственно верную оценку. Если устные рассказы очевидца или участника поразивших его событий талантливы, а содержание его «бывальщин» отвечает общественным запросам, тогда рассказанное становится фактом общественного сознания. Так при электролизе металл из насыщенного раствора переходит на покрываемую поверхность, а многократно проверенные на слушателях рассказы о пережитом становятся главками и главами народного романа. Здесь должны вспомниться традиции русского летописания, которое всегда было не от честолюбивого умения, а от гражданской боли. «Мёртвый ничего не скажет, а за него спросится».

У Ивана Веневцева был острый глаз и большое сердце. Не приходится говорить о его относительно счастливой звезде — не убили его ни пуля, ни штык в Гражданской, ни революционный, скорый суд победителей, ни «чёрные дыры» тюрем и лагерей. И если служители неволи не создавали ему особых условий для писательской работы, то — и это тоже чудо — и не мешали заниматься делом, лагерным режимом не предусмотренным. Об этом с благодарностью (жестоко было бы гадать, насколько она искренна) вспоминает автор романа, перечисляя поимённо невольных помощников.

Так и скажешь: многим грезилось, а одному сбылось. У Ивана Веневцева, автора единственной книги, был не только личный опыт «посетившего мир в его минуты роковые», его неотступно понуждал трагический опыт поколения, по сути, целиком взятого Молохом двух Мировых и Гражданской войн. Он писал языком и жизненными представлениями этого поколения, на котором насильственно оборвалась связь времён.

Что же за произведение создал в столь неподходящих условиях родовой казак, дутовец, советский бухгалтер и заключённый Иван

Веневцев? Его автобиографический роман — это история детства, отрочества и юности казачьего сына Михаила Веренцова, которому уготовано было появиться на свет накануне кровавого, полыхающего апокалиптическими огнями столетия. На юности главного героя — багровые отсветы братоубийственной бойни, прямым участником и жертвой которой он оказался.

Оренбургский казак Иван Степанович Веневцев родился в посёлке Благословенском станицы Оренбургской (современное село Благословенка Оренбургского района Оренбургской области) в 1896 году, месяц и день рождения пока неизвестны. Отец его Степан Антонович Веневцев девять лет служил атаманом посёлка. В отличие от старшего брата Василия (в романе — Дмитрий) Иван Веневцев не успел поступить в юнкерское училище, как мечталось, хотя и напряжённо готовился к экзаменам — помешала Гражданская война. Выбор Ивана — нравственный и сословный — прямо зависел от выбора по-юношески любимого им старшего брата. Как и Василий, Иван вступил в войско атамана Дутова, прошёл с ним крестные муки Голодного похода.

После разгрома белой армии старшего урядника Ивана Веневцева осудили на два года тюрьмы. Этот свой первый срок отсидел он в г. Новониколаевске (с 1925 г. — Новосибирск), и в 1921 году вернулся домой, в сожжённую и разорённую станицу. Следуя жизненной канве, событиями этого времени заканчивается (а начинается кануном Первой Мировой войны) автобиографический роман.

Но для автора романа крестный путь продолжился. Вот некоторые «узлы» его жизни. 1926 год. Курсы бухгалтеров в Оренбурге. Работа по специальности в первом ауле совхоза «Караванный». 1929 г. — очередной смутный год: коллективизация. Чудом избежал нового ареста: ОГПУ «подчищало» белоказаков, освобождённых по амнистии (гарантии безопасности, данной командующим Восточным и Туркестанским фронтами Михаилом Фрунзе противникам Советской власти, добровольно сложившим оружие). Уехал в Среднюю Азию. Переходил из одной организации в другую. Сменил фамилию на Ковалёв, чувствуя пристальную опеку чекистов.

Между тем, из Благословенского доходили плохие вести: там голод. Спасаясь от голодной смерти, жена с его матерью, двумя дочерями и сыном уехали в Коканд.

Жена устроилась рабочей на завод безалкогольных напитков. Жили впроголодь, но сын Сергей окончил механический техникум. Иван Степанович помогал семье, как мог, «оберегая» её от себя. И всё-таки в сорок первом не уберёгся сам. Арест, лагерь, теперь под Карагандой. Его сын Сергей Иванович Веневцев в том же году по-

шёл на фронт, чтобы в сорок шестом в звании майора и с боевыми наградами вернуться «домой», в Коканд.

Второй раз в местах лишения свободы Иван Веневцев находился с октября 1941 года. Но только в феврале 1943-го, как свидетельствует архивный документ, осуждён Особым Совещанием НКВД за антисоветскую агитацию без указания статьи (!) сроком на десять лет. То есть его на полтора года лишили свободы без приговора даже того закрытого заседания «тройки», которая с 1934 по 1953 годы заменяла суд.

Резкий штрих времени. В архивной карточке Карлага МВД, заведённой на И.С. Веневцева-Ковалёва, нет данных о его первой судимости, но годом рождения назван 1900-й. Сдаётся, одно зависело от другого. Не удайся Веневцеву «омолодить» себя, чтобы к началу Гражданской ходить в казачьих малолетках (17-19 лет — до принятия присяги), вряд ли мы читали бы сейчас его свидетельство об этой войне — кровь людская в XX веке, что водица...

Мы не знаем, как пришла Ивану Веневцеву идея написания романа. По рассказам сына, «он был живым, эрудированным. Это был настоящий казак!.. Отлично играл на гармошке, пожалуй, лучше всех в станице. Дома в зимнее время ... читал вслух для всех. В доме были настольные книги: Библия, «Война и мир», «Тарас Бульба», «Тихий Дон»... Книги отец приносил из станичной библиотеки (была такая при школе), привозил из города. Организовал в станице драмкружок. В основном ставили спектакли из комедийных произведений Гоголя. Всё это в зимнее время, когда не было полевых работ. Сам и режиссёр, и артист... Клуба не было, все спектакли проводили в школе, в воскресные дни. Народу набивалось «под завязку», хохот стоял такой, что слышно было на улице...

Ни с кем никогда не ссорился. Его уважали и называли только по имени и отчеству. И вообще, в станице наша фамилия пользовалась авторитетом, и не только мы, а все три ветви Веневцевых, которые приехали из станицы Городище...Я лично его уважал и никогда не называл на «ты», только «вы». Когда он скитался по Средней Азии, не имея возможности долго находиться на одном месте, мы с ним иногда встречались. У нас в разговоре были только шутки и смех. Он не унывал, был весёлым».

Может, как раз здесь и разгадка чуда создания романа. У его автора был народный характер, из тех, что в огне не горят и в воде не тонут. Словно великий романист движет рукой казачьего сына Сергея Ивановича — пишет о смехе и шутках отца, но какие душевные запасы нужно иметь для этого смеха и этих шуток!

Да, наверное, только такая личность и могла решиться на труд

неведомый и неподъёмный, невозможный труд. Думаю, что для казака Ивана Веневцева это была форма сопротивления. К этому подвигает даже нечаянная метафора – перевод немецкого слова «Kraft» – сила. Именно на серо-жёлтых листах крафт-бумаги, нарезанных из мешков для цемента, писался роман о казачьем мире и казачьей войне, начатый и законченный в лагерной неволе в 1945-1947 годах. Рукопись хранится в домашнем архиве внука автора по материнской линии Сергея Фёдоровича Попова – активнейшего участника подготовки романа к изданию.

В сорок шестом сын получил письмо из Караганды: «Приезжай, забери рукопись...». Сергей Иванович смог приехать только в сорок седьмом. Отец был уже расконвоирован. Он передал сыну вторую, восстановленную по памяти рукопись – первую в зоне украли. Сергей Иванович отвёз её в Коканд, перепечатал, чтобы показать в Москве, в Союзе писателей. Но рецензировавший рукопись литературный консультант предостерёг его: «Она (рукопись) несвоевременна, с ней наживёшь много неприятностей!» Гражданская война в умах продолжалась.

В пятидесятом Сергей Иванович решается написать Шолохову. Великий писатель ответил: «Ознакомиться с рукописью Вашего отца, к сожалению, не могу, т.к. загружен работой».

В пятьдесят первом Иван Веневцев вышел из лагерной зоны, но не из сферы внимания «вдумчивых биографов» МВД. Его оставили «на поселении» неподалёку, в посёлке Долинка. В последующие годы Иван Степанович пытался переделывать роман, убирая из него острые места, видимо, поздним страхом испугавшись за детей. Дописал страницы отступления – исхода казачьего войска в Китай.

Президиум Ферганского областного суда 9 сентября 1960 года пересмотрел дело по обвинению Веневцева Ивана Степановича. Можно лишь попытаться представить, какой музыкой освобождения прозвучали для него машинописные строки судебной справки: «Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 10 марта 1943 года отменено и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления. Веневцев И.С. реабилитирован».

В 1974 году он скончался в пос. Долинка, месте своего поселения, так и не повидавшись с родиной.

Сергей Иванович – к тому времени он жил в Выборге – свёл отцовские рукописи в одну, сделал некоторые сюжетные вставки. И опять предлагал казачью летопись «литературным часовым» – в журнале «Нева», Союзе писателей РСФСР. Ответы по духу времени были спокойнее, но заканчивались отказом – рукопись требовала литературной доработки. Так в своих поисках он добрался до родины,

до места действия романа, до Оренбургской организации Союза писателей России. Вернулся на родину и возвращается к землякам-читателям и труд его отца — эпический документ из кровавого архива Гражданской войны. Действительно, «рукописи не горят».

Какова же художественная ценность этих картин национального апокалипсиса, увиденных глазами «простого» казака, переданных языком литературного дилетанта — интеллигента в первом поколении, одарённого от природы? Если идти по пути аналогий с Великой Отечественной войной, с её художественной «окопной правдой», то летопись Ивана Веневцева можно назвать «правдой с высоты казачьего седла», а его прозу — народным сентиментальным романом, где все действующие лица и, прежде всего, главный герой Михаил Веренцов, носят родовые черты их создателя — рассказчика из народа.

Именно этим обусловлен народный, сильный, выразительный язык персонажей из среды, генетически общей с автором, и именно поэтому чаще всего был обеднён, грешил канцеляризмами язык персонажей из другого, «светского» мира, как и язык авторских размышлений, характеристик, выводов. По этой же причине произвольна, стихийна композиция произведения.

Нельзя ни на минуту забывать, что роман создавался под вышками часовых: над ухом автора, одетого в робу зэка, жарко дышало время, живущее по законам Гражданской войны. Отсюда понятней изобразительные удачи первой части романа, повествующей о детстве и ранней юности действующих лиц, и нервный, фрагментарный, уходящий зачастую в газетный документализм характер второй части с кровавым абсурдом братоубийственной бойни.

Роман — свидетельство непосредственного участника событий приоткрывает тщательно замолчанную, неизвестную до 90-х годов минувшего века — времени газетной публикации первой части романа революционную тайну тех дней. Позднейшие оренбургские исторические хроники настаивают на том, что «особую роль в разрастании гражданской войны сыграл налёт в ночь с 3 на 4 апреля (1918 года. — **В.К.**) белоказаков на спящий Оренбург. Ворвавшиеся в город учинили зверскую резню. Было жестоко зарублено 129 человек, в их числе старики, женщины и дети. Обстановка в Оренбурге накалилась до предела, рабочих охватила ненависть к тем, кто совершил злодеяние. Было возможно, что она распространится на всех казаков, тем более что в городе уже были случаи самосудов по отношению к ним».

Главный вопрос: что вызвало столь жестокий характер налёта казаков — профессиональных защитников Отечества, а не наёмных убийц? Ответ дан в первой части романа: «отворило кровь» про-

вокационное разрушение, видимо, в феврале – марте того же года державного символа казачьего войска – конной статуи вооружённого казака на Форштадской площади Оренбурга. Иезуитский расчёт оказался точным: кровь «закипела в жилах» казаков-стариков, казаков – героев Первой мировой – их было немало – при виде такого кощунства в святая святых казачьей воинской славы – у Знамённой войсковой избы. В этот драматичный ряд становилась и первая живая жертва новой власти – бессудный расстрел на 18-ом разъезде арестованного на станции Платовка возвращавшегося с фронта казачьего генерал-майора П.В. Хлебникова. Автор воспоминаний – исследования «Оренбургское казачье войско в борьбе с большевиками. 1917-1918 годы» И.Г. Акулинин, помощник войскового атамана, командир II и I казачьих корпусов в 1918-1919 годах писал: «Заняв Оренбург (31 января 1918 года. – **В.К**.) и утвердившись на территории Оренбургского войска, большевики сразу показали себя казакам.

Всюду – в городах и станицах – начались кровавые расправы, грабежи и разбой. Несколько станиц было сожжено дотла; миллионы пудов хлеба вывезены или уничтожены; тысячи голов лошадей и скота угнаны или зарезаны на местах; масса имущества разграблена. Все станицы и посёлки, независимо от того, принимали участие в борьбе против большевиков или оставались нейтральными, заплатили денежные контрибуции и затем были обложены громадными налогами. Большевики всех казаков без разбора совершенно искренно считали врагами советской власти и потому ни с кем не церемонились. Много офицеров, чиновников, казаков и даже казачек было расстреляно; ещё больше посажено в тюрьму. Особенно свирепствовали большевики в самом городе Оренбурге.

Такие мероприятия со стороны большевиков быстро отрезвили не только казаков-стариков, но и казаков-фронтовиков и заставили их взяться за оружие».

В этой связи вспоминается разговор со старейшим научным сотрудником Оренбургского областного краеведческого музея Сергеем Александровичем Поповым в семидесятых годах: он рассказывал, что из себя представлял Оренбург – город армейских военных, казаков, купцов и ремесленников в 20-х годах прошлого века. После Гражданской войны и революционных чисток город был настолько обезлюжен, что новоприехавшим сюда приходилось выбирать для жительства не дома даже, а улицы с несколькими заселёнными подряд домами – по соображениям безопасности...

Надо думать, главной болью для автора, органически не способного на лукавство, была невозможность озвученного объективного взгляда на страшные годины русской истории. Кто знает, сколько

бесценных эпизодов и оценок выкинуто им при многочисленных переделках рукописи! Писать сусальные картинки в духе кинофильма «Кубанские казаки» автору не позволила бы кровь старшего брата и всего его «потерянного поколения», изображать же пережитую действительность без внутреннего цензора было самоубийством.

Литературная обработка многострадальной рукописи не должна была «навредить» ни автору, ни изображаемому времени. Поэтому оставлено, по сути, без вмешательства всё художественно самобытное, всё, что можно отнести к авторским достижениям. Важно было не исказить исторических акцентов авторского текста, чтобы и в частностях они соответствовали «гласу народному — гласу Божьему». Предприняты попытки бережной реставрации, освобождения от издержек стиля, дан как бы «перевод» неудачных мест, стилистически приближающий автора к самому себе — лучшему.

Особое слово о сыне автора романа Сергее Ивановиче Веневцеве (1916-2003) и его внуке по материнской линии Сергее Фёдоровиче Попове — творческих душеприказчиках писателя, чьими заботами, в том числе, и финансовыми, рукопись романа не только не затерялась на перекрёстках времён, но обрела «второе рождение», получила прописку в оренбургской прозе — первая часть романа под названием «Рубеж» опубликована в газете «Оренбургский казачий вестник» за 1993 год. Не чуждые литературного творчества, они во многом помогли прояснить детали казачьего быта, говора, ушедших в историю.

Перед публикацией в газете «Оренбургский казачий вестник» мы поместили в областной газете «Оренбуржье» отрывок из романа с биографией автора. Вот что писал по этому поводу 21 декабря 1992 года Сергей Иванович: «Получил сегодня Ваше большое письмо с газетами «Оренбуржье». Очень Вам, до глубины души, благодарен. Спасибо огромное. Лёд тронулся, слава Богу, почти через 50 лет! Не утерпел, открыл конверт на почте, но читать не мог. Слёзы радости и обиды за казачество застилали глаза. И сожаления о том, что отец не дожил до этой счастливой минуты. Минуты, когда благодаря Вам,.. его строки романа, написанные за колючей проволокой, увидели свет и их увидят в первую очередь милые сердцу уральцы — оренбуржцы — станичники — благословенцы...»

Накануне столетия Октябрьского переворота (И.В. Сталин) с его космическими светотенями было бы исторической безответственностью держать под спудом такой документ при всех его художественных несовершенствах. Слишком мало объективных свидетельств из её драматичных страниц — истории сопротивления

Оренбургского казачьего войска оставила эпоха самоуничтожения великого народа, слишком дорога здесь каждая живая деталь, чтобы поступиться «самодельным» романом Ивана Веневцева — единственным в своём роде произведением, сбережённым временем, — если не в назиданье, то хотя бы в раздумье потомкам.

Валерий КУЗНЕЦОВ

ЧАСТЬ 2 ИСХОД

1

Первый удар советского возмездья за дикую расправу казаков в Оренбурге в ночь на 22 марта* 1918 года должна была принять станица Благословенная как подгородняя.

На оренбургскую дорогу смотрели как на источник смерти для всей станицы. Хотя на этой дороге стояли посты, все казаки, старые и молодые, спали одетыми. При малейшем стуке вздрагивали, выбегали на улицу. Жёны просиживали ночи около спящих мужей, слушали, не загудит ли колокольный набат, не застучат ли выстрелы, — чтобы успеть разбудить сонных.

Ожидая нападения, казаки сознавали, что наказывать их есть за что, и большевики это сделают. Но те не шли, не до этого было.

Неотступного внимания требовал Илецкий фронт, где казаки грозили парализовать Ташкентскую магистраль. На их разгром и уничтожение вышел отряд красногвардейцев под командованием Цвиллинга. Он оттеснил казаков от железной дороги на участок Илецкая Защита — Акбулак и преследовал до станицы Изобильной.

Видно было, как отступающие обозы белых потянулись из станицы. Отряд Цвиллинга решил занять Изобильную.

Пустые кварталы поразили могильной тишиной, как будто селенье вымерло. Отряд вступил в станицу. На церковной площади возник митинг.

Вдруг раздался выстрел бомбомёта. Из-за церковной ограды и со дворов ураганом вынеслись казаки — и со всех сторон пошла глухая, яростная расправа и быстро кончилась. Отряд Цвиллинга погиб весь вместе с начальником и штабом...

Расхождение между казаками и советской властью росло с каждым днём. Установить новую власть в станицах и посёлках было невозможно — организованные отряды казаков, подступавшие под

---

* 22 марта - по старому стилю. По новому - 4 апреля

самые стены Оренбурга, ежедневно заходили в сёла, истребляя всех причастных к сельским советам. Отряды в казачьих станицах, будто для охраны от большевиков, сами делали налёты на дорогу и на селения, принявшие чужую власть.

2.

Уже снег стал проваливаться на дорогах. На Урале лёд посинел, по нему сплошь натаяла вода. В зауральных станицах с нетерпением ждали разлива Урала и оврагов, отделяющих их от Оренбурга.

Если раньше жители Благословенной сетовали на реку, каждую весну преграждавшую путь в город с продажами, то теперь были рады разливу реки, что хоть на время делало жизнь менее опасной, давая вздохнуть полной грудью, а там, мол, что Бог даст, авось всё забудется, утрясётся и с большевиками помиримся.

Гора за Уралом на Форштадской степи стала обнажаться, а гора за Бердянкой на киргизской стороне почернела. Урал бурлил жёлтой, как глина, водой. У берегов лёд высоко поднялся синими широкими лентами. Вода блестела, бурлила, лёд ещё стоял, потом со страшным скрежетом стал ломаться и двигаться вместе с водой.

Дорога в Оренбург совсем прервалась, облегчив душу, но из пригородных и находящихся около железной дороги станиц и посёлков приходили далеко не радостные вести. Рассказывали, что большевики сжигают дотла казачьи станицы, а жителей вырезают, что как только половодье кончится, овражки стекут, поля высохнут, красные высадятся из вагонов на Меновом разъезде, что в семи верстах к югу от Оренбурга, и нападут на станицу, о чём в городе открыто говорят.

Надвигалась посевная. В это время всегда весело готовились к посеву: ремонтировали бороны, плуги, сбруи, подсевали на решетах зерно. Табуны уже паслись в поле, вечером хозяева встречали их, а они с диким рёвом носились вокруг станицы и по улицам, пока не набегаются, и приходили домой все в грязи, тяжело дыша, как вволю наигравшиеся дети. Теперь же заготовленные с осени паханые земли уже сохли, местами их можно было боронить, чтобы не упустить время, но туда никто не ехал, даже не готовились к посеву. Скот в табун не вгоняли — боялись, что его захватят большевики. Закрытый дома, он жалобно кричал, разламывал рогами плетни и разваливал стенки сараев.

Когда же кто-нибудь, озираясь, ехал в поле боронить, его зло высмеивали: «Какой рабочий стал! Уж не богатеть ли вздумал?

А не думает, что, может быть, завтра башлыки придут, да вязы* набок свернут, сукиному сыну. Уж дрых бы с бабой дома, да с неё на городскую дорогу почаще поглядывал!». «Да ведь чо бояться ему обчива двора-то, его бабы на всю енперию хватит», — говорили другие. А тот, если и хотел что-то посеять, вечером гнал вскачь домой, может быть, в последний раз переночевать с женой, которую большевики вот-вот заставят отвести на общий двор.

Настороженность замечали даже у животных — они с тоской смотрели хозяевам в глаза, лизали руки, плечи, головы. Табуны, если робко и выгоняли, то на киргизскую сторону, подальше от Оренбурга.

Не могли понять киргизы возникшей смертельной борьбы между русскими. Они поддерживали борьбу казаков против советской власти потому, что большевиков не видели, не знали их идей. В киргизских аулах отсиживались контрреволюционно настроенные казаки и офицеры, сагитировавшие киргизов на свою сторону...

Как только просохла дорога, к Веренцовым приехал Кулумгарей. Он был печален, похудел. Как и другие киргизы, он вместе с казаками тяжело переживал это время. Он сказал Веренцовой:

— Балкуныс просил твоя на моя кибитка. Там будешь жить. Бачлык придёт, твоя далеко будет, а Мишка и Степан тада тоже придот. Так казал мой Балкуныс. Вот вся, собрайся!

Мишке Кулумгарей сказал, что Балкуныс плачет, просит его приехать в гости.

— Што ты, што ты, Кулумгарей, разве можно думать сейчас о гостях? Мы каждый день к смерти готовимся, а ты в гости зовёшь...

Кулумгарей засобирался и быстро распрощался, он боялся долго оставаться в станице.

Внезапно приехал Дмитрий и вечером куда-то ушёл. Жене сказал, что уходит на всю ночь.

3.

Утром на следующий день ударили тревогу. Колокол звал всех на собрание. Мужской половине станицы объявили, что по приказанию казачьего командования и лично атамана Дутова станица Благословенная должна организовать отряд самозащиты и быть наготове к отпору при нападении на неё. Для этого казакам надлежит расположиться лагерем в поле, верстах в пяти от станицы,

* Вязы (казачье) - нижняя и боковые части лица, скулы

откуда и нести сторожевую службу вокруг, сосредоточив главное внимание на дороге в Оренбург. Предложение и распоряжение приняли единогласно.

Дома после собрания Пётр сказал, что в отряд Мишка не поедет — хватит и двух братьев, хотя и есть постановление: в отряд вступить всему мужскому населению, способному носить оружие. Пришедший Дмитрий поддержал его и добавил, что Мишке нужно остаться дома ещё и потому, что надо учиться сдерживать свой дурацкий, ничем не оправданный пыл.

— С удовольствием останусь, на черта нужен мне отряд, мне дома сидеть не дурно, я могу ещё посевом заняться, посею тебе и себе, — посмеиваясь, ответил Мишка.

На второй день без всякого строя по одному и группами на осёдланных и неосёдланных конях ехали казаки в степь на место сбора. Когда все собрались, и Мишкины товарищи не увидели своего друга, они сказали избранному начальнику отряда, что, если Мишка Веренцов не приедет, то и они уедут домой. После совета с Дмитрием начальник послал двух казаков, чтобы взять у Мишки коня с седлом. Дмитрий думал оставить Мишку пешим, лишить возможности служить.

Мишка копался во дворе, когда в ворота въехали двое. Не сходя с коней, они крутились посреди переднего двора, а увидев Мишку, закричали:

— Эй, трус! В отряд струсил ехать? Под бабий подол хочешь спрятаться? Вот начальник отряда прислал нас отобрать у тебя коня и седло.

Мишка нахмурился, подошёл к ним:

— А разве вы не знали, что я трус?

— Да нет, до сих пор не слышали.

— Коня и седло я не дам, а поеду сегодня сам, — Мишка, не желая больше говорить, ушёл на задний двор.

Довольные исходом, казаки с шутками выехали со двора, а в отряде передали Мишкин ответ начальнику. Тот, смеясь, пошёл к Дмитрию Степановичу:

— Митя, твой братан не дал ни коня, ни седла, а сегодня пожалует собственной персоной. Он у вас исключительно забавный, я давно присматриваюсь к нему. До войны его не знал, а когда приехал с фронта как делегат войскового круга, сразу обратил на него внимание и откровенно тебе скажу, он расположил меня к себе. Уверен, он пойдёт дальше нас с тобой.

Дмитрий задумался, ему не льстили эти похвалы, он не хотел, чтобы брату грозило то же, что и ему с Петром. Он печально по-

качивал головой в знак согласия, на сердце же было тяжело, но сделать он уже ничего не мог. Казаки могли негодовать: офицеры, мол, попрятали своих родных, а нас заставляют проливать кровь.

И Пётр не находил себе места, знал, что, если придётся отбивать наступление из Оренбурга или наступать, Мишку поминай, как звали. Он какой-то сумасшедший, к тому же неопытный.

Мишка пришёл со двора невесёлый: не хотелось ехать в отряд, он не видел в этом ничего, что походило бы на действительную службу. Он подошёл к матери и тихо сказал:

— Мама, собери меня, я сейчас еду, а то уж вороны прилетали коня с седлом отбирать, а я лучше сам. Коня им отдать — они его замучают.

— Миша, да отдай им коня, а сам останься. Куда конь твой денется? Поездят да приведут. Ну, а не приведут — не надо, а сам будешь дома, — здраво рассуждала Елена Степановна.

— Ну, я пойду к тяте, что он скажет, — процедил Мишка.

Степан Андреевич лежал в горнице на печке-голландке. Наташа пряла. Отец приподнялся на локоть, вопросительно смотрел на Мишку.

— Тятя, я сегодня поеду в лагерь. Уже приезжали — отбирать коня с седлом, начальник прислал. Ругались, трусом обзывали. Это мне хуже, чем ножом по горлу. Скоро и тебе старики проходу не дадут, все будут смеяться, — сетовал Мишка.

— То есть, как это коня отбирать? — кипятился, вставая Степан Андреевич, — ну уж нет, чёрта им в зубы, а не коня! Наташа! — сказал он снохе, — иди, собирайте с матерью Мишку в отряд, после обеда он уедет.

Наташа, не говоря ни слова, пошла в другую комнату к свекрови. А у самой сердце разрывалось, и слёзы заливали глаза.

— Вишь, не хочет, чтобы его назвали трусом, — сказала Наташа свекрови. — Да оно, конечно, разве легко отдать коня в чужие руки. Да и папаша-то никак не хочет отдавать, а посылает самого.

Елена Степановна замахала руками, побежала в горницу с криком:

— Пусть смеются! Если надо, то пусть и корову в придачу заберут! Парень дороже всей скотины и всего богатства. А ты, старый вояка, — напала она на Степана Андреевича, — поезжай сам. Ты забыл, как про него рассказывали казаки, как приехали из набега? А-а-а-а, забыл, долго ли такому молодёхонькому голову сломить, он везде лезет, как телёнок. Не поедет, да и всё тут. Пусть берут коня!

Отец и сын опешили. Степан Андреевич в упор смотрел на

жену, не мог возразить против её доводов. Мишка стал успокаивать мать:

— Мама, страшно не хочется ехать в отряд, но ведь рано или поздно, а возьмут меня, и я без коня, пешком, а вынужден буду туда идти, да с позором, как трус, и там уже будут все ненавидеть меня, смеяться, нагайкой, мол, тебя выгнали. Да ведь и неизвестно, где надёжней уцелеть: там или здесь. В одну прекрасную ночь большевики сделают набег на станицу, а отряд в поле и знать не будет, как они здесь на твоих глазах меня изрубят на куски или повесят — много найдётся указать на меня пальцем, что я был в набеге и брат офицера. Я боюсь даже за тятю, ему надо ночевать в поле, поближе к отряду или вон у Кулумгарея в киргизах, а то он может поплатиться за нас троих. Собирай-ка лучше меня, мама, ни о чём не думай, так тебе лучше будет. Не узнаешь, где лучше, а где хуже, смерть не обойдёшь, не объедешь.

Степан Андреевич всё время жестикулировал в знак согласия с доводами сына.

Тяжело вздохнув, со слезами на щеках Елена Степановна пошла, нога за ногу, собирать сына. Наташа отправилась следом.

4.

Мишка оказался в одном взводе с бесшабашным и самоотверженным Митькой — сослуживцем брата Петра по восьмому Оренбургскому полку. Как казака молодого набора Митьку мобилизовали во время войны, в полк он попал с пополнением.

Митька сдружился с Петром Веренцовым, хотя тот был намного старше его и с восьмым полком пришёл в Финляндию в первые дни войны, успев отслужить четыре года действительной службы. Выдержанный, уравновешенный, Пётр зрело смотрел на жизнь. Митьке же вообще не нравилась спокойная, без острых ощущений служба.

В Финляндии казаки скоро нашли общий язык с матросами, вместе пьянствовали, наводили ужас на публику в общественных местах. Митька по нескольку дней не появлялся в казарме, ночуя с новыми приятелями. И всё же ему страшно хотелось на фронт. Не заслуги и кресты тянули туда, а разгульная с мародёрством жизнь, как её, по крайней мере, представлял себе Митька. И случай не заставил долго ждать.

Пируя со Свеаборгскими матросами, они решили покататься на подводной лодке. В Финском заливе пьяные подводники потеряли мину. От страха перед трибуналом Митька бежал на фронт, где вступил в партизанский отряд, действующий в тылу у немцев.

То и дело отряд попадал в окружения, теряя при прорывах раненых товарищей, которых немцы тут же добивали.

Митьку захватили в плен после того, как под ним убили коня. Немцы выделили наряд, чтобы вести Митьку на допрос, после чего обычно вешали или, в лучшем случае, расстреливали. Вопреки обычаю, ему не связали рук, чтобы привязать другой конец веревки к седлу конвоира. Когда четверо пеших и двое конных повели его, Митька, ни с того, ни с сего, расхохотался над такой небрежностью противника. Удивлённые немцы тоже рассмеялись над весёлым казаком, которого как партизана ждала казнь. А Митька буркнул себе вполголоса: «Я вам сейчас хвост покажу...»

Лишь только тронулись с места, казак прыгнул в кусты и через мгновение оторвался от конвоя. Конным мешал преследовать частый кустарник, пешие потеряли его из виду, кроме одного, четыре раза стрелявшего по нему на расстоянии нескольких шагов. Неведомая защита закрывала Митьку. Наконец он попал в болото, где увяз выше колена. Немец сквозь кусты выбирался на чистое место. Митьке грозила гибель, но болото оказалось узкое, он быстро перелез его, немец выстрелил и сам увяз одной ногой, вылез и преследовать не стал. Митька присел передохнуть и увидел, что на одной ноге нет сапога — снялся в болоте. Митька выругался, скинул и другой сапог, хватил его о дерево... Грязные портянки захватил с собой, после обёртывал ими ноги, чтобы не кололо, и обвязывал лыком или лозами-однолетками.

Он бродил двое суток, был недалеко от фронта, который вполне мог перейти ночью и присоединиться к русским войскам, но он искал свой партизанский отряд, найти который было труднее, чем иглу в сене.

Ночью и днём Митька наталкивался на неприятельские посты и конные разъезды, но убегал от них, как заяц от пешего охотника. На третьи сутки он наткнулся на посты своего отряда, чуть не застрелившие его, — он был в шинели убитого саксонца, у которого удалось разжиться сдобными сухарями и ромом, так что не успел как следует протрезвиться. После залпа, данного по Митьке постовыми отряда, он в бешенстве выругался, потрясая в воздухе кулаками. Постовые узнали своего и опустили винтовки.

Друзья встретились вновь, и потекла прежняя жизнь. Не одна польская, еврейская или немецкая женщина грозила вслед этим громилам и проказникам, от которых ни молитвой, ни проклятьями спасенья не было. Некоторые после искусственных проклятий приставали к отряду и не хотели уходить, их приходилось силой оставлять дома, чтобы не подвергать опасностям войны.

Когда осенью 1917 года прекратились военные действия на позициях, отряд от пленных немцев узнал об этом и в тёмную, холодную, дождливую ночь присоединился к русским войскам в районе Молодечно-Вилейка. Позже Митька с донскими казаками Щегольковым и Платовым пробрался под Петроград в армию Корнилова, наступающую на столицу. А оттуда — на Дон, когда узнали, что там идёт какая-то война.

Как только дошли слухи об Оренбургском фронте, Митька двинул восвояси: «хоть здесь ещё немного повоевать». Его ждали домой, а он почти под самыми стенами Оренбурга в тридцати километрах от дома, в морозные январьские ночи шёл с винтовкой наперевес в атаки на станциях Платовка, Гамалеевка, Общий Сырт, Каргала на советские части Кобозева. Около четырёх лет Митька не был дома, но по своему желанию примкнул к офицерским и кадетским частям, защищавшим Оренбург, хотя, как и другие, был пропущен через фронт Красной Гвардией под честное слово.

Здесь-то Митька и встретился со своим станичником Дмитрием Веренцовым, который командовал офицерско-кадетской частью, с ним вместе отступал до самого Оренбурга. Вместе они и явились с фронта в станицу в одну и ту же январьскую ночь.

5.

В набеге на Оренбург Митька заметил пылкость Мишки Веренцова. Как только тот появился в отряде, Митька подбежал к начальнику просить зачислить Михаила Веренцова в первый взвод, где был сам.

Переступив порог, Мишка услышал голос Митьки из глубины юрты:

— Михаил! Михаил! Эй, Веренцов, иди сюда, вместе будем! Пётр ваш вот тоже здесь поместился, — обманывал Митька. Пётр был в штабных юртах. Справа и слева Мишку звали его товарищи и сверстники, он стоял у дверей, смотрел на всех новичком. Митька вскочил, подбежал к Мишке, схватил за руку и повёл в глубину юрты, как в могилу...

Они подружились и дали друг другу слово всюду быть вместе.

В первую ночь Митька рассказал приятелю, как в Финляндии в состязаниях по джигитовке лучших джигитов восьми полков разных казачьих войск взял первый приз оренбургский казак Пречистенской станицы Анисимов Макар, а по уколам пикой — «наш Благословенский» Щёголев Михаил. Хотя Мишка знал об этом от брата Петра, но слушал с интересом, особенно о приёмах,

какими пользовался Анисимов.

— Да, неплохо бы так джигитовать, как Анисимов, — заметил он.

— В разъездах будем вместе, я много тебе расскажу, Михаил, о службе в партизанском отряде в тылу у немцев, — сказал Митька, — а сейчас давай спать. Под городом в разъезде, может быть, встретим наших станичников-большевичков, которые убежали к красным. Ух, уж я бы над ними потешился, — скрипнув зубами, крепко выругался он.

Митька уже спал, а Мишка лежал и думал об ушедших из станицы в Оренбург трёх казаках и завидовал им. Казаки эти, осудив действия станичников против советской власти, ушли в одну из тёмных весенних ночей. Если бы они попали в руки станичников, они были бы жестоко казнены.

Мишка связывал город с долгожданной встречей с Галей. Ведь путь от Калуги до Оренбурга открыт и, возможно, она теперь в Оренбурге у его сестры. Не знал он, что сестра умерла вскоре после набега казаков на Оренбург, Галя же ехать сюда только собиралась.

Иногда Мишка принимал решение сбежать в Калугу, но другого пути, в объезд Оренбурга, он не знал. Пройти же там было крайне рискованно — расстреляют по наговорам тех же станичников как брата офицера и за родню. Что там, могут заподозрить даже в шпионаже, и тогда поминай, как звали. Но не столько расстрела боялся Мишка, как того позора для всей семьи во главе с братьями — все были бы заклеймлены за изменника Мишку. Долгими ночами обдумывал он будущее, но приходил лишь к тому, что до поры до времени служить в этом отряде всё-таки придётся.

6.

Охраняя станицу от вторжения советских войск, отряд, подобно другим формированиям, нападал на Оренбургско-Ташкентскую железную дорогу и вылавливал едущих из Оренбурга. Взятых тщательно допрашивали, нередко ночами они бесследно исчезали. Почти каждого задержанного, следовавшего с германского фронта домой через Оренбург, подозревали в шпионаже и расстреливали.

Отряды самозащиты станиц и посёлков общего руководства не имели, действовали самостоятельно, разрозненно, походили скорее на шайки, чем на боевые единицы. Подгородние станицы Бердская и Нежинская — без естественных рубежей защиты их от прямой атаки из Оренбурга — отрядов не создавали, но из них

ушли все, не принявшие новой власти или прегрешившие перед ней, и примкнули к другим отрядам.

В этот год дорога на Оренбург заросла бурьяном и подорожником, как будто город был перенесён на другое место или поголовно вымер. Между обозлившимися казаками и красными творилась невероятная жестокость, особенно там, где в противниках узнавали своих станичников. Взятые в плен не просто расстреливались, а жестоко казнились.

Благословенский отряд пока не входил в соприкосновение с советскими частями под Оренбургом, но столкновение назревало. Отряд пока лишь высылал к городу разъезды и пешие разведки, а оттуда посылались усиленные конные группы для защиты железной дороги на участке Оренбург-Акбулак.

Только что рассвело, а отряд был уже на конях, построенный около штаба. Он направлялся куда-то на киргизскую сторону для разведки возможного появления противника.

Начальник отряда Скрипников отозвал взводного первого взвода и что-то ему тихо сказал. Взводный вызвал из строя Митьку, дал распоряжение. Радостный Митька подъехал к другу:

— Сегодня едем в разъезд под город, — возбуждённо сказал он, — выбери хороших четыре человека, поедем вшестером.

Мишка выехал из строя вперёд, чтобы видеть всех, указывал нагайкой на тех, кого вызывал. Те выезжали молча и не без удовольствия, все молодые, как Мишка. Четвёртого показал нагайкой Митька — фронтовика на чёрном, как смоль, красивом коне: «Ты, Курмай, поедешь с нами, я тебя не оставлю», — уличной кличкой назвал он казака. Тот с улыбкой выехал из строя.

Казаки переменным аллюром направились к Оренбургу, к деревне Карачи в семи верстах от него, близ разъезда Меновой. Деревня была усиленным советским заслоном.

В двух верстах разъезд остановился. Ближе сходиться не разрешалось, чтобы не рисковать в пятнадцати верстах от основных сил.

Казаки, отстоявшие свои сутки и направляющиеся в отряд, сообщили, что вчера в Карачах заметили какое-то движение, как видно, конницы, но близко не подъезжали, как и было приказано. Распрощавшись со сменным разъездом, Митька приказал спешиться и отпустить подпруги, позвал Мишку к себе. Держа в поводу коней, они отошли в сторону.

— Как думаешь, Мишка, поедем с тобой в Карачи? Ведь сутки сидеть без дела, с ума сойдёшь. А там что-нибудь да увидим.

— Как я думаю? Я тоже так думаю, — согласился с приятелем Мишка.

— Ребята, вы останьтесь здесь, а мы проедем ещё немного вперёд, — сказал Митька. — Мы сейчас вернёмся. Ты, Вася, останься за старшего, — обратился он к казаку на карем коне.

И приятели поскакали.

7.

Солнце подходило к полудню, сильно жгло землю. Ковёр непаханой целины ещё не потерял разноцветья. Кружились над головой, звонко веселились жаворонки, где-то тыркали стрепеты. Карачи в полуверсте зловеще молчали без признаков жизни.

Вот первые дворы рядом... Какая-то женщина торопливо перебежала улицу, по-над домами пробралась за крайние дворы, отгородившие её от деревни. Она оглянулась назад, посмотрела по сторонам и тревожно замахала обеими руками, чтобы всадники поскорее убирались прочь. Друзья переглянулись. Махавшая юркнула за дом и скрылась во дворе. Оба машинально, не говоря ни слова, повернули коней обратно, как будто стыдясь противиться нечаянной просьбе.

Когда стало ясно, что белые повернули назад, откуда-то с задних дворов раздался выстрел, потом залп. Одновременно из-за домов выскочили восемь всадников и погнались за казаками, стреляя на скаку. Погоня продолжалась с версту, и лишь когда навстречу появились скакавшие на помощь четыре всадника, оставленные на заставе, красноармейцы повернули обратно в Карачи, на окраину которых выступила кавалерия с полста всадников. Казачий разъезд вернулся на своё место. Предупреждение женщины спасло приятелей от гибели.

От обеда Мишка отказался и лёг спать. В последнее время он не мог освободиться от тяжёлого настроения, не находил себе места, даже лишился аппетита. Подобное он испытывал у сестры при отступлении из набега.

Как только Мишка заснул, ему привиделось, что он стоит на зелёном огромном поле, впереди его пропасть, дна которой не видно в тёмной глубине. Мишка пристально смотрит на такое же огромное поле по ту сторону пропасти. Издалека с поднятыми для объятий руками бежит Галя. Перед пропастью она не остановилась, закружилась в воздухе, как бабочка, и медленно полетела на дно, исчезла в тёмной пучине. Мишка с плачем и криком бросился к этой пропасти и чуть не сорвался с кручи. Если бы на

дне видна была Галя, он бросился бы за ней. Он с рёвом схватил себя за чуб обеими руками. Разбудил его удивлённый и взволнованный Митька.

— Миша, Миша, ты что так кричишь?

Мишка сел и без стыда продолжал плакать, как ребёнок, слёзы залили ему лицо.

Митька присел на корточки перед другом. У него были братья, но он никогда не испытывал к ним такой жалости, как сейчас к расстроенному Мишке, которого успел-таки полюбить.

Подошедших было на крик казаков Митька отослал обратно, сам вытирал Мишке слёзы.

— Ну, расскажи хоть, в чём дело? — спросил Митька товарища, когда тот пришёл в себя.

— Ох, Митя, гадкий сон приснился. — Мишка, смущаясь, неловко рассказал о Гале, о себе, о только что увиденном. Митька задумался, сон произвёл на него впечатление, но, чтобы развеселить друга, он сказал:

— Брось, Михаил, это всё ерунда, о бабе казак не должен плакать. Стенька Разин не плакал и нам не велел.

— О-о-о, ещё как заплачешь, если припечёт, как следует. Стенька дурак был, у него сердца не было, — возразил Мишка, — нет, мне баб жалко бывает, как хочешь, ругай меня. Мужчину не пожалею, убью, если надо, а бабу пальцем не трону.

Глава вторая

1.

Уже более полугода не было связи Калуги с Оренбургом, письма не доходили. Изредка газеты сообщали о событиях под Оренбургом. Говорилось, что банды казаков сковали город непрочным кольцом, которое разрывается при атаках советских частей. Тем не менее связь города с внешним миром парализуется. Атаман Дутов отступил далеко внутрь территории войска и через своих агентов-офицеров руководит организацией белых банд.

Через знакомых москвичей Галя знала, что связь Москвы с Оренбургом, пусть нерегулярная, но есть. Она решила ехать в Москву, чтобы оттуда пробраться в Оренбург, а там до Миши рукой подать — с каждого высокого здания или колокольни видно не только станицу, но и дом Веренцовых на высоком берегу Урала. Галя решила любой ценой перетащить Михаила в Калугу от этой

кровавой вакханалии с ежедневными жертвами с обеих сторон.

Родители не разделяли намерений дочери: время неспокойное, отношения их неясны, Михаил женат. Как это бывает, решил случай. Отца Гали, Бориса Васильевича, арестовали как крупного собственника. Он сумел передать домой записку, в которой беспокоился за судьбу семьи и советовал дочери уехать из Калуги, неплохо, если и в Оренбург, под защиту твёрдой руки атамана Дутова с казаками.

Время отъезда Гали настало. Она наугад послала вперёд письмо — может быть, дойдёт. Она писала: «Мой милый, мой желанный, мой родной, сердце изныло по тебе. От тяжёлых вздохов уже болит грудь. Но не такое сейчас время, чтобы дождаться тебя. Я поеду к тебе, даже, если бы сказали, что я погибну. Едва ли ты получишь это письмо прежде, чем я буду уже на месте, если судьба не сведёт в могилу, разлучая с тобой на этом свете. Умирая, буду называть твоё имя. Я не раскаиваюсь, что всё поставила на карту, если и придётся заплатить за это жизнью, то я её отдам, это не дорого...»

Через день залитая слезами Галя прижала к груди мать и крепко целовала в последний раз. В отошедшем поезде она уже не видела, как на вокзале мать отливали водой, отхаживали скипидаром и спиртом...

В Москве Галя попала на сибирский поезд, а в Самаре с огромным трудом удалось упросить старуху-доктора взять её с санитарным поездом, направляющимся на Оренбург. Старушка принялась было убеждать Галю не делать этого, не подвергать себя опасности поездки под Оренбург, где поезд могут захватить казаки и тогда молодой Гале конец. Но Галя при словах о казаках воодушевилась, сказала, что она — казачка, и если поезд захватят казаки, то не только она сама спасётся, но и спасёт тех, с кем будет ехать. Старушка-доктор с испугом посмотрела на Галю и, попятившись, сказала: «Ну, ладно, Бог с тобой, поедем, моя милая красавица».

Обрадованная Галя схватила чемодан и влетела в вагон, заставленный ящиками с медикаментами, около которых суетились доктор-старик и пожилая санитарка. Старушка провела Галю в вагон, представила коллегам как свою знакомую.

Удивлённый доктор попросил Галю пройти вперёд.

— Нина Николаевна, — обратился он к коллеге, — давно вам знакома эта молодая женщина?

— Да... Не так уж давно... Но я её хорошо знаю, — сказала та с запинкой, покраснев и отвернувшись.

— То-то же, а незнакомых брать с собой на территорию воен-

ных действий опасно вообще, за это могут жестоко наказать, — заметил доктор. — Вы откуда же и куда едете, если это не секрет? — спросил он Галю.

Та укладывала что-то в чемодане, без замешательства ответила:

— Я калужская, а замужем за оренбургским, еду к нему. Никак не могла дождаться спокойного времени. Была у родителей и никаких известий не имела о муже, а теперь решила при любых условиях, любой ценой добраться до Оренбурга. Я сейчас готова пойти на смерть, но ехать в Оренбург.

— А не казак ли ваш муж? — робко шёпотом спросил доктор.

— Да, мой муж казак, из молодых казаков, но его знают многие, так что, если встретятся нам казаки, я беру на себя сохранить вас от любых неприятностей, — улыбаясь, с воодушевлением говорила Галя.

Доктор не знал, что делать: избавиться от опасной спутницы, попросив её поскорее покинуть вагон, или радушно принять на случай защиты от этих степных пиратов-казаков, способных напасть на поезд в любую минуту и порубить головы пассажирам...

Видя колебания доктора, Нина Николаевна поспешила вмешаться, расхваливая Галю как давнюю знакомую. Все согласились взять попутчицу. В этот день Галя была, как никогда, весёлая, жизнерадостная.

Отправляющиеся к Оренбургу ждали неизбежного нападения на поезд и потому были в таком настроении, будто их посылали на казнь. Но в обществе Гали все вскоре повеселели, словно опасность миновала, и ехали они не к Оренбургу, а куда-то к Москве, домой.

Поезд был из пяти вагонов: санитарного с медикаментами и обслугой подвижного госпиталя, одного опломбированного, вагона-теплушки и открытой платформы с двадцатью-тридцатью красноармейцами — для охраны. В двух местах платформы что-то было покрыто брезентом, там виднелись пулемёты. Пятый, самый ценный вагон, гружённый снарядами и патронами, замыкал состав — стены в нём были обиты ватой.

Поезд шёл всю ночь. К утру он достиг станции Переволоцк, где начинался район действия белоказачьих отрядов.

2.

Галя не спала всю ночь, сидела у раскрытого окна, смотрела, как мелькают придорожные огни. Она с нетерпением ждала предстоящего дня, казалось, что в этот день она безусловно перейдёт

через какую-то грань, отделяющую одну жизнь от другой, и после полудевичьей жизни сделается семейной, замужней дамой, женой такого мужа, какого нет ни у одной женщины на свете. А главное, она должна увезти Мишу из этих кровавых мест куда-нибудь подальше, на простор мирной жизни. Она не отходила от окна, напряжённо смотрела в даль уже начавшихся казачьих степей.

Когда два года назад Галя ехала из Оренбурга в Калугу, на каждой станции можно было видеть казаков в фуражках с голубым околышем, а сейчас не видно ни одного, даже малолетних казачат. Что это за время настало? Какая грань легла между казаками? Почему их отторгнули, какие интересы скрестились у казаков с неказаками и кому это нужно? Почему их все так бранят в центральных губерниях, называют головорезами, контрреволюционерами? Нет, они не знают казаков, вот поэтому так говорят, а я их знаю значительно больше других... Так рассуждала Галя, подъезжая к станции Общий Сырт. Поезд остановился. Нина Николаевна вышла из вагона и вернулась.

— Батюшки, голубчики мои, что было на станции сегодня ночью! Казаки делали налёт на станцию, до сих пор кровь не убрана, а убитых только что прибрали. Какая бесчеловечность, Боже мой! Сейчас там рассказывают о жестокостях, какие учинили здесь казаки.

Все испуганно насторожились. Каждый думал об Оренбурге, окружённом гнёздами казачьих отрядов. Одна Галя была спокойна, ей казалось, что при встрече с любым казаком тот сразу узнает в ней жену Михила Веренцова, которого, по её мнению, знают все. И если ей сегодня не удастся встретиться с Михаилом, то с сестрой его она увидится обязательно. В ней всё длилось возбуждение, сердце, казалось, пело...

Поезд шёл, колёса монотонно выстукивали по стыкам рельсов, рядом с Галей сидела Нина Николаевна, она всматривалась в Галю, как будто за сутки не вполне рассмотрела её.

— Галочка, вы сегодня какая-то особенная, странная, у вас в глазах непонятная глубина. Как будто вы сегодня переходите в другой мир и радуетесь этому. Мне понятно, что вам хочется поскорее оставить нас и всю окружающую обстановку, но мне сейчас очень жаль как-то расставаться с вами, как будто я жила с вами несколько лет, так привыкла к вам. Мне кажется, мы никогда не увидимся, а я так не хочу разлуки...

Галя смотрела в одну точку, в глазах её были слёзы.

— Нина Николаевна, я сегодня, возможно, с мужем не увижусь,

может, удастся встретиться с его сестрой, которая живёт в Оренбурге, не откажите пойти со мной к ней. Мы будем очень радушно приняты, — говорила Галя и непрерывно смотрела в окно, как будто её оттуда кто вызывал. Наконец она изменила тон и задумчиво сказала:

— Нина Николаевна, если со мной что случится, не забудьте мой адрес, чтобы сообщить родителям. Я что-то сегодня чувствую такое состояние, какого не помню. Мне кажется, такое настроение бывает лишь раз в жизни, после которого уж больше не будет ничего.

Она замолчала и прижалась лбом к окну.

— Бог с вами, что вы, милая моя, такая цветущая да красавица, вы должны только начинать жить. Разве можно такие мысли допускать? Я старая, да и то мне жизнь нужна — посмотрите, какая природа кругом: зелень, цветы, всюду птицы поют, разве можно говорить о смерти? Что вы, Галочка! Вот встретите мужа, вам только радоваться теперь...

— Нина Николаевна, милая, время сейчас такое: жив человек, порхает, как птичка, а через мгновение его уже нет.

Галя прервала разговор — где-то грохнуло орудие. Покачиваясь, женщины сидели друг против друга. Доктор, прислонившись к стенке вагона, сидел на полу.

Вдруг затрещали винтовочные выстрелы, поезд остановился. Путь впереди был разобран. Из-за пригорка показалась казачья цепь. Скачущие стреляли на скаку. Все легли на пол. Галя напряжённо смотрела в окно, стараясь разглядеть нападавших, а среди них — Веренцова. Спутники упрашивали её опуститься на пол, но она не могла этого сделать. Казачья цепь была уже недалеко, отчётливо виднелись голубые околыши на фуражках, по ним хлестали с платформы из винтовок, пулемёты пока молчали.

От волнения и напряжённого взгляда слёзы застилали у Гали глаза, она быстро их вытирала и смотрела. Вдруг ей показалось, что, направляясь к вагону, скачет Мишка. С криком: «Миша! Миша!» — Галя выбежала в тамбур, открыла входную дверь, кричала: «Миша! Миша!» — махала рукой казаку, похожему на Веренцова. Её умоляли вернуться в вагон, но она не слышала. Затащить её в вагон силой никто не решился, было опасно. Галя стояла на пороге открытой двери в белом с цветами платье, как майская бабочка, и всё звала и звала.

С платформы несколько раз кричали, подавали знак рукой, чтобы она зашла в вагон, но она не могла оторваться от места, на

котором стояла, непонятная сила пригвоздила её к полу. С платформы послышались угрозы и ругань. Вдруг у Гали зазвенело в ушах и голове, глаза затянуло красной пеленой, она попятилась и потеряла сознание, тихо падая на пол тамбура. С платформы по казачьей цепи застрочили два пулемёта. Казаки быстро развернулись, и через несколько минут скрылись за пригорком. Стрельба прекратилась.

Нина Николаевна выбежала в тамбур. В большой луже крови лежала Галя. Она была мёртвая. Пуля вошла в правый висок и вышла выше левого уха.

Нина Николаевна упала на пол вагона и рыдала до Оренбурга, куда поезд пришёл уже вечером...

Когда гроб, соскользнув с верёвки, упал на дно могилы монастырского кладбища, Михаил Веренцов был в трёх верстах от Оренбурга...

Сбылись Галины предчувствия, её обещания. «До смерти буду стремиться к тебе», — говорила она Мишке. «Схорони меня на монастырских кладбищах...» — просила, как бы шутя. «Буду умирать — буду называть твоё имя», — писала ему...

3.

Своими налётами на железную дорогу казаки ускорили решение командования Оренбургского гарнизона ликвидировать казачьи отряды по отдельности. Отряды разбивали, а непокорные станицы сжигали. Подходила очередь Благословенскому отряду по-настоящему столкнуться с советскими частями.

В штабе отряда с вечера знали, что под утро готовится атака Благословенной со стороны города. Отряд стоял на левом берегу Урала, в трёх верстах от станицы. Застава донесла, что на рассвете красные силой в полтысячи кавалеристов выступили из Карачей и Кузнечного посёлка и идут цепью по направлению к Благословенной, длина цепи вёрст семь.

Быстро подали команду «по коням», «садись», и отряд в сто тридцать четыре всадника карьером выскочил из леса и пошёл к Оренбургу, рассыпаясь в цепь на ходу.

Красноармейская часть уже была видна, она шла фронтом по Меновнинскому выгону. Коней красноармейцы вели в поводу. На расстоянии версты они дали залп по казакам, те остановились, спрыгнули с коней, стали отходить, ведя за собой коней.

Казаки готовились к атаке. Было приказано отходить до низа оврага, что в двух верстах от станицы. По советской цепи пере-

давалась какая-то команда. Видимо, и там готовились атаковать. Наконец, казачья цепь спустилась в намеченный овраг.

Сейчас должно случится то, чего Мишка не испытывал никогда в жизни. Сейчас он вместе с другими бросится на противника в открытом поле, в открытом бою. Жертву ли свою, своего ли убийцу он увидит в лицо, искажённое от страха или с надменной усмешкой при встрече с таким неопытным противником, как Мишка. Сегодня он впервые сталкивается с врагом по-настоящему, получает боевое крещение. Кому он сегодня противопоставит свою силу, лихость, ловкость и жизнь? Его Мишка увидит в тот момент, когда поединок станет неизбежным. Противник будет не иначе как из служивших людей, из фронтовиков, видавших виды, может быть, даже казак, перешедший к красным. Стрельба со стороны красных довольно меткая, как видно, из умелых рук. У него мурашки побежали по телу. «Свернут они мне вязы, их мать. Ей Богу, свернут», — подумал он.

Цепь противника была хорошо построена, ровной линией и точным интервалом. Отчётливо было слышно, как там происходила какая-то перекличка по цепи, вероятно, передавалась команда или напутствие. После выстрела со стороны противника, звук которого походил на хлыст большого кнута, сейчас же летела пуля над головой, или резала землю, недолетая, и со страшным жужжанием какого-то смертоносного шмеля перелетала рикошетом через голову... Конь Мишки строго поднимал уши, вертел головой, оглядывался и теребил зубами за рукав рубашки, как бы просил поскорее уехать домой, в станицу, видную, как на ладони.

Отступая, люди спугивали тьму комаров, мошек, слепней — они вились над животными и людьми, жаля и кусая. Не обращая внимания на жужжание пуль, жаворонки не умолкали, иногда вылетали из-под самых ног и тут же скрывались в ковыле. Птицы пели и порхали над головами. Майская трава была в самом расцвете. Ковыль-космач, резун-острец и пырей, как море, волновались под ярким солнцем на небольшом ветерке.

Сердце сжималось в крепкий, горький комок, левая сторона груди болела, а лёгкие не могли набрать воздуха, их как будто сдавило клещами — так тяжело было на душе. Радость степной жизни вокруг, порханье и щебетанье птиц ещё больше щемили сердце и повергали в грусть. Не чувствовалось зноя, как будто не грело солнце, тело била дрожь от неведомого холода. В дни радостные, счастливые тяжелее ощущается приближение смерти, чем в дни скорбные, в дни несчастья и обиды.

Господи, как хорошо было тогда, в день объезда поля с Галей! Или это был сон? Тогда была осень — ни одного зелёного кустика, ни одной птицы, но настроение бурлило, прорывалось наружу: сухая ветка, колючка, полынь — свежо пахли и вызывали радость. Оренбург, хорошо видный с горы, рождал такое чувство, как будто город видел их, звал к себе и предлагал им радость. Хотелось скакать, смеяться, они были самыми счастливыми в мире. А сейчас, Боже мой, что случилось? Что за поле? Что за трава? Что за весна? Даже цветы не пахнут, жаворонки вызывают только слёзы. Даже диск солнца совершенно мутный, на него можно смотреть затуманенными тёмной печалью глазами, не моргая. Бывало, едешь к станице, всё кажется: слишком медленно идёт конь, хочется спрыгнуть с телеги и бежать скорее вперёд, а сейчас... вот станица недалеко, а идти туда не хочется, как будто там нет отца и матери, нет родных, а есть только враги. Сейчас хочется впрыгнуть на коня и во весь дух скакать мимо дома, прямо на киргизскую сторону, дальше, чтобы не возвращаться сюда никогда...

На дне рокового оврага раздалась команда: «Садись!», а вслед за этой командой закричали по цепи: «Шашки вон, готовсь к атаке!»

Красноармейскую цепь не видно, её скрывает огромный бугор, отделяющий овраг от равнины. В последний раз больно сжало сердце, а потом, как будто клещи разжались, и на душе стало весело и легко, как скорбящему перед смертью делается легче. На мгновение Мишка вспомнил Галю, вздохнул и подумал: «Э-э-э, убьют, так убьют, всё равно едва ли удастся с ней увидеться из-за этих чертей большевиков». Он крепко сжал зубы, в нём полыхнула ненависть к красным.

В центре казачьей цепи вперёд выскочил начальник отряда Скрипников, он вертел над головой обнажённым клинком и что-то пронзительно кричал. Во многих местах из-за бугра, перед самым носом показалась цепь красных. Кавалеристы беспечно наступали, полагая, что казаки будут отходить до станицы, но когда поднялись на бугор перед оврагом, увидели, что те сейчас выскочат в атаку. Командование красных только что получило донесение о том, что с юга из глубины степей карьером приближаются две большие группы казаков, грозящие ударить во фланг и тыл. Спешно было приказано отходить. Казаки с криками «ура» рванулись вперёд, выскочили из оврага и грянули на неприятеля. Конь Мишки взвился на дыбы, впрыгнул на метровый яр и понёсся вперёд. Мишка услышал сзади голос казака-фронтовика Колесникова:

— Мишка, обожди, сейчас пулемёт тебя срежет.

Справа за бугром остановилась впряжённая в четвёрку лошадей двуколка с пулемётом «Максим» и тремя пулемётчиками, они торопливо налаживали пулемётную ленту.

Мишка остановился, заметил отсутствие Митьки, с которым договорился всегда быть вместе. Теперь он рассчитывал на Колесникова, но и тот поскакал куда-то в сторону по распоряжению взводного. Митька был в центре отряда около начальника, вызванный туда перед атакой.

Мишка стегнул коня и поскакал к пулемётной двуколке. Рядом с ним скакали люди, смотреть на них было некогда. Внезапно засыпала пулемётная дробь. От резкой заглушающей стрельбы стало больно в ушах. Пули просвистели выше головы, потом в нескольких шагах спереди коней взрыли землю, подняли клубы пыли вместе с клочками срезанной травы, опять просвистели над головами, потом — недолёт. Так менялось несколько раз. Счастливы атакующие, попавшие на плохого, растерявшегося пулемётчика. Наконец капризный «Максим» выкинул какой-то фокус, дал задержку, которой пулемётчик устранить не мог. Всё трое спрыгнули с двуколки и побежали за своими.

В цепи красных, растянутой на семь вёрст, не могли быстро передать команды к отходу. В начале схватки в цепи почти не слышали команд младших командиров — усугубив тяжёлое положение, рядовых предоставили самим себе, хотя они храбро сражались в одиночку.

От командования красных нужно было одно: строжайшим запретом удержать кавалерию на земле, не разрешать садиться на коней и, подпустив врага на сотню шагов, встретить казачью атаку залпом. Едва ли кто из нападавших остался бы не поражённым.

Когда казаки пошли в атаку, кавалеристы стали вскакивать на коней, заворачивая назад, некоторым мешали метавшиеся в испуге кони, когда казаки врезались в цепь, у других кони вырвались во время посадки и их пешие хозяева бежали за ними. Казаки окружили пеших кавалеристов. Всё смешалось, неслось сплошным круговоротом к городу.

Щёголев на своём коне-аварчике сером в яблоках — тот самый Щёголев, взявший приз за уколы пикой на состязании восьми казачьих полков в Гельсингфорсе — носился вдоль фронта, ястребом налетал на жертвы, нанося неумолимые, губительные удары клинком. Он знал все маневры в конной атаке. Не одна немецкая каска ржавела на полях Латвии на участке Рига-Двинск, где оперировал восьмой полк Оренбургских казаков в 1917 году, пере-

брошенный туда из Финляндии. Эти каски не принесли домой, потому что их хозяева встретились со Щёголевым.

Отбиваясь, красноармейцы проявляли завидную выучку: выбитые из седла, они хватали винтовку, стреляя в упор, бежали дальше.

Вот семнадцатилетний неопытный казак Митя, подняв на всю руку клинок, наскакивает на пешего, вот сейчас удар упадёт на голову врага, но тот круто поворачивается, стреляет молодому казаку в живот. Пуля вылетает высоко в спине, вырывая полспины гимнастёрки. Митя, умирая, сваливается с коня...

Крики «ура», стоны, ругань — всё смешалось в общий гам. Скачут кони без седоков, вот испугавшийся конь, наступая задними ногами, тащит окровавленный труп своего хозяина, завязшего в стремени...

Мишка проскочил пулемётную двуколку. Впереди один за другим — с винтовкой в руке — бежали три пулемётчика. Мишка направился к ним, не снимая из-за плеча винтовку, на мгновение взглянув на того, кто скачет рядом, и увидел своего соседа. Фёдор был намного старше Мишки, не служил по семейным обстоятельствам, был весельчак и балагур, но не обстрелянный. Сейчас, в первом для них бою, Фёдор и Мишка наскакали на красного пулемётчика, тот перекружился, выстрелил и опять побежал, промазав. Казаки налетели опять, пулемётчик бросил гранату под коня Фёдора, тот спрыгнул с падающего коня. Спрыгнул и Мишка. Фёдор не успел опустить клинок на голову пулемётчика — упал к его ногам, сражённый выстрелом сунутой почти в самую грудь винтовки. Мишка взмахнул клинком, держа в левой руке повод лошади, — красноармеец скользнул стволом винтовки по его груди и выстрелил. Пуля прошла между грудью и рукой и пронзила Мишкиного коня, который тут же упал и сделался мокрый, как искупанный, дрожа всем телом. Клинком Мишка не достал пулемётчика, но тот свалился на землю, широко развёл руки, принимая в обьятия смерть. Клинок проскакавшего мимо казака глубоко въелся в левую сторону его лба, лицо залило кровью и мозгом. У Мишки сердце сжалось от боли, когда он увидел корчившегося пулемётчика.

Всё же какая-то обязанность, какой-то инстинкт тянули его вперёд и вперёд вслед за товарищами. Он бросил клинок в ножны, побежал к брошенному неприятелем коню. Тот в нескольких шагах щипал траву и торопливо с хрустом ел. Подбегая к коню, Мишка перешёл на шаг и стал подзывать незнакомое животное.

Конь сначала недоверчиво, а потом дружелюбно взглянул на Мишку и позволил взять за повод своей уздечки. Мишка впрыгнул в седло и во весь карьер поскакал вслед мешавшимся и скакавшим по направлению к городу своим и красным. Он на скаку сорвал с себя винтовку, взял её посередине и попугивал ею своего коня. Впервые в жизни ему пришлось сидеть в кавалерийском, а не казачьем седле. Он скакал с болтавшимися ногами, без помощи стремян, неимоверно прыгал взад и вперёд по седлу, которое казалось и длинным, и широким без точки опоры — передней луки. Он рисковал каждый миг свалиться с коня.

Он скоро догнал свою цепь, которая уже смешалась с цепью красных и много потеряла из своего состава, стала отставать: пронёсся слух, что впереди залегла пехота красных и ожидает казаков. Мишка проскакал через казачью цепь, устремился за двумя приотставшими красноармейцами. Крика, пронёсшегося по казачьей цепи «стой», «назад», он не слышал, проскочил далеко вперёд, за что чуть не поплатился головой: к нему повернули два кавалериста, но Мишке их поведение показалось вдруг тревожным, он круто повернул коня и в несколько секунд оказался ближе к своим, чем к противнику. К нему уже скакал с ругательствами Митька:

— Протакая, сякая, если ты хочешь, чтобы тебе большевики башку отрубили, то лучше я тебе отрублю! — Митька бросил в ножны клинок и со всей силой резанул друга через левое плечо до пояса нагайкой. Мишка поёжился, посердился, да с тем и остался.

Когда из-за близости города преследование прекратилось, с левого казачьего фланга из глубины степных оврагов и возвышенностей во весь карьер вынеслись казачьи отряды Бобряшова и Пущаева Красноярской и Перовской станиц. Они спешили помочь благословенцам ударом в правый фланг красных и, если бы те не отступили из опасной зоны, то были бы прижаты к Уралу и уничтожены. «Гости» повели свои отряды домой.

Благословенский отряд въезжал в станицу под плач об убитых и тяжелораненых. Хоронили вечером на площади около церковной ограды. Красноармейцев, собранных в степи, зарыли далеко от станицы, вниз по левому берегу Урала.

Каждый знал, что это наступление красных — только подготовка к настоящему наступлению. Каждый стоял на краю могилы, шаг — и похоронят его самого...



Елизавета БОБРОВА

«СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА...»

Елизавета Владимировна Боброва родилась в Оренбурге. Учится в епархиальной Православной гимназии во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Серьёзно занимается литературным творчеством, рисованием и танцами. Дипломант литературного конкурса имени Валериана Правдухина альманаха «Гостиный Двор» (2009), лауреат Всероссийской литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка» во второй номинации (2010).

Знать историю своей родины, своей семьи, я считаю делом нужным и даже необходимым, иначе, где брать примеры и образцы достойной жизни, поведения, общения с окружающим тебя миром? Наша фамильная история связана с оренбургским казачьим предместьем — Форштадтом, где жили дальние с маминой стороны родственники. Сохранившиеся письма, воспоминания и рассказы помогли мне собрать подлинные сведения и факты из их жизни, чем и хочу поделиться с читателями. Материал написан от имени первого лица — Анны Бородиной.

Господь даровал мне долгую жизнь, хотя не скажу, что лёгкую или особо счастливую. Но, как говорила моя бабушка, без плохого не бывает и хорошего. И действительно, довольно многое пришлось пережить, но

и многому порадоваться. Могу сказать, что всё плохое отошло в сторону, ведь мне посчастливилось пребывать в окружении просвещённых людей того времени, чья жизнь была полна патриотизма, рвения служить верой и правдой своей Родине, народу (свидетельством тому награды), необыкновенного стремления дать надёжное воспитание и образование своим детям и быть им образцом во всём...

Я родилась в пограничном городе-крепости Оренбурге в казачьей семье. Казаки считались надёжным оплотом в охранной службе, именно поэтому ими заселялись все крепости восточной границы России от Сибири до Каспия. Казаков селили рядом с городом отдельным предместьем под названием Форштадт.



Ещё мои бабушка и дедушка родились и всю жизнь провели здесь, в казачьем предместье. Я, будучи совсем маленькой, едва умея размышлять, с огромным удовольствием и интересом слушала их воспоминания о старой жизни. Бабушка умела так просто рассказывать, что, несмотря на мой дошкольный возраст, её воспоминания запомнились мне на всю жизнь с большими подробностями.

Родители бабушки и дедушки поселились в Форштадте в XVIII столетии, когда он заселялся казаками из Уфы и Самары для несения военной охранной службы. Казаки, приехавшие со своими семьями из Уфы, поселились на первой от берега Урала улице и назвали её Уфимской. На следующей за ней расположились казачьи семьи из Самары. Эта улица стала называться Самарской. При каждом доме имелся довольно приличных размеров двор с огородами, которыми и соединялись соседи этих двух улиц. Потом Форштадт расстроился, и появилось много других улиц и переулков, носящих имена отличившихся чем-либо местных казаков или отражающих значительные события тех времён. Сама Оренбургская станица, как называли Форштадт местные жители, была невелика. Начиналась она от здания духовной семинарии и шла до переулка Кордонного (ныне ул. Степана Ра-

зина), а с юга на север — от Урала до Туркестанской. На самом берегу Урала стоял Георгиевский войсковой собор, а перед ним площадь, где проходили парады, войсковые круги Оренбургского казачьего войска, встречи высокопоставленных персон. Эту церковь заложили одновременно с первыми домами станицы по инициативе местных казаков и на их собственные деньги. Здесь имелась богатая церковная утварь и ценные иконы, пожертвованные казаками. Форштадт рос с каждым днём, население его к 80-м годам XIX века составляло 3000 человек, поэтому к этому времени через две улицы вверх от Георгиевского собора построили Никольскую церковь. Священники этих храмов жили тоже в Оренбургской станице. Это было очень удобно. Если кто рождался, умирал или болел, часто бежали за ними и приглашали в дом.

Форштадт располагался над самым Уралом. Чистый речной воздух поднимался от реки и распространялся по всему предместью. А на противоположном берегу находилась прекрасная роща — естественный пойменный лес — излюбленное место отдыха оренбуржцев в летнее время года. С ранней весны сюда выезжали на свои дачи и горожане, и наши форштадтцы. Вечерами здесь звучала музыка духового оркестра, по аллеям гуляли отдыхающие, наслаждаясь чистым воздухом рощи. В самой же станице зелени сначала вообще не было, но позже около домов стали разводить палисадники, а в огородах, кроме кустарников, сажать яблони и сирень. Весной весь Форштадт приобретал бело-сиреневый облик и благоухал от цветочного аромата. Зимой вдоль улиц лежали высокие сугробы и прерывались лишь у входа в ворота и калитки у домов. Они напоминали снежные городки, какие строили специально к масленичной неделе. Дети любили здесь вечерами играть, забираясь на самую высоту.



Гулянья на Марсовом поле

Недалеко от берега Урала, ближе к городу, располагался местный базар. В крытых лавках казаки торговали предметами своего производства, начиная с хозяйственных товаров: лопат, граблей, домашней утвари до продуктов огородничества

и скотоводства: овощей, мяса, молока, сметаны. Имелись здесь и ледники, и амбары, где можно было хранить скоропортящиеся продукты торговли. В отдельном отсеке торговали сеном. Кроме того, по всему Форштадту размещались бакалейные лавки. Цены здесь были выше городских на 2-3 копейки, особенно по праздникам, когда в городских магазинах к вечеру достать что-либо не представлялось возможным, а в Форштадте — пожалуйста. В 1903 году фунт свинины первого сорта здесь стоил 12 копеек, второго — 10 копеек, хлеб «французский» из высшего сорта муки — 5 копеек, а из обыкновенной крупчатой муки — 3 копейки. Городская купчиха Мария Ладыгина открыла здесь кабачную монополию. Она содержала три кабака и за каждый платила по полторы тысячи рублей в год. Видно, имела хороший доход, поскольку, когда станичное правление подняло эту цену до двух тысяч, она продолжала их содержание. В то время горожане среднего достатка всё чаще переселялись в Форштадт из-за дороговизны городских квартир.

В центре станицы (ныне территория ОГАУ) стояла Знаменная изба, построенная в 1913 году к 300-летию династии Романовых. В ней находились все реликвии, знамёна и награды Оренбургского казачьего войска. По праздникам их выносили отсюда на парад.

Главная улица станицы — Большая или Атаманская (ныне Чкалова), выходила на площадь, отделявшую Форштадт от города и делившую её зданиями пожарной каланчи, станичным правлением и станичной школой на две части — южную и северную. В южной находился садик и часовня, на площади у которой часто проходили молебны. Северную часть площади называли юнкерской — здесь проходили учения воспитанников юнкерского училища, которое находилось на территории станицы.

На самом берегу Урала, ближе к городу, стояли торговые бани, построенные в 1860 году. Принадлежали они разным лицам. Сюда приходили мыться не только форштадтцы, но и жители города. Воду для них брали из устроенных рядом колодцев, а мыльную, то есть использованную, спускали по сточным канавам в озеро, находившееся под самым поселением станицы. Озеро это отделялось от Урала небольшим перешейком так, что при большом стоке (до 30 тыс. вёдер в сутки) эта вода проходила через грунт и попадала в Урал. Форштадтцы, жившие ниже бань, и жители города, вынужденные пользоваться такой водой, выражали большое неудовольствие, поэтому к концу XIX века бани закрыли.

Форштадт отделялся от города большой площадью, принад-

лежащей и городу, и Форштадту. Площадь не освещалась, а весной и осенью превращалась в огромное грязное озеро. И ученики, занимавшиеся в городских школах, перебираясь через него, испытывали большие неудобства. Так что Форштадт жил своей жизнью.

Наш дом стоял в начале Уфимской улицы. Сюда вели два входа — один со стороны улицы (высокая лестница заканчивалась маленьким крыльцом на втором этаже) и второй со двора, где дом начинался застеклённой верандой. В тёплое время года после утренней молитвы вся наша семья садилась завтракать: родители, бабушка и дети — три брата, старшая сестра Надя и я, названная в честь бабушки Анной. После завтрака мы расходились на учёбу. Братья учились в юнкерском училище, а мы с сестрой в Николаевском институте.

Лучшую мою подругу тоже звали Анной. Училась она в станичной школе. Эта местная форштадтская школа располагалась по другую сторону от домов — за форштадтской площадью, рядом с пожарной каланчой (ныне конец Ленинской улицы). Строилась она стараниями оренбургского урядника Ефима Колокольцева в 1874 году. Под одной крышей располагались и мужская, и женская школы, только вход в них был раздельный. Первым учителем мужской школы являлся урядник из крещёных калмыков Тухтуй, а в женской первоначально преподавала Вера Латникова. Но время шло, и к моменту поступления моих сверстников здесь многое изменилось. У мальчиков преподавали большей частью грамотные казаки, обучали их джигитовке, фехтованию, Закону Божиему и начальной грамоте. А у девочек учителями были выпускницы оренбургской гимназии и епархиального училища. Особое внимание уделялось Закону Божиему, грамоте и рукоделию. Часто девочки наблюдали практические занятия по джигитовке у мальчиков на площади. Ловкие и способные выделялись сразу. Встречались они и на школь-



Актовый зал в институте

ных праздниках. На рождественских каникулах 1914 года Аня пригласила меня на школьный спектакль. Они ставили пьесу из народной жизни под названием «Сиротка». В спектакле играли девочки из их класса. Главная роль досталась Ане. Многие пели в хоре, который сопровождал пьесу на всём протяжении. Участвовал в спектакле и хор войсковой музыки, здесь пели воспитанники Неплюевского и юнкерского училищ. Их голоса доносились из соседней комнаты, где расположился хор. Среди приглашённых гостей к началу спектакля собрались чины войскового штаба, а во время первого антракта прибыл сам наказной атаман Оренбургского казачьего войска генерал-лейтенант В.Ф. Ожаровский. Когда Аня вышла на сцену после антракта и увидела его — сразу забыла все слова, и наступила пауза. К счастью, её роль хорошо знали все участницы постановки — Надя Иванова, Таня Качалина и Оля Обухова. Кто-то из них подтолкнул Аню незаметно в спину и подсказал слова. Этот спектакль, впервые устроенный в станичной школе, оказался в высшей степени удачным и превзошёл все ожидания. После спектакля, возбуждённые и довольные успехом, мы вышли на улицу, перешли площадь и заметили впереди медленно идущих мальчиков из хора. Увидев нас, они остановились. Это были Борис Шишелов с другом Гришей Доброхотовым. Они учились в Неплюевском военном училище. Таня Качалина, самая разговорчивая из нас, спросила: «Как вам понравился спектакль?» За разговорами дошли до дома Шишеловых, остановились и ещё немного пообщались. Солнце уже начало опускаться, и под его морозными лучами корочка хрупкого снега с треском проваливалась под каждым шагом, окутывая валенки со всех сторон почти до колена. Наступающие рождественские морозы давали знать о себе. Мои пуховые варежки, платок и шубка из овчины покрылись довольно объёмным слоем падающего снега, но домой никто не спешил. Таким запомнился мне этот день — 4 января 1914 года, когда я впервые заметила Бориса Шишелова.



Воспитанница института А. Соколова

Семья Шишеловых

Шишеловы жили на следующей за нашей улицей — Самарской, в огромном одноэтажном доме. Прадед, дед и отец Бориса занимали высокие должности в Оренбургском казачьем войске, дослужились до полковников и генералов, за что и были вписаны во вторую часть Оренбургской Дворянской книги. Дед, Савелий Петрович, родился в 1824 году, служил в инженерном отделении Оренбургского казачьего войска. Во время походов в Среднюю Азию попал в плен. Сначала его держали в степи, потом передали в Бухару самому хану. Зная, что русские на все руки мастера, хан поручил ему свою артиллерию и брал в походы против хивинцев и афганцев. Савелия Петровича уважали, он пользовался большей свободой, в отличие от других пленных. Каждую неделю в его маленькой комнатке собирались пленные помолиться и поговорить о родине, а в день Светлой Пасхи даже удавалось слушать заутреню, которую читал пленный дьякон из Оренбурга Василий Егоров. Все священные книги они получали благодаря русским купцам, приезжавшим туда торговать. Несколько лет провёл он в плену, но всё же сумел вернуться на родину. В 50-х годах он исполнял должность начальника штаба Оренбургского казачьего войска, состоял поручиком при наказном атамане И.В. Падурове, за отличия по службе был произведён в действительные статские советники.

Отец, Павел Савельевич, окончил оренбургское Неплюевское училище (военную гимназию) по первому разряду (с отличием). Затем Константиновское (артиллерийское) училище, служил в конноартиллерийской бригаде в звании сотника, затем адъютантом при атамане Оренбургского казачьего войска.

Борис учился в том же Неплюевском училище. Среди воспитанников он выделялся большими математическими способностями, точным исполнением всех заданий — теоретических и практических и даром слова. От других его отличала внутренняя интеллигентность, высокая самооценка и уверенность в себе. Это всегда меня смущало и придавало чувство растерянности.

Второй раз близкое общение с Борисом состоялось на празднике в нашем институте.

Наш институт был замечательным. Открылся он сначала как отделение при Неплюевском военном училище и назывался просто девичьим училищем. Здание было построено ещё в 30-х годах губернатором П.П. Сухтеленом на самом краю города на Преображенской улице неподалёку от Форштадта и предназначалось для обучения дочерей нижних офицерских чинов. Но через



Мои мама и тётя

двадцать лет его переименовали в Оренбургский Николаевский институт Благородных девиц (в честь умершего императора Николая I) под попечительством его супруги Александры Фёдоровны. С этого времени многое изменилось в учебном процессе института и его хозяйственном обеспечении. На институтском скотном дворе держали коров, коз, имелся огород. А на даче Маяк, где отдыхали воспитанницы в летнее время, посадили фруктовый сад. Этот институт ещё в 50-х годах XIX века окончили моя мама Лидия и тётя — её сводная сестра Мария — первая ученица и красавица института, которую выдали без её желания замуж за богатого оренбургского купца первой гильдии Путолова. Во времена их обучения в институте всё было гораздо строже, вероятно по причине недавнего его открытия. Вступительные экзамены сюда проводились по русскому языку, математике и французскому языку, также бралось во внимание и знание молитв. Эти испытания выдерживали далеко не все.

Помню первый день своего пребывания в нём. Привели меня в бельевую. Здесь полностью одели во всё институтское — школьное закрытое платье с белым воротничком, фартук и пелерину. По широкой мраморной лестнице, застеленной дорожкой, провели на второй этаж в классную комнату. В углу висели иконы, под потолком краси-



Бельевая в институте

вые керосиновые лампы, вдоль стен стояли высокие книжные шкафы с учебными принадлежностями и пособиями. Разные физические и географические приборы располагались на столах, а на высоких шкафах виднелись чучела разных птиц. Меня поразили эти птицы: они, будто живые, застыли в разных позах. Казалось, что они смотрят на входящего. Как я узнала позже, меня завели в физико-биологический кабинет, здесь я впервые увидела и глобус. Учебные классы были обставлены намного скромнее: иконы, парты, каминные изразцовые печи, которые придавали домашний уют.

На точные науки — математику, физику и химию — особого внимания не уделялось. Большое значение придавалось литературе, русскому и иностранным языкам (французскому и немецкому) и, конечно же, Закону Божьему. Каждый день начинался с утренних молитв и заканчивался вечерними. Особенно мы любили петь в институтском церковном хоре. Церковное пение преподавал священник Иоанн Соломин, имевший аттестат от придворной капеллы. Он занимался управлением церковных певческих хоров города более пятнадцати лет и никогда не отступал от правил придворного пения Бахметьева. Мы им очень гордились. Немаловажное место в нашем образовании занимали рисование, музыка, танцы и рукоделие. Эти предметы велись на таком уровне и настолько нравились нам, что многие позже занялись этим профессионально. Например, моя тётя Мария Васильевна Путолова открыла частную швейную мастерскую по дамскому и детскому платью. Особенно удавалась институтским девочкам вышивка крестиком и бисером. Ещё в 1882 году, когда в Москве проходила Всероссийская промышленно-художественная выставка, несколько изделий было представлено из нашего



Физико-биологический кабинет

института, и их отметили дипломами. А верхом признания стала похвала от самого цесаревича (будущего императора Николая II), когда в 1891 году он посетил Оренбург и даже побывал на выпускном балу в нашем институте. Об этом мне рассказывали мама и тётя.

Изобразительное искусство преподавал известный оренбургский художник Ерофей Романович Мехед. Мне очень нравилось рисовать акварелью. В весеннее время мы выходили на пленэр в институтский двор. Он представлял собой живописнейший уголок: раскидистые листья ясеня давали много тени, и в жаркие дни под их кроной мы легко укрывались от горячих лучей. Я могла проводить за этим занятием по три часа подряд, не замечая времени, и часто удостаивалась похвалы. Иногда наш учитель приносил показать свои работы — это большей частью уголки старого города и портреты оренбуржцев. В институтском дворе мы проводили всё время, предусмотренное для отдыха, а иногда готовились здесь и к урокам.

По всему двору размещались клумбы с цветами, имелась площадка для игр в крокет и лапту. Зимой эту площадку заливали для катания на коньках. Ведь домой нас отпускали только на летние каникулы, иногда на Рождество, а девочки-сироты находились в институте круглый год. Летом их увозили на нашу дачу на Маяке, где имелся роскошный фруктовый сад, и часто устраивали поездки на пароходе по Сакмаре. Эти девочки учились бесплатно, а за нас платили очень дорого, по 360 рублей в год. В течение всего учебного года с родителями мы встречались только по воскресеньям, с 12 до двух часов. Они приносили всякие сладости, домашнюю выпечку, и все щедро делились с остальными. По большим праздникам к нам приглашали юнкеров и кадетов, иногда мы ходили к ним на торжества. К таким вечерам мы готовились задолго: украшали залы и веранды дачи разноцветными фонариками, цветами и флажками, которые делали на уроках ру-



Хозяйственный двор института

коделия. Вот в один из таких праздников, на который к нам пригласили кадетов, мы опять встретились с Борисом Шишеловым. Это был рождественский бал. В институтском актовом зале установили ёлку, украшенную флажками, свечами и сладостями, с потолка свешивались разноцветные гирлянды. Назначенные дежурные, девочки старшего класса, вместе с начальницей института у входа встречали гостей — губернское и войсковое начальство, институтских благотворителей и других приглашённых гостей, юнкеров и кадетов. Многие девочки института имели знакомых из этих учебных заведений и, увидев их, встречали и сразу проходили вглубь зала. Так образовывались небольшие кружки, где шли свои разговоры. Мы стояли своим классом — Маша Камбулина, Мария Львова, Надя Красноярцева и я, и смотрели на парадную дверь, куда непрерывным потоком заходили гости. Среди вошедших кадетов я сразу заметила Бориса. Раскрасневшиеся с мороза, в приподнятом настроении кадеты прошли к ёлке и остановились. Видно, их порадовало убранство зала и праздничная парадная атмосфера, царившая вокруг.

Бал начался полонезом. Наши воспитанницы шли в танце парами друг с другом, приостанавливаясь в неглубоком реверансе, представляли себя и тем давали возможность мужской половине присмотреть партнёрш для приглашения на следующие танцы. Все мы были в праздничной форме, то есть тёмные фартуки и пелерины заменены на белые, но, несмотря на такие строгости, выглядели красиво и нарядно.

Следующим танцем был менуэт. Заметное оживление прошло среди кадетов. Несколько наиболее смелых отделились от общей массы и направились к нам. Все заволновались. Я видела, как первые пары начали танец, но не успела позавидовать танцующим, как услышала перед собой знакомый голос: «Разрешите пригласить на тур?» Это был Борис. Мы вышли на центр зала и начали танцевать. Он шёл очень мягко и держал меня бережно и легко. Я чувствовала себя лёгким пёрышком, пролетающим вдоль всего зала. Вот промелькнули портреты Николая Александровича и его супруги Александры Фёдоровны, стоящий в углу рояль, ёлка с гирляндами и фонариками, расположившиеся вдоль стен гости, кадеты и наши девочки. Музыка настолько была замечательной, возвышенной и торжественной, что я полностью отдалась её звучанию. Борис смотрел на меня с высоты своего значительного роста и что-то говорил мне. Но в звуках музыки его слова тут же растворялись и не доходили до меня. Моё состояние возвышенности и гордости передалось ему, и дальше мы танцевали без слов. Затем зазвучал вальс. Я переживала, пригласит ли Борис опять,

и когда он направился в нашу сторону, успокоилась.

В большом перерыве мы прошли в другую залу, где на столах лежали сладости, присланные самим губернатором. Традиция присылать разные гостинцы к торжествам началась с момента открытия института, когда губернию возглавлял В.А. Обручев. На каждый церковный праздник он не забывал присылать их.

За столом юнкера рассказывали в подробностях о конкурсах на предстоящей масленичной неделе. В Форштадте ежегодно устраивались праздничные состязания по джигитовке, взятию снежных городков и др. Борис с друзьями немного высокомерно посмотрели в сторону юнкеров и, выслушав их, завели с нами совсем другие разговоры.

— Как вам учится в институте, Анна? Какие предметы вы любите?

— Спасибо, всё очень нравится. Здесь интересно учиться. Я люблю уроки рисования и живопись вообще. У меня неплохо получаются натюрморты.

— Какое совпадение! И я люблю живопись. Особенно пейзажи Шишкина, Репина и Коровина... Но, к сожалению, сам не рисую совсем. То есть, уроки у нас, конечно, ведутся, только у меня нет никаких способностей к рисованию.

— Борис, я думаю, у вас много других талантов, на их фоне рисование не так уж важно!

— Спасибо, Анна.

На этом наш разговор прервался — объявили мазурку. Борис встал со мной в пару; танцевали мы, не замечая никого вокруг, не могли оторвать глаз друг от друга. Позже девочки говорили, что звали меня после танца, но я не обращала на них никакого внимания — ничего не слышала.

Как только стихли последние звуки музыки, директор Неплюевского училища Н.М. Пузанов процитировал строки из пушкинской «Вакхической песни» и предложил поднять бокалы шипящего шампанского за наш институт и прекрасных воспитанниц:

«Поднимем бокалы, содвинем их разом,
Да здравствуют музы, да здравствует разум!»

Борис же, к моему удивлению, продолжил это стихотворение, стоя со мной у окна. Я была его единственной слушательницей. Оказалось, мы действительно во многом похожи. Наш любимый поэт — Пушкин. Борис знал наизусть «Моцарта и Сальери», поэму «Цыганы», очень много стихотворений великого поэта.

Как я узнала от Бориса, он и сам писал стихи, его печатали в журнале училища, признавая бесспорный талант. Из-за этого Борис казался мне ещё более недосягаемым. Но, как ни странно,

он вёл себя со мной как равный, ничуть не гордясь, и мне было с ним очень легко.

Шла зима 1914 года. С рождественского вечера мы не виделись, но оба жили надеждой на скорую встречу. У меня приближался выпуск из института, а Борис готовился стать офицером, он в этот год тоже заканчивал учёбу. Зима прошла быстро — в подготовке к выпускным экзаменам и предстоящему балу. Я не теряла времени зря — постоянно читала исключительно русскую классику — стихи и оды Державина, Пушкина, Лермонтова, Одоевского и Жуковского, изучала их биографии и написала несколько пейзажей с видами институтского двора. Мне хотелось идти вровень с Борисом. Всё это время мы переписывались, Борис прислал мне две красивые открытки — поздравления с Пасхой и Троицей и несколько писем. В институте все, даже учителя и наш духовный отец Иоанн, серьёзно воспринимали нашу дружбу, и потому все его письма ко мне, возможно, шли без цензуры.

Выпускные экзамены приближались неумолимо. После учебных занятий институтский двор превращался в читальню. Все лавочки и качели были заняты. Одни учили историю, другие — географию, словесность или зубрили стихи. Весеннее солнце нежно и томно действовало на душу, и я постоянно ловила себя на мыслях о Борисе, так незаметно приходящих в голову вместе с программными стихами. Кроме обязательных экзаменов мы готовили ещё выставку собственных работ по рукоделию: вышивки крестом, бисером, веера и т.д. Маша Камбулина целый год занималась сумочкой из рыбьей чешуи — этому искусству обучила её тётя из Петербурга. Предыдущим летом они вместе ездили на отдых в Крым и там всё лето посвятили этому занятию. Сумочка получилась необыкновенной красоты, и Маша хотела преподнести её во время выпускного торжества супруге Оренбургского губернатора.

Я написала натюрморт (копию с работы Борисова-Мусатова). Это была самая удачная и самая любимая моя акварель.

И вот наступил долгожданный день выпуска. Младшие девочки института завидовали нам. Из предвыпускных классов пригласили только отличников. Они сидели отдельно в рядах и смотрели на нас широко раскрытыми глазами. Торжество началось молебном и исполнением гимна «Боже, Царя храни!» Во время торжественной церемонии первым сказал речь-напутствие губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска Н.А. Сухомлинов, потом Преосвященный Феодосий, преподаватели, наши благотворители и родители. При вручении аттестатов все мы получили похвальные листы и по томику стихов А.С. Пушки-

на... Весь вечер играл духовой оркестр кадетов, и мы танцевали. Выпускной проходил на нашей учебной даче на горе Маяк. Веранды утопали в цветущей сирени, необыкновенный аромат шёл и от только появившихся в клумбах цветов. Молодая трава придавала яркость и свежесть долгожданному событию. Весь вечер я танцевала с Борисом. В небольшом перерыве мы вышли на воздух прогуляться по липовой аллее, ведущей к Сакмаре. Здесь произошёл романтический диалог. Борис прочитал мне несколько своих любимых стихов, первым из них был «Средь шумного бала», и преподнёс очень красивый дамский альбом с посвящением... Просил меня прочитать его вслух. Я чувствовала, что оно писалось в минуты искреннего душевного порыва, и поняла, что он предлагает мне руку и сердце. На предложение я ответила согласием и вместе с тем в ответ подарила ему свою любимую акварель-натюрморт с выставки.



Выпускной на даче Маяк

Борис, оказывается, уже разговаривал со своими родителями, и они условились после моего положительного ответа переговорить с моей семьёй и определить время помолвки.

Наша помолвка состоялась летом, после Петровского поста. Родители Бориса — строгие и малоразговорчивые люди, пришли к нам втроём. Я ужасно волновалась. Мои родители встретили их во дворе, и, когда все вместе вошли в гостиную, я от волнения застыла за столом, вытянувшись по струнке. Свет заходящего солнца отдельным лучом падал на меня, захватывая часть праздничного стола, а сверху озаряя лик Божией Матери Скоропослушницы. На мгновение все остановились в молчании, внимательно смотря друг на друга. Родители пригласили всех за стол. Мой папа произнёс первый тост за гостей, и дальнейший вечер прошёл легко и быстро.

Венчание назначили на конец августа, после Успения Пресвятой Богородицы (после Успенского поста). Родители остались

обговаривать все подробности свадьбы, а мы с Борисом пошли гулять — спустились к Уралу, переправились на лодке на противоположный берег и очутились в роще... Там было тихо и уютно. Солнце отражалось в тёплых волнах и своё спокойствие и мягкость передавало нам. Незаметно мы дошли до Большой поляны — кругом царила тишина и умиротворение. В дачной церкви закончилась служба, о чём извещали её колокола. Именно этот церковный звон и встретил нас у входа в рощу. Мы прошли по аллее до известной своей историей беседки (строилась она специально к приезду царя Александра II) и остались совершенно одни. Здесь Борис впервые обнял и поцеловал меня. Искренность и глубину наших чувств мы ощущали оба, и они запомнились нам навсегда.

На следующий день после нашей помолвки мы отправились на дачу Доброхотовых в Зауральную рощу. Моя сестра Надя прошлым летом вышла замуж за Владимира Доброхотова.

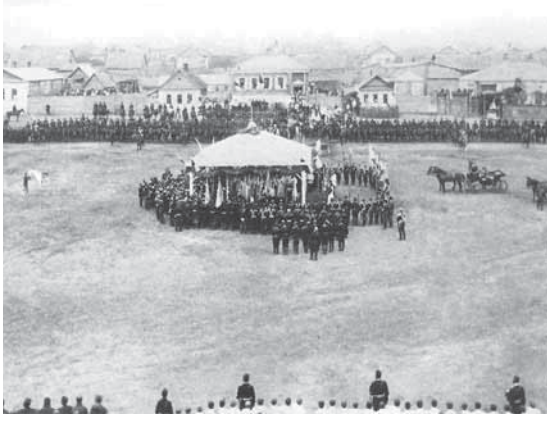
С высокого берега открывался прекрасный вид — на азиатской стороне до самого горизонта простирались казахские степи. Бездонное чистое небо отражалось в широкой реке, и казалось, эта голубизна простирается повсюду, и только роща выделялась тёмным пятном. Благополучно миновав крутой спуск, мы переправились на лодке к противоположному берегу. Дача находилась за Большой поляной. Повсюду стояла высокая, ещё сочная трава и множество полевых цветов. Казалось, будто мы в центре ароматного букета. Впереди виднелись домики разной конфигурации с флюгерами, башенками и застеклёнными верандами. Все они строились по проектам городского архитектора Маркелова, но в разных стилях, именно это и придавало им загадочный вид. Перед дачей Доброхотовых расстилался огромный фруктовый сад с беседкой, обвитой диким виноградом, защищавшим отдыхающих от солнца. Мы сразу зашли в неё. На столе уже стоял самовар и угощения, приготовленные мамой и бабушкой Николая для нас. Мы с удовольствием выпили чай с кренделями и барбарисовым вареньем. Семья Доброхотовых проводила здесь всё лето, у них было очень уютно. Дом начинался просторной верандой, а затем ещё шли друг за другом



три комнаты. В самой большой — гостиной — стоял рояль, а на стенах висело множество картин — пейзажей и семейных портретов, выполненных художником Л. Поповым. Он тоже имел здесь дачу и выполнял заказы дачников. Я села за рояль и сыграла Шопена и несколько старинных романсов, а Надя и Николай пели на два голоса. Николай имел прекрасный тенор. Он окончил духовную семинарию и во время учёбы, кроме церковного пения, занимался классическим вокалом. По окончании семинарии, прошлым летом он получил направление на службу в одну из оренбургских церквей, но занятия вокалом продолжал. Надя с Николаем поженились прошлым летом. Сестре было с ним хорошо — ей нравилось его спокойствие, надёжность и уверенность в себе. Во всех сложных ситуациях Николай полностью брал ответственность на себя.

Мы приятно провели день. Гостеприимство мамы и бабушки просто поражали. Папа Николая в это время находился на службе в Пантелеймоновской дачной церкви, которая находилась здесь, в центре рощи и предназначалась специально для отдыхающих дачников. Церковь эта являлась приписной к оренбургскому Казанскому собору.

Вечером мы вчетвером решили погулять по роще. Особенно такое предложение понравилось Борису. После долгого пребывания в стенах кадетского училища, он никак не мог насладиться природой и просто отдыхом. Мы прошлись по аллеям и вышли к беседке, где играл духовой войсковой оркестр. Здесь каждый вечер собирались дачники и приятно проводили время. Оркестр столь замечательно играл и исполнял такие прекрасные вальсы, что просто невозможно было устоять на месте, и наши две пары присоединились к танцующим.



Молебен на форштадтской площади

Оба берега Урала с конца XIX века арендовал оренбургский купец Александр Афанасьевич Белов. Здесь он разбил аллеи, цветники, поставил чугунные лавочки. На правой стороне от самого Урала по крутому берегу к городу тянулись глинистые дорожки и деревянный спуск. На крутизне городской стороны стояли павильоны с прохладительными напитками и

знаменитый вокзал-ресторан на сваях «Поплавок». К нему вела отдельная извилистая дорожка. Здесь по выходным дням показывали кинематограф. С заходом солнца мы переправились на городской берег и прогулялись по Набережной, где тоже звучала прекрасная музыка. Мне почему-то так не хотелось расставаться в этот вечер с Борисом. Я ещё не знала, что он был последним.

Через несколько дней после этого замечательного вечера началась Первая мировая война. На нашей форштадтской площади состоялись проводы казаков. На фронт уходил и Борис в составе второго казачьего полка. Провожали очень торжественно и трогательно. Сначала вынесли полковые знамёна, хоругви и нашу покровительницу — Табынскую икону Божией Матери, отслужили молебен, затем казаки маршем прошли по площади и под звуки войскового оркестра вышли через форштадтские ворота.

Борис прислал мне два письма. Одно с дороги, другое — накануне крупного сражения в Восточной Пруссии, где их полк попал в окружение и потерял половину состава вместе с командиром. В числе погибших оказался и Борис.

Прошло несколько лет, прежде чем я смогла немного успокоиться и реагировать на окружающий мир. А жизнь шла своим чередом. Вскоре к моему горю и переживаниям прибавились новые нежелательные события, охватившие всю страну, Оренбург и наш Форштадт. Незаметно пришёл 1918 год. Это было ужасно страшное время. На Форштадт производились частые налёты красноармейцев. Шли настоящие погромы, аресты и убийства, особенно казачьих офицеров. На моих глазах застрелили 90-летнего старика-генерала Леонтьева. Они жили наискосок от нашего дома. На улицу невозможно было открыть дверь — со всех сторон слышалась стрельба и конный топот. Во многих семьях произошёл раскол, в том числе и у нас. Старший мой брат перешёл на сторону Советской власти, стал коммунистом. Когда в эти дни умерла мама, он не зашёл в церковь на отпевание, я очень удивилась такому повороту. Сестра с мужем вместе с Дутовым пошли через казахские степи в Китай. Суровая зима 1920 года застала их врасплох. До места добралась лишь десятая часть ушедших. Видимо, смертельная участь постигла и Надю с мужем. Известий от них никогда не приходило. После революции и гражданской войны и нам, детям белогвардейских офицеров, жилось нелегко.

Позже я вышла замуж и из Форштадта уехала. Выросли наши дети, жизнь прошла довольно спокойно, но мой родной Форштадт стоит перед глазами постоянно. А такого светлого и трепетного чувства, как к Борису, я, к сожалению, больше никогда не испытала...



Анна ГАНЮШКИНА

БОЖЬЕ ВРЕМЯ

Рассказ

Анна Петровна Ганюшкина родилась в селе Никольском Сакмарского района Оренбургской области. Окончила Оренбургский техникум бухгалтеров, работала в родном колхозе. Инвалид I группы. Печаталась в альманахе «Гостиный Двор», газете «Вечерний Оренбург», журнале для инвалидов «Надежда» (Минск), газете «Здравствуй» (Пермь), в коллективном сборнике «И с песней молодость вернётся». Автор трёх сборников стихов, лауреат областного литературного конкурса имени С.Т. Аксакова. Живёт в селе Никольском.

В воскресенье утром 26-го октября Оля проснулась позже обычного и посмотрела на часы. Они показывали ровно восемь. Вчера Оля не забыла перевести стрелку на «зимнее время», то есть на час назад. «Вот красота-то, — подумала она, — по-летнему теперь уже было бы девять. Впереди — выходной день, и можно ещё немного полежать и помечтать: как лучше провести день, чем его заполнить? Чем-то качественным хотелось бы, а не так: шаляй-валяй. А главное событие уже произошло: наконец-то в доме будет царствовать одно время, одинаковое для всех: и для Оли, и для старенькой бабушки Симы, и для кота Мурзика. Хотя, Мурзику, конечно, было всё равно: он на стрелки не смотрел, жил в своё удовольствие, по своим законным, биологическим часам. Он просто чувствовал — когда ему

надо кушать, когда спать, когда гулять, когда караулить мышку у норки. А вот бабушке Симе перевод стрелок всегда действовал на нервы.

— Ишь, чего удумала вражья сила,— не переставая, ворчала она по этому поводу, — вона куда замахнулись, на Божье время! Крутят его куда хотят. Разве так можно? Совсем уже измудрились над человеком и над природой. Нам-то можно всё приказать, а солнцу-то не прикажешь, оно всё равно ходит по своему распорядку. А время по солнышку идёт, и наплевать ему на ваше вертенье стрелок. И какой умник выдумал эту затею, — продолжала она своё бурчанье, — ни свет ни заря волокут сонных детишек в садик. Дитё бы ещё поспало, утренний сон самый сладкий. Растущему организму сон что лекарство. И куда медицина смотрит? Никому нет дела до человека... Вон Назарбай молодец какой, не оглядывается на запад (баба Сима следила по телевизору за всеми новостями в стране и за рубежом), а мы, дураки, повторяем да перенимаем всё только ненужное...

Оля уже наизусть знала все бабушкины протесты и жалобы, но приходилось покорно выслушивать весь утренний репертуар бабули. Каждое утро он был разный (темы находились), и без него баба Сима не начинала свой новый трудовой день. Она облегчала свою душу, а Оля, завтракая, слушала её, попутно думая о предстоящей работе, о своих делах. Позавтракав, Оля спешила на работу уже по «новому времени», начинавшемуся с конца марта. А бабушка, не торопясь, принималась за свои каждодневные дела: шла кормить свою «скотину» (курочек), прибраться в сарае, осмотреть своё нехитрое дворовое хозяйство.

Оля, вступая в атмосферу напряжённого рабочего дня, по дороге анализировала свои мысли и ощущения. Мысли были о том, что начиная с этого Дня Поворота Стрелок, к Оле приходило ощущение, что ход времени убыстрялся. Получалась почти мистическая странность: искусственно ускоряя время, люди как бы заставляли и сам день торопиться куда-то бежать. Это было заметно. Люди не поспевали за ним, не понимая очевидной вещи: стремительное, подгоняемое ими же время дышало им в затылок, заставляя жить ускоренными темпами. Но... день не вмещал в себя всех запланированных дел человека. Эти дела откладывались на другой день, далее переходя в следующий и в последующий, и в результате скапливалась гора незавершённых дел, нерешённых проблем. И вгрызалась эта беспокойная гора в сердца и мысли человеческие, взращивая в них всходы будущих инфарктов и инсультов. Вот такие мысли приходили в голову

Оле, но, подчиняясь всеобщей часовой перестройке, она летела по будничной суетной орбите жизни, как заведённый робот, не представляя себе, как можно изменить ситуацию. С бабой Симой Оля не делилась своими мыслями, а только объясняла ей то, во что сама не верила: об экономии электроэнергии, о пользе раннего пробуждения.

Но мудрая баба Сима и слушать не хотела все Олины доводы. Вставать рано она и так привыкла с той поры, как приходилось на ранней зорьке выгонять пасти свою коровушку. А где тут прячется экономия электроэнергии — Оля и сама не могла понять. Ведь начиная с сентября, собираясь рано утром на работу, Оле приходилось включать в доме свет, так как солнышко ещё не вставало. Поэтому, согласно своим убеждениям, баба Сима всегда запрещала Оле переводить стрелки часов, висящих в зале на стене.

— Не трожь моё время, — заявляла она тоном, не терпящим возражения, — это тебе не игрушка.

Так настенные часы, оставаясь неприкосновенными, строго и гордо взирали со своего высокого места, и в них чувствовалось какое-то превосходство надо всем окружающим. Это было превосходство свободы, рождённой бабы Симиной интуитивной свободной мыслью.

Так все семь месяцев в году бабушка Сима и Оля жили каждый по своему времени.

И такая это была путаница и нервотрёпка для них обеих, что Оля начинала мечтать о том будущем светлом дне, когда, наконец, там, «наверху», решат вопрос об отмене «летнего» времени, и восстановится в их доме мир и согласие, потому что время будет одно для всех, как и должно быть. И устранится разногласие в природе, что не позволит дню так стремительно убегать от людей.

И Святой День, дарованный Богом, будет вмещать в себя все дела человеческие, все планы и задумки; жизнь войдёт в свой правильный, размеренный ритм. И человек будет комфортнее себя чувствовать. Устремления его, рождённые не загнанной, не суетной мыслью, сольются в едином ритме с вибрациями Вселенной. Ведь так оно и должно быть, как задумано Творцом.

Ведь Время — это сфера, в которую человеку нельзя вторгаться, потому что Время — Божье...



Николай МИРОНОВ

КРАСНЫЕ ЖЕРНОВА

Главы из поэмы

Николай Николаевич Миронов родился в 1956 году в Бузулуке Оренбургской области. Служил в рядах Советской Армии, окончил государственный плодоовощной институт им. Н.В. Мичурина в г. Мичуринске по специальности «Плодоовощеводство и виноградарство», работал ведущим специалистом на бузулукских предприятиях. Печатался в местных газетах и альманахе «Гостиный Двор». Кроме стихов пишет иконы. И к композиции, и к рисунку относится с такой же придирчивостью и бескомпромиссной требовательностью, как к слову и даже букве в вопросах стихосложения. Перфекционист по натуре. Поэму «Красные жернова» считает одним из главных дел своей жизни. Живёт в Бузулуке. В настоящее время занимается ландшафтной архитектурой и разведением многолетников.

Опять поминальный
приблизился час,
Я вижу, я слышу, я
чувствую вас...
А. Ахматова «Реквием»

Глава 1. ВРАТА ВРЕМЕНИ

Я узнаю твой голос из тысячи,
О, как сладостно смертно
скорбеть!
Из каррарского мрамора
высечен
Каждый стих твой, цикута и
плеть.

И в агатовых бусах, как с
чётками,
И закутанной в чёрную шаль
У Крестов, под стальными
решётками,
Мне тебя не увидеть, а жаль.

Сколько их, говорящих
ритмически,
Превративших талант свой в
товар,

Но не дан им ни голос
трагический,
Ни пророческий певческий
дар.

Всё во власти и воле
Создателя,
Но я слушать уже изнемог
Лже-поэтов и псевдо-
писателей
Пустословия мутный поток.

В эту снежную ночь
новогоднюю,
Под высокой стеною Кремля
Я иду сквозь толпу
беззаботную,
Оглушившей весельем меня.

Как хотелось бы с этой,
единственной,
Повстречаться на снежной
тропе!
Неожиданно профиль
таинственный
Показался в весёлой толпе.

Для других оставаясь
невидимой,
Ты неспешно по площади шла,
И, взглянув, будто что-то
провидела,
Как метелью лицо обмела.

Может стоны и жалобы
детские
Со слезами не можешь забыть?
И пришла, словно жёнки
стрелецкие,
Под кремлёвскими башнями
выть?

Иль всё видишь кровавую
оргию,
Иль устала стоять над Невой
Кавалера Святого Георгия
Безутешной и вечной вдовой?

Как мне страшно с тобой,
в предвкушении,
Предстоящих трагедий и бед,
Словно петлю надели на
шею мне,
И стянули, и выхода нет!

Проведи меня, чтоб не
заметили
Те, кому Гордый Дух господин,
Как по Аду в далёком
столетии
Был Вергилием Данте водим,

Пронеси меня ношей
неношеной,
Укажи мне дорогу назад,
Чтоб увидеть воочию
прошлое,
Что страшнее, чем
Дантовый Ад!

Дремлют ели, снегами
укрытые,
Возле царских кремлёвских
палат,
А над всеми луною
графитовой
Спасской башни повис
циферблат.

Каждый смотрит на стрелки
с вниманием,
Площадь вся — как
восточный базар,

Крики, возгласы, смех,
ожидание, —
Вот и первый Курантов удар!

Башни, площадь, дворцы
вмиг осыпаны
Фейерверка волшебным
дождём,
Кровли, шпили в мерцаньи
кварцитовом
И она мне сказала: «Идём».

Глава 2. ПРОРОКИ

«Несказанное, синее,
нежное...»,
Прошептала ли стайка берёз,
Или сквозь наваждение
снежное
Чей-то голос мне ветер принёс?

Вот опять за решёткой
фигурною
В снежном вихре мне видимы
вдруг
Синь очей, лён волос и
гламурные
Трость, штиблеты, цилиндр
и сюртук.

Пронеся, словно рану
кровавую,
На себе роковую печать,
Розу белую с чёрною жабою
Он хотел на земле повенчать?

Тот, один у разбитого
зеркала,
Среди новой элиты изгой,
Запрещённый, скандальный,
отвергнутый,
Или это там кто-то другой?

Рвёт и мечет метель клочья
белые,
Чей там голос? Никак не пойму!
«Словно тройка коней
оголтелая
Прокатилась во всю страну.

Напылили кругом.
Накопытили.
И пропали под дьявольский
свист...»
— Как похож! — Невозможно!
— Вы видели?
— А, какой-то бродячий артист!

— То ли пьян, то ли просто
куражится
Кто он? Гений, плейбой или
гей?
Ближе, ближе, иль мне это
кажется?
Вот уж рядом... Есенин!
Сергей!

Задержаться ещё мне тут
надо бы,
Но в ушах моих эхом звенит
Тот ответ на вопрос мной
не заданный,
Им угаданый: «Я был убит!»

Ветер выл и деревья
расшатывал,
В буре снежной не сбиться б
с пути,
По следам своего провожатого
Должен я неотступно идти.

Вот вдали показались
развалины...
Не Христа ли Спасителя храм?

Кто там стонет так, кто так
названивает,
Что за год приближается
к нам?
Вижу толпы от горя
потеряных,
И ведёт меня мой поводырь
По оврагам, где сотни
расстреляных,
Через тюрьмы, этапы, Сибирь.

Лесосеки, бараки... Так вот они...
«Кто он? С биркой
привязанной, там?»
И движение вполоборота мне
Говорит за себя:
«Мандельштам»?!

Он, тебя называвший
Кассандрою,
Он, вождю не воздавший
хвалу?
Не в цветах и гробу
палисандровом,
А на мёрзлом и голом полу...

Как метёт за оконными
рамами!
И отсюда, от лагерных нар,
Сквозь пространство, неясный
и траурный,
Слышу третий Курантов удар.

Снег, свиваясь, как иглами
колется,
Но недолго мы в этом краю,
Даже не успевая
опомниться,
Я у дома на Волге стою.

Не знакомы ни город, ни улица,
Ни калитка, ни дворик, ни дом.
Отчего же так сердце
волнуется,
Словно дом этот сердцу
знаком?
Но закрыто назад
отступление,
Мне теперь остаётся одно,
Поборов и осилив волнение,
Заглянуть, словно в пропасть,
в окно,

И продолжить, сердца
леденящую
Череду катастроф и потерь
Осторожно, рукою дрожащею,
Приоткрыл я скрипучую дверь.

Мне бы только совсем
не отчаяться!
«Там, где в балку впивается
крюк,
Что за тень там над полом
качается,
Страшной жертвою боли и
мук?»

И посыпались гроздья
рябинные,
И поникла в саду бузина,
«Неужели и эта, безвинная?
Я не верю, не надо!» — «Она».

Не от ужаса ль волосы
дыбятся?
Я не вынесу этих потерь!
Как мне хочется, Господи,
вырваться,
И захлопнуть проклятую
дверь,

Но откуда-то ясно доносится:
«Час придёт, и услышит страна

Николая, Марины и Осипа
Победившие смерть имена.
Сквозь запреты, доныне
живущие,
И сквозь толщу словесной
трухи,
Прорастут из былого
в грядущее
Победившие время стихи.

И такую для сердца
желанную,
Словно землю в весеннем
цвету,
Ты увидишь для них
долгожданную
Победившую ложь правоту!»

Пролетают поляны и просеки,
Перелески, низины, леса.
Николая, Марины и Осипа
Вслед за мною летят голоса.

Звёзды ближе и даль
открывается,
И не страшен мне этот полёт.
Что там? Дым над костром
извивается
И клубится, и дыбом встаёт...





Александр БАРСАЕВ

«ЧЕМ ВСТРЕЧУ Я ВЕСНУ?»

Александр Владимирович Барсаев родился в 1973 году в Оренбурге. Печатался в газетах «Оренбуржье», «Вечерний Оренбург», «Южный Урал», «Новое поколение», в альманахах «Рог Борея», «Гостиный Двор», антологии «Внуки Вещего Баяна». Автор трёх поэтических книг. Дипломант литературного Аксаковского конкурса(2008). Живёт в Оренбурге.

БРОСАЯ СНЕГ

Бросая снег,
Как рвань черновиков,
Наполненных
Озябшей пустотою,
Перебирая тучу облаков,
Зима рвалась
К душевному покою.

Хотелось
Жизни новой в декабре,
Холодной жизни —
Без стихов и прозы.
Рекой замёрзшей
Просыпаться на заре,
И отдыхать
В безлюдные морозы.

СИНИЦЫ

В веренице холодных и
сумрачных дней,
Белым мякишем чтоб
прокормиться,
Прилетают синицы к кормушке
моей,
Желтогрудые малые птицы.

Подлетят, поклюют и исчезнут
вдали,
Не нужны им сочувствия
вздохи.
Так и радость мою по чуть-чуть
унесли,
Мне остались замёрзшие
крохи!

Всё идут вереницей
холодные дни,
Как голодная птица ждёт
хлеба,
Так и я, затаивши
печали свои,
Жду, смилосердствует ли
небо?

* * *
Чем встречу я весну?
Весну я встречу словом
Едва не позабытым, молодым,
И будет город жить в
апреле новом,
И буду жить дыханием
простым,

Идти от огорбевшей суеты
Туда, где чувства ветром
отзовутся,
Где тихие и давние мечты
В молчании с цветением
сольются,

И с той поры уже не обещать
Открытого для всех
непостоянства.
Все дни нести возвышенную
стать
Без отравляющего
самозванства.

* * *
Рука к руке —
Тоска к тоске,
Глазам не нужно подниматься,
На необъятной высоте
Не нужно прошлого касаться.

Я сердце нёс к тебе, моля
Не вспоминать о
безвозвратном,
Через отцветшие поля,
В мерцании огней закатном...

* * *
Рифм
Удивительных приливы
Волна
Волнует за волной.
Как горожанин торопливый,
День пробегает стороной.

Когда созвездий тихих стая
Ждёт вереницу облаков,
Луна украдкою читает
Черновики моих стихов...

* * *
Звезда
Как палуба сияла,
Когда
Я шёл к тебе, мой друг.
Мы сговорились:
«У причала...»
При штормовом касаньи рук.

Стоял напрасно у причала,
Мельчило время — «ни-че-го»...
Я как маяк, горя устало,
Ждал парус платья твоего.

БАБОЧКИ

Павлиний глаз маячит всюду,
Лимонница за ним вослед:
Таранят будничную груду
Весною солнечных примет.

Для бабочек цветных стихия:
Дарить картинное крыло,
Летят нарядные, лихие,
А рядом — камень и стекло.

Но день, спокойно уплывая,
Приблизит бабочек мечты.
Неделя с небольшим до мая.
Там — только небо и цветы!

НЕБО ЦВЕТА СТАЛИ

Небо цвета стали,
Старенький трамвай.
Помнится, мечтали —
Солнца — через край!
По широким листьям
Семенят дожди
Шагом тихим лисьим.
Гололёда жди...

ОДУВАНЧИКИ

Одуванчики цвели
Под моим окошком
Украшеньем для земли
И на радость мошкам.

Глаз недолго баловали
Жёлтые цветочки,
А их девочки сорвали
И сплели веночки.

ШАРФ

Играла капель. Мы
радостно шли,
Нам не было дела до
серой земли.
Твой шарф окрылила
воздушная сила,
И ты, улыбнувшись, его
отпустила!
Он вверх устремился меж
тесных домов,
А мы за полётом следили
без слов.
Вдруг шарф золотой
обхватил провода,
Его освещала дневная звезда,
Над слепо идущими
в стены свои
Твой шарф развевался
строкою любви!

ДЕРЕВО

Смотрите — это дерево,
Не знающее слов.
Вы видите теперь его,
Я — через пять веков.
Придёт сентябрь желанный,
Я краски принесу.
Забудется красавица
И споры о луне,
А дерево останется...
Пейзажик на стене.



Сергей ПАРАМОНОВ

«ГДЕ БЫЛА МОЯ ДЕРЕВНЯ...»

Сергей Викторович Парамонов родился в 1962 году в Бугуруслане Оренбургской области. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета им.М.В. Ломоносова. Работал в центральных и столичных изданиях: газетах «Первое сентября», «Век», «Вечерняя Москва», «Известия» («Неделя»), был ведущим обозревателем издательского дома «Один из лучших». Печатался в журналах и альманахах «Рейс», «Мансарда», «Зелёное одеяло» и др. Лауреат творческого конкурса «Поэт года – 2011». Живёт в Бугуруслане, работает на местном телевидении.

АРХЕТИП

Когда идёт процесс,
И я у муз в неволе,
То я пишу про лес,
И я пишу про поле.

Мне это не претит,
Традиция — не травма,
Поскольку архетип
Работает исправно.

Слова слетают с губ,
Отпор давая спорам.
Стоит высокий дуб,
Сидит на дубе ворон.

Где Русь жила-была,
Без лишних околесиц
Златятся купола,
Висит на небе месяц.

Там есть и в речи толк,
И в образе высоком.
Там серый рыщет волк,
И зоркий реет сокол.

И я туда иду
По дедовскому следу,
И я с собой веду
Былинную беседу.

Закончится строка,
Подумается — экось!
Россия — широка,
Россия — это эпос.

В преданиях — туман,
В исканиях — услада.
За словом лезть в карман,
Поэты, вам не надо.

ЖЕНЩИНЕ

Состояние неба осеннее,
Состояние сердца плакучее.
Я вцепился в тебя, как в
спасение
Волей Господа, силой
случая.

Я в тебя провалился, как в
зарево,
Взяв пожитки свои
неказистые.
Остальное моё разбазарено
На пути к обретению
пристани.

Я в тебе пребываю
беспамятно,
Я в тебе засыпаю
младенчески,
Свято место, что было
не занято,
Обретя среди смрада и
нечисти.

Зверю зверево пусть, богу
богово,
А пропойце запас его
водочный.
Ты меня не изгонишь из
логова
Колыбели своей
богородичной.

Я тебя не оставлю по прихоти,
Что не станет твоими
печалями,
Потому что затворы на выходе
Ты ковала несъёмными
чарами.

Ты возьмёшь меня как
обретение,
Ты меня не отринешь
застенчиво,
Как животное или растение,
Заключённое в имени
Женщина.

МОЯ ДЕРЕВНЯ

На ветру шумят деревья,
Вьются хмель и бересклет.
Тут была моя деревня —
Та, которой больше нет.

Лишь пустырь, как пепелище,
Что густой травой зарос,
Да такое же кладбище,
Где давно не видно роз.

Люди жизни не спасали,
Уходя, в конце концов.
Но зачем-то побросали
На могилах мертвецов.

Редко нынче навещают
Место, где они лежат.
И никто не обещает
Возвращения назад.

Тут ни тропки, ни колодца,
Лишь колючки да бурьян.
И в ночи не раздаётся
Ни гармошка, ни баян.

И никто не ходит в гости
Под весёлый перегуд.
Черепа одни да кости
Память жизни стерегут.

Да хранят ещё деревья
Эхо радостей и бед,
Где была моя деревня —
Та, которой больше нет.

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Много в солнце и силы,
и ласки,
И растут по полянам цветы.
Соберу я анютины глазки,
Улыбнёшься им солнечно ты.

В них опустишь лицо на
мгновенье
И вдохнёшь всё раздолье
полей.
Это твой на земле день
рожденья,
На прекрасной планете твоей.

Вот и кончились белые
сказки,
Что шептала нам вьюга зимой.
И посмотрят анютины глазки
На подарок застенчивый мой.

Я не то чтобы очень старался,
Это всё породила земля.
И букет сам собою собрался,
Сокровенное что-то тая.

В нём забота моя и тревога,
И смешные мечтанья мои.
И обычного счастья немного,
И немного обычной любви.

Что нам горе и всякая смута,
Если радостен каждый
рассвет.
И несёт на планете кому-то
Кто-то милый такой же букет.

ВЫ ЕЩЁ БУДЕТЕ НАМИ ГОРДИТЬСЯ...

17 лет в системе дополнительного образования г. Оренбурга работает литературное творческое объединение детей «Детский стиль» на базе Оренбургской средней общеобразовательной школы №3, руководит которым педагог высшей квалификационной категории городского Дворца творчества детей и молодёжи Татьяна Семёновна Будкова.

Юные авторы многократно доказали свою творческую состоятельность на ежегодных городских, областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах: Всероссийский литературный Пушкинский конкурс «Капитанская дочка», «Рукописная книга», «Мой город любимый», «Волшебное перо», «Интеллектуалы 21 века», имени Н.Ф. Корсунова и др.



Но, пожалуй, самое любимое пристанище литературных работ воспитанников – школьная газета «Детский стиль», которую любят читать и дети и взрослые. Здесь маленькие авторы получают своё первое признание, успех, где чувствуют силу и значимость печатного СЛОВА.

Воспитанники литературной группы регулярно печатаются в коллективных сборниках – альманахе «Гостиный двор», детском приложении «Гостиный дворик», «Здравствуй! Это – я!», «Там, где я живу», «Каждый день благодаря», «Шкатулка счастья», «Ручейки» и др. , на страницах региональной и российской прессы, а их руководитель неоднократно отмечалась Почётными грамотами, благодарностями, дипломами Союза писателей России, Министерства образования Оренбургской области, Министерства культуры Оренбургской области, администрации г. Оренбурга, Оренбургской областной общественной писательской организации.

Доминика ИЗОТОВА, 1 класс

ЧТО Я ЛЮБЛЮ

Я много чего в жизни люблю. Людей люблю. Конечно, в первую очередь, маму и папу, бабушку Таню, бабушку Машу, дедушку Сашу, дедушку Юру. Маленькую мою сестрёнку двоюродную — Вику. Братиков — Сашу и Рамильку. Из животных — черепаху Чебурашку, кошку Дымку.

Я люблю, когда мама с папой не ссорятся. Когда папа со мной играет в настольную игру «Семья».

Люблю подружку Олю; правда, мы иногда с ней ссоримся в школе из-за мытья доски. Каждому хочется доску мыть!

Я люблю, когда мама или папа готовят макароны с колбасой или сосисками.

Люблю, когда меня хвалит учительница по английскому, и Вера Тимофеевна. Меня сегодня Вера Тимофеевна весь день хвалила!

А ещё я люблю тишину. Хоть в классе, хоть дома.

Не люблю, когда меня ругают. Когда дерутся или ругаются. Не люблю, когда меня царапает кошка Дымка. Честно, я её не обижаю! Когда я убегаю от неё, она ловит мои ноги и царапает их!

Не люблю жареные помидоры. Зачем их жарить? Не люблю печень есть. А мама заставляет, говорит — полезно. А ещё борщ не люблю. Там опять помидоры жареные. И капуста варёная.

ПРАБАБУШКИНА ЖИЛЕТКА

Этим летом мы гостили у прабабушки Регины. Маме — она бабушка. А кому она мама — я пока не знаю. Прабабушка Регина живёт в Чехии. Это далеко от России. С ней вместе жили её родственники — Павлик маленький и Павлик большой. Они говорят и по-русски, и по-чешски. Прабабушка Регина была совсем старенькая, уже не ходила, ей носили в постель еду и чай. За время, когда мы гостили, она связала моей маме жилетку. А мне не успела — умерла. Сняла с меня мерки, уже начала вязать. Зачем люди умирают? А недовязанная жилетка так и осталась там, в Чехии. Но осталась мамина жилетка. Когда я её трогаю, то вспоминаю, как прабабушкины руки вязали её.

Настя ТОМИНА, 2 класс

СИНИЧКА

К нам в школу залетела синичка. Как она к нам попала? Оказалось – залетела в открытое окно. Она летала по всей школе, даже залетела в столовую. Дети, как сумасшедшие, стали синичку гонять. Она, бедная, не знала, куда ей деваться!

Представила, что я синичка. Конечно, я была бы любопытной синичкой. Я бы сначала полетела в столовую, крошек поклевать. Потом – во 2 в класс, где Настя Томина учится. Я бы залетела под парту и стала ей подсказывать по русскому. А потом бы попрощалась с ней и улетела! На улице лучше – весной пахнет! И не страшно совсем!

БОЖЬЯ КОРОВКА

К нам в гости прилетела «божья коровка»!
Интересно было, где она жила?
Приземлилась на руку мне она неловко,
Это значит, что зима прошла.

На крылышках «коровки» всего четыре точки,
И глазки у «коровки» совсем не разглядеть.
Положим угощенье на розовом платочке.
– Ой! Как бы угощением малышку не задеть!

Угостим «коровку» зефиром и печеньем,
Соком, шоколадом, сгущённым молоком!
И напишем про неё стихотворенье!
И посадим, сытую, на веточку потом!

Настя ЖИТИНСКАЯ, 3 класс

ПРО ПАПУ ИГОРЯ И ЧЁРНУЮ КУРОЧКУ

У нас на даче летом жили две курочки и один петушок. Одна курочка рыженькая, старенькая. А другая молоденькая, чёр-

ненькая. Курочек развели для того, чтобы осенью съесть. В начале сентября мы съели двух, осталась одна чёрненькая. Папа сказал:

— Ни за что не дам зарубить! Отнесу в гараж, пусть там живёт. Потом куплю ей петушка, отдам в Кушкули. Будет яйца нести.

Дело в том, что папа очень привязался к ней. Мама говорит:

— Что ты с ней возишься, заруби!

— Как я могу, — говорил он. — Она же на тебя похожа — такая же чёрненькая! Вот такой мой папа. Всех жалеет!

Вика СИМОНОВА, 5 класс

СОГРЕЙТЕ ПЛАНЕТУ!

А если бы,
Если бы наша планета
Была бы большим одеялом одета,
Таким разноцветным,
Пушистым и тёплым!
Чтоб жители нашей огромной планеты
Таким одеялом были согреты!
И если сердца у всех будут согреты,
Не будет горя у нашей планеты!
И будут рождаться на этой планете
Не столько солдаты,
А сколько поэты!

Даниил ЗАПОЛЬСКИХ, 4 класс

УРА! ФИЗКУЛЬТУРА!

Наталья Анатольевна, наш учитель физкультуры, мечтает, чтобы все дети нашей школы стали атлетами. При всяком удобном случае ставит в пример самого президента России! А нормы ГТО она мечтает применить в будущем ко всему народонаселению нашей школы!

Вот и сегодня урок физкультуры — яркий тому пример.

После 10-минутной разминки мы 30 секунд приседали, потом 30 секунд прыгали на скакалке, затем прошли круг пешком. А зал у нас о-о-очень большой! И круг просто бесконечный! Наконец мы столпились вокруг учительницы и начали мерить пульс. Мерим мы пульс на шее, чтобы вы знали. У меня был пульс 144!

— Нормально! — сказала весело Наталья Анатольевна. — А теперь отжимайтесь 30 секунд!

В бешеном ритме я отжимался 30 секунд. Не помню, сколько раз отжался.

Затем (ох, можно отдохнуть!) опять прошли круг, и пульс уже был 160! Мне было страшно — (вдруг, я умру?!), начали трястись ноги, и казалось, моё сердце покинет не только мою грудную клетку, но и пределы школы.

— А сейчас, — радостно прозвучал голос учителя, — опять приседаем 30 секунд! Всего-то 30 секунд, ребятки!

А потом мы 30 секунд прыгали на стену (как можно выше коснуться руками!) Сначала я прыгал, как лев. Я представил, что там, на дереве — добыча! А я очень голоден! Я два раза прыгнул, как лев, а последние два раза — как парализованный заяц. А, может, как старая черепаха? Знайте — и черепахи могут прыгать!

— А сейчас одну минуту прыгаем на скакалке!

Одна минута была для меня целой вечностью! Спортивный зал вместе со стульями и скамейками прыгал вместе со мной.

Пульс у меня был 132!

Когда я спускался по лестнице, ноги меня не слушались. Главное, я ставлю ногу на ступеньку, а она не ставится! Ни одна нога идти не хочет! И трясётся, как ненормальная! Леша, мой друг, спас меня. Он вывел меня из класса и довёл до вахты.

В классе я сообразил — мне срочно нужно попить. А, может, поесть? Иначе мне конец. Яблочно-персиковый сок из «Магнита» спас мою жизнь. Пульс нормализовался.

Возможно, мечта моего папы (чтоб я не был слабаком), исполнится. Тем более, что таких уроков — два в неделю.

Вы ещё будете мною гордиться!

Да здравствует физкультура!

Дарья ДОРОГИНА, 10 класс

СВЕТ МОЕГО ДОМА (*очерк*)

У меня лучшие в мире мама и папа — так я могу утверждать, прожив с ними целую жизнь! Хотя мне папа не родной. Он взял мою маму с ребёнком — то есть, со мной. Мама меня родила в 17 лет, и теперь у молодой, красивой мамы такая взрослая дочь. На фото — мы как сёстры. Папа не мог не влюбиться в маму. С доверчивым, детским выражением лица (почти как у маленькой девочки!) моя мама нуждалась в защите! А он только-только вернулся тогда с чеченской войны. Как говорится в таких случаях, папа воспитывал меня как родную дочь, а потом они с мамой подарили мне младшую сестрёнку Катю!

Живём мы вчетвером в одной комнате, у нас с сестрой двухъярусная кровать. Из двух старых офисных компьютеров папины «золотые» руки собрали один домашний! Теснота неимоверная!

Кстати, ругает папа нас с сестрой мало, а наказывает за провинности «домашним арестом». Это хуже всего! Это пытка, я — большая, сильная, красивая — в клетке.

14 лет мы живём в комнате в 14 квадратных метров. Простор её увеличивается визуально, когда открываешь дверь в крохотную кухоньку напротив. Дом принадлежит папиной прабабушке, они с бабушкой занимают вторую половину дома. А ещё есть у нас двор с огородом. Нам принадлежит половина. Там растут летом огурцы, помидоры. В огороде больше летом работает мама. Лето для меня — время священное. Я вырываюсь на волю. Хочется с утра уйти на пляж и только вечером вернуться. Но не всегда удаётся — дома меня ждут обязанности — полив, прополка.

Если перечислять «преимущества» нашего бытия, повторю — у нас есть ДВОР (это немаловажно, есть куда выйти из клетки-комнаты!), а там — сарай, погреб, банька! Отсутствие полного ремонта в бане не мешает нам мыться. Самое важное — там тепло и горячая вода! Остальное — неважно! И есть у нас с Катькой «сказочное местечко» — «второй этаж» сарая. Из-за отсутствия территории кому-то пришло в голову достроить сарай вторым этажом. И правильно сделали! Там наша летняя «резиденция». Ещё маленькой я затащила туда тяжеленную рас-

кладушку. Мы там с сестрёнкой играли в куклы. Вдали от всех. Там хранятся наши реликвии — вещички, связанные с детством. Например, синее одеяло. Мы на нём играли с сестрой, а когда становилось холодно, укрывались. И сквозь щели сарая на нас смотрели звёзды. Простите за пафос.

Хотите — верьте, хотите — нет. Мне десять лет снятся одни и те же сны — про мой дом. Моя комната, а там — высокие потолки, и свет, льющийся в окна. Бедный мой папа! Мой высокий и красивый папа ненавидит, как и я, низкую дверь в нашу комнатку. Теперь и мне приходится пригибаться, чтоб не стукнуться.

Но... есть свет впереди!

— У нас всё будет! Главное — чтобы не было войны! — говорит папа.

Мы купили участок в колхозе им. Ленина, очень дёшево, (нам повезло!) и теперь там строим дом. Он стоит на холме, и вечером виден весь город Оренбург. Особенно ночью красивая картинка — видны все огни ночного города. В нашем доме будет два этажа, четыре спальни. Переедем летом. Скорее бы! Какой-то древний философ сказал, что большее в жизни достаётся тем, кто умеет терпеть.

В новом доме, на мансарде, у меня будет отдельная комната! И у Кати тоже! Да мне хоть на чердаке, да только своя комната! На наших дверях не будет замков. Так решили родители. Буду запирать дверь шкафом! Это будет моя территория!

Идея построить свой дом — папина. Прошедший «вторую чеченскую» папа стал глядеть на мир другими глазами. Там, на войне, папа думал (он нам рассказывал), что больше всего он боялся привыкнуть к войне. И что там у него появилась мечта — построить свой дом, и чтобы никто не смог его разрушить. И защищать свой дом он будет до последнего.

До последнего вздоха защищал свою Родину мой прадед — Киданов Николай Васильевич. Его фамилия высечена на мемориале Вечного огня.

Там, в Чечне, папа был милиционером. Они первые зачищали территории для солдат. Всё вокруг было пропитано гарью и порохом так, что во время зачисток служебные собаки скулили и не знали, куда сесть (у них хорошее чутьё, и ни одна не сядет там, где есть взрывчатое вещество). У отца была собака по кличке Гера. Она спасла ему жизнь. Во время одной зачистки соба-

ка первая забежала в заминированный подвал. Я боюсь войны.

Выживать легче, когда знаешь — там, на холме, строится твой дом. Мама его поддержала не сразу: «Мечтать не вредно! Как?! На какие деньги? Девчонкам надеть нечего, а они уже большие.... Ты знаешь, что такое кредит в кризис? А если потеряем работу? Да ещё эта война на Украине!»

Я думаю о мире, думаю о доме. Думаю каждый день, и, кажется, каждую минуту (даже если мои мысли о другом! Так бывает!). Вот сейчас, зимним вечером, думаю о рыбалке. Папа научил меня рыбачить. Когда мы выбираемся на природу, папа сначала ловит рыбу, потом ест и ложится спать, пока мы, девчонки (мама, Катя и я!) собираем цветы и плетём «косы». Это так здорово! У нас не получается часто собираться вместе. (Работа! Работа! Учёба!) Самое замечательное на рыбалке — простор, природа, воздух! Запах воды особенный. Можно долго-долго сидеть с удочкой на берегу, ждать клёва...

Совсем скоро наш дом будет светиться огнями. Может быть, этим летом.

Папа сказал, что на доме обязательно будет висеть российский флаг.

Алина ВАХИТОВА, 10 класс

* * *

Вот деревня та родная,
Сена стог. Стада коров.
Солнце, нежно припекая,
Их коснулося голов.
Все лужайки в пёстром цвете,
Пахнут запахом родным,
Вижу, конь в упряжке скачет,
По просторам дорогим.
Треплет гриву теплый ветер,
Небо — ширь! Простор — беги!
Ах, как хочется с ним вместе
Порезвиться у реки!

* * *

Колышутся ветром колосья,
Плывут тучи в синей дали.
Подсолнухов целое море
И солнце румяное в поле –
Всё это просторы мои!
Цветка не сорву даже в поле,
Не нужен мне мёртвый венок,
Дышите, букеты, на воле!
Расти, милый мой колосок!

* * *

Я счастлива. Как будто вся природа
Вновь улыбнулась для меня,
Жду с нетерпеньем прихода декабря,
С зимой душа моя почувствует свободу.
Я знаю – первый снег печали заметает,
Прощаюсь я с тоскливым, серым ноябрём.
И первые снежинки землю застилают
Спокойным белым бархатным ковром.



Вика Симонова



Настя Житинская





Алина Вахитова



Настя Томина



Дарья Дорогина



Даниил Запольских



Доминика Изотова



Галина МАТВИЕВСКАЯ

«МНЕ ЖАЛЬ, ЧТО Я НЕ ОТЕЦ ВАШ...»

В.А. Перовский и братья Брюлловы

Галина Павловна Матвиевская родилась в Днепропетровске. Вместе с семьёй в 1941 году переехала в Оренбург. Окончила математико-механический факультет Ленинградского государственного университета. Доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН Узбекской ССР, академик АН Узбекистана, действительный член Международной академии истории науки. С 1994 года – профессор Оренбургского государственного педагогического университета. Член Союза писателей России. Известный краевед, автор многочисленных работ по истории края. Лауреат Всероссийской литературной премии «Капитанская дочка», Шолоховской премии «Они сражаются за Родину», дважды лауреат премии «Оренбургская лира», премии имени Валериана Правдухина альманаха «Гостиный Двор» (2009).

I. «Любезный Барабашка, вспомни старую дружбу нашу...»

Золотым веком Оренбурга когда-то назвали 30-е годы XIX века — время правления военного губернатора Василия Алексеевича Перовского, оставившего важный след в истории культурной жизни края. К числу его близких друзей принадлежали выдающиеся русские художники братья Брюлловы Александр (1798-1877) и Карл (1799-1852). Оба они в своих произведениях запечатлели внешний облик Перовского, а Александр по его просьбе составил проект зданий Караван-Сарая и Дворянского собрания, до сих пор украшающих Оренбург.

В рукописном отделе Пушкинского дома в Санкт-Петербурге хранятся четыре письма Перовского[1], из которых вид-

но, как складывалась его дружба с Брюлловыми, возникшая в молодости и сохранившаяся на долгие годы. В опубликованном в 1900 году «Архиве Брюлловых»[2] эти письма приводятся с некоторыми изменениями.

В 1822 году братья Брюлловы после окончания Академии художеств были отправлены «для усовершенствования способностей» за границу недавно образованным Обществом поощрения художников. Они обосновались в Риме вместе с другими молодыми людьми, посланными в Италию Академией художеств. Весной 1824 года в Рим приехал В.А. Перовский, путешествовавший по Италии и уже посетивший Верону, Венецию и Флоренцию. Здесь он близко сошёлся с Брюлловыми, стал горячим поклонником таланта обоих братьев и с тех пор всячески старался оказывать им поддержку, содействуя их успеху в петербургском высшем свете.

С Александром его особенно сблизила совместная поездка на юг Италии. В конце апреля 1824 года вместе с несколькими ценителями искусств они посетили Неаполь, поднялись на Везувий, провели ночь у кратера вулкана, ознакомились с раскопками Помпеев и Геркуланума, древнеримских городов, погибших при извержении Везувия в 79 году. Затем Перовский поселился для лечения в Сорренто, а в конце июня к нему присоединился Александр Брюллов. Вместе они прожили два месяца и совершили поездку на Сицилию.

Своими впечатлениями от увиденного в Италии они оба делились с близкими в своих письмах в Петербург. Отрывки из писем Перовского, адресованные его другу поэту В.А. Жуковскому, были опубликованы в 1825 году в альманахе «Северные цветы» и переизданы в вышедшей в 1999 году в Оренбурге книге «Оренбургский губернатор Василий Алексеевич Перовский»[3].

Александр Брюллов в письме к родителям от 8 мая 1824 года описал экскурсию на Везувий в компании людей «один любезнее и веселей другого», среди которых назвал Н. Львова (сына архитектора и поэта Н.А. Львова), П.Л. Шиллинга и В.А. Перовского, адъютанта великого князя Николая Павловича[2] (с.49-50). В письме от 29 июня он рассказывал о том, что приехал в гости к Перовскому, «который живёт в Сорренто, чтобы брать морские ванны», и поселился в доме, стоящем «в месте довольно уединённом», что время он проводит в труде, но и «весьма весело», что они с Перовским совершили поездку на Капри и осмотрели развалины дворца римского тирана Тиверия[2] (с.54-56).

27 августа Александр сообщал, что с грустью покидает Сор-

ренто, где «всё прекрасно», и отправляется с Перовским на Сицилию. «Я не могу вам сказать, — писал он, — как прискорбно оставить такое прекрасное место навсегда. Эти два месяца, которые я прожил здесь, показались для меня менее двух недель»[2] (с.63). О Перовском он говорит, что это «человек прекрасный, прямой, любит тихую жизнь и художества» и что он старается создать известность его работам: «Он взял у меня, — пишет А. Брюллов, — рисунок Потсдамской картинной галереи (который я сделал, проезжая Пруссию) и послал оный великому князю» (там же). Письмо завершается словами: «Вы можете себе представить, как весело с ним живу и с какою пользою могу сделать сей вояж в Сицилию» (там же).

В Сорренто Александр Брюллов написал акварельный портрет Перовского. Они оставались вместе ещё долго. Только в письме от 29 апреля 1825 года из Неаполя сообщается, что Перовский «уехал вчера отсюда и, может быть, через два месяца будет в Петербурге» (с. 75). «Он обещался мне вас посетить, — пишет Александр родителям, — вы, верно, найдёте в нём прекраснейшего человека на свете» (там же).

Письма Александра Брюллова к родным и в Общество поощрения художников показывают, что развалины Помпей, с которыми он хорошо познакомился в это время, оказались для него как для начинающего архитектора чрезвычайно интересными, и он серьёзно занялся их изучением.

Именно об этом идёт речь в первом письме В.А. Перовского, которое написано в Риме на обратном пути автора в Россию (по-видимому, в мае 1825 года) и адресовано «Брюллову Барабашке». Так он шутливо называл Александра. Его письма начинаются обращением: «Любезный Барабашка!», но при их публикации оно было заменено официальным: «Любезный Александр!»[2] (с. 188, 190, 191).

В своём письме опытный Перовский даёт приятелю советы по поводу его переписки с Обществом поощрения художников, перед которым Брюллов сильно робел.

Перовский пишет: «На другой день по приезде моём в Рим получил брат твой Карлучио два предписания от Общества: одно, на твоё имя, прилагаю здесь в подлиннике, другое, адресованное на имя брата, — в копии. Так как Карлучио, сверх своей природной ненависти к письму, имеет теперь ещё и занятия, то и невероятно, чтобы скоро собрался писать тебе, а потому и решился я предупредить его, присовокупляя несколько отеческо-дружеских советов и наставлений, которым ты последуешь,

если захочешь».

Первый совет касается проекта нового петербургского театра, который по желанию Общества поощрения художников должен был представить Александр Брюллов. «Это, — пишет Перовский, — как сам понимаешь, дело не бездельное: Общество требует проект сей к будущему генварю, и мне кажется, что это дело невозможное. Я думаю, что на сей пункт ты должен отвечать в следующем смысле: напиши, что ты займёшься немедля сею задачею, будешь стараться разрешить её самым удовлетворительным образом, но, к сожалению твоему, не видал ещё театры Миланские, Парижские и прочие; что единый способ достигнуть требуемого совершенства в подобных зданиях есть — сравнивать удобства и недостатки, выгоды и невыгоды уже существующих, дабы избегнуть их в предпринимаемом... Остаётся тебе только 6 месяцев на производство работы, а потому и надеешься, что, если замедлишь оную, замедление не будет приписано ничему другому, как только желанию и старанию исполнить достойным образом данное тебе поручение».

Особенно важно, по мнению Перовского, чтобы Александр убедил покровителей в серьёзности своих намерений заняться изучением античной архитектуры. Он пишет: «Общество думает, что ты уже в Риме, и ждёт отчёта о твоём времени и намерениях. Скажи Обществу: «По возвращении моём из вторичного путешествия по Сицилии намеревался я быть в Риме для продолжения прерванных мною занятий по архитектурной части, но Его Величество король Неаполитанский, увидев случайно мои рисунки, пожелал, чтобы я сделал портреты как Его Величества, так равно и королевы, принцессы Кристины и прочих детей Их Величеств. Три первых портрета уже мною сделаны, и король остался ими весьма доволен... Я льщу себя надеждой, что почтенное Общество одобрит сие занятие, от которого отказаться мне было невозможно и которое доставляет двойную выгоду: я получил от Его Величества рекомендательные письма к королевской фамилии в Париже и позволение (которого не получил ещё ни один художник) снять подробный рисунок с новооткрытых в Помпее бань, которые красотой своею превосходят все доныне известные в древнем городе здания».

Далее следуют другие советы, новости из жизни русских художников в Риме, обсуждение денежных дел, а также скопированное Перовским письмо Общества Карлу Брюллову с высокой оценкой его работы. Перовский заключает: «Меня обрадовало крайне видеть, что Общество имеет о тебе и брате истинное по-

нятие и отдаёт вам должную справедливость — брату, как видишь, продолжены сроки заграничной жизни неопределённо; нет сомнения, что то же сделают и для тебя».

Второе письмо Перовского прислано Александру Брюллову уже из Петербурга. Оно начинается с выговора. «Любезный Барабашка, — пишет Перовский, — я получил холодное и почти грозное письмо твоё: ты на меня гневаешься. Как смел я подозревать тебя в лени, как смел сомневаться в твоей деятельности? Оправдание моё в твоих деяниях и неисполнении твоих обещаний: ты должен был прислать мне в Вену рисунки для Общества, и рисунков этих до сих пор я не получил, не знаю даже, сделал ли ты их. Я знаю, что тебе было много работы, но вся твоя работа расходится по рукам, а сюда доходит её совсем мало. Желая тебе добра, желаю то же установить здесь о тебе мнение, которое сам имею насчёт вас обоих, а в этом ты мне должен помогать присылкою хоть изредка твоего рукоделия». О серьёзности усилий Перовского свидетельствует его замечание: «То, что у меня есть твоей работы, видели Государь, Великий князь и прочие и все хвалили».

Из письма видно, что петербургская публика высоко оценила акварельный портрет Перовского, который Александр написал во время их пребывания в Сорренто. Он изобразил друга на фоне романтического пейзажа со скалой, напоминающей руины старинного замка. В молодом, нарядно одетом человеке художник сумел увидеть и выразить волевой характер и силу ума, в полной мере проявившиеся в годы зрелости Перовского.

«Мой портрет Соррентский попал на выставку Общества и заслужил одобрение всех, а он, — утверждал Перовский, — не лучшее твоё произведение; посему можешь заключить, что тебе будет нетрудно возбудить здесь всеобщее восхищение твоим истинно прекрасным талантом».

Поддерживал Перовский братьев Брюлловых и в материальном отношении. В первом письме он предлагал заработанные ими деньги поместить в Петербурге в ломбард под определённый процент, а во втором пишет: «Когда я взял твои и брата твоего деньги, то имел намерение здесь отдать их в ломбард, но, пробыв слишком долго в дороге и желая, чтобы вы ничего не потеряли, счёл я выгоднее удержать эти деньги у себя и не медля вексель на оные вручу твоему батюшке... На месте пяти процентов будешь ты получать десять, капитал можешь получить, когда захочешь».

Ценитель живописи, Перовский заказывал у художников

картины для своей коллекции. Особенно его привлекали работы Брюлловых. В письме он замечает: «Если бы мне не стыдно было тебя мучить, то хорошо бы тебе продолжать рисовать в мою пользу всё то, что мы видели вместе в Сицилии, и прибавить к тому несколько костюмов неаполитанских и римских... И прибавлю одно: я не потерплю, чтоб ты для меня работал дешевле, чем другим».

Письмо кончается словами: «Прощай. Целую тебя и люблю по-прежнему, то есть: очень».

В.А. Перовский не ошибался, предсказывая Александру Брюллову большие успехи. Неаполитанский король, довольный выполненными для него работами молодого художника, разрешил ему обмерить и зарисовать только что обнаруженные помпейские бани (термы). Закончив работу в 1826 году, он отправился в Париж, где подготовил и издал исследование об этом замечательном памятнике античного зодчества. Имя Александра Брюллова сразу получило известность среди специалистов.

В журнале «Отечественные записки» за 1827 год появилась следующая статья: «Отличный наш молодой художник Александр Брюллов, пребывающий ныне в Париже, доставил в общество поощрения русских художников — как новое свидетельство таланта своего и трудолюбия — превосходные чертежи и рисунки бань, вновь открытых в Помпее, кои ему одному позволено было снять по особой к нему милости короля Неаполитанского. Государь Император повелел ассигновать нужную сумму для издания сего любопытного творения — в пользу художника и под собственным его надзором. Нет сомнения, что оно принесёт русскому артисту большую честь, тем более, что он первый изобразил и описал с подробностию сей драгоценный образчик зодчества отдалённой древности, мало известной в области художеств».

В Париже он прослушал курс лекций по архитектуре в Королевской школе искусств и по механике в Сорбонне, познакомился с усовершенствованиями в конструкции театральных зданий и освоил технику литографии.

В Петербург Александр Брюллов вернулся уже признанным архитектором и художником. Сочинение «Помпейские термы» принесло ему звание члена Академии художеств и должность придворного архитектора. По его замечательным проектам в Петербурге были построены Михайловский театр, здание Штаба гвардейских войск, Пулковская обсерватория, Петропавловская лютеранская церковь на Невском проспекте и др.[4,5]

Славился он и как мастер акварельного портрета. Из его многочисленных работ сейчас наиболее известен прекрасный портрет Наталии Николаевны Пушкиной, выполненный в 1832 году.

В 1836 году, когда В.А. Перовский написал следующее из хранящихся в Пушкинском доме писем к А.П. Брюллову, он обращался уже к человеку знаменитому. Письмо отправлено из Оренбурга 6 октября. В это время военный губернатор собирался в длительную командировку в столицу и старался заранее обеспечить успех в решении вопросов, касавшихся управления Оренбургским краем. Среди намеченных им дел значилась постройка особого здания для канцелярии башкиро-мещеряцкого войска. В связи с этим Перовский решил прибегнуть к помощи Александра Брюллова.

Он писал: «Любезный Барабашка, вспомни старую дружбу нашу и займись, пожалуйста, без отлагательства составлением проекта по прилагаемой программе; я затеял строить здесь Караван-Сарай, это дело меня весьма интересует, хочется начать с наступлением весны; ради Бога, не мешкай. Я уверен твёрдо в твоём знании и вкусе, но крепко сомневаюсь в прилежании, ты мне обещал много, да сдержал мало. Не в поощрение тебе, а просто для сведения скажу тебе, что постройка Караван-Сарая есть затея не моя частная, а казённая, а потому труды по составлению смет и черчению планов и прочему будут вознаграждены по надлежащему. Задача довольно трудная, быть может, по ограниченности назначенного места, но если бы сажени слишком стеснили твоё зодческое воображение, то делай, как разумеешь, а я постараюсь приискать место по твоему плану. Обнимаю тебя, до свиданья; можешь ли ты приготовить дело за шесть недель после получения этого письма? — Ты бы меня обязал чрезвычайно. Душевно тебе преданный Василий Перовский».

Однако вскоре Перовский «одумался» в отношении заданной Брюллову жёсткой программы. В следующем письме, датированном 3 ноября, читаем: «Было бы бессовестно стеснить твой талант в подобном предприятии, назначая ему число сажен, на которых он имеет право развернуться; я решил строить этот дом за городом, места сколько душе твоей угодно; одного только не теряй из вида: мечеть должна быть по означенному на плане направлению. Материалы здесь дёшевы, но чрезвычайно дороги рабочие и особенно мастера; в этом отношении прошу тебя сообщить возможную экономию. Если бы ты потрудился устроить дело так, чтобы в бытность мою в Петербурге мог я представить

план Государю в начале января, то я бы тебя от всей души поцеловал, точно так, как теперь обнимаю. В. Перовский».

Мы знаем, что просьбу В.А. Перовского А.П. Брюллов выполнил и Караван-Сарай был возведён по его проекту. Ход строительства этого замечательного здания был подробно освещён на основании изучения архивных документов в работах В.В. Дорофеева[6].

А.П. Брюллову принадлежит проект и другого оренбургского памятника архитектуры XIX века здания бывшего Дворянского собрания. Хотя относительно этого здания в сохранившихся письмах В.А. Перовского к знаменитому архитектору упоминаний нет, его авторство засвидетельствовано в найденном историческом источнике в «Воспоминаниях» И.Ф. Бларамберга[7].

По-видимому, добиться от Брюллова выполнения этого проекта Перовскому удалось тогда же, зимой 1836-1837 года, во время их встреч в Петербурге. О них говорится в сохранившихся записках Перовского. Вот одна из них: «Я очень рад видеть тебя в таком расположении, любезный друг, но, не ожидав этого, в настоящую минуту я не могу тебе дать решительного ответа... Жаль, что ты мне не назначил, когда тебе удобно, а то ведь случиться может, что приеду к тебе невпопад? Обнимаю тебя. В. Перовский».

II. «Карл Брюллов любил Перовского и никогда ни в чём ему не отказывал».

Из писем В.А. Перовского, хранящихся в Пушкинском доме, видно, что с Карлом Брюлловым, как и с Александром, он подружился в 1824 году в Риме. Хорошо понимая живопись, он умел оценить огромный талант молодого художника и искренне радовался его успехам. В своё первое письмо к Александру Брюллову, отправленное в Неаполь из Рима, где Перовский останавливался по пути в Россию в 1825 году, он вложил собственноручно скопированное им предписание, которое Карл получил в это время из Петербурга. Председатель Общества поощрения художников П.А. Кикин писал, что оно, будучи «совершенно довольно» работой Карла Брюллова, продолжит получаемый им «пансион» и отсрочит ему возвращение в Россию «на такое время, какое нужно будет для произведения оригинальной картины». Общество выражало уверенность, что, «имея перед глазами образцы превосходные», прежде всего «Сикстинскую мадонну», Брюллов сможет «возвыситься до Рафаэля и занять у него то,

что составляет отличительное достоинство сего божественного творения: величие и изящнейший стиль».

«Теперь, — писал Кикин, — когда вы будете иметь случай войти в дух Рафаэля совершенно и когда познакомитесь короче с красотой его произведения, вы, конечно, изберёте для себя пути, ведущие к истинному совершенству». Выражая пожелание Общества, чтобы Брюллов создал «хотя одну значащую картину», председатель был уверен в успехе: «Вы, без сомнения, оригинальным произведением Вашим сделаете себе честь и, возвратясь в отечество, приобретёте уважение Общества и любителей просвещённых... Признательность и уважение к вам будут наградою трудов ваших».

Весьма полезным для Карла было названо полученное им от российского посольства в Риме поручение скопировать «Афинскую школу» Рафаэля. Общество, как говорилось в письме, «в полной уверенности, что вы приложите всё старание, дабы передать в копии сей красоты подлинника и тем сделаете услугу вашему отечеству, разрешает вам заняться сим делом безотлагательно».

Письмо заключалось словами: «Общество, продолжая вам пансион, надеется, что время, которое будет дано вам для вашего усовершенствования, вы употребите с совершенною пользою для себя, и уверяет вас в неизменном своём к вам внимании и покровительстве... Уведомления о вас самые приятнейшие радуют Общество, и оно находит большое удовольствие в том, что первый выбор его пал на вас и вашего брата».

Перовский, сообщая Александру об этом в высшей степени благожелательном послании петербургских покровителей, пишет о Карле: «У брата видел я прекрасную недоконченную картину для Львова «Арминия, приходящая к пастухам». Две картины костюмов (масляные же) для Нессельродши восхитительны... На днях начнёт он «Афинскую школу».

Своё отношение к братьям Брюлловым Перовский, обращаясь к Александру, выражает восторженно: «Словом, и ты, и он такие ребята, что мне жаль, что я не отец ваш или, по крайней мере, не Общество».

Карл Брюллов оправдал все возлагавшиеся на него надежды. Его работы пользовались неизменным успехом. В 1828 году журнал «Отечественные записки», извещая читателей о годичном собрании Общества поощрения художников, писал, что «главнейшими его действиями, на пользу отечественных худо-

жеств устремлёнными», можно считать «пособия для образования в Италии знаменитых художников наших Брюлловых». В подтверждение сообщалось: «Ныне с удовольствием узнали мы, что Карл Брюллов кончил уже копию с «Афинской школы», которая признана знатоками и художниками римскими лучшей копией, сделанной доселе с сего знаменитого творения Рафаэля, ибо Брюллов в ней не только сохранил все красоты подлинника, но отыскал, или лучше сказать, разгадал и то, что похитило у него время».

В 1833 году Карл Брюллов закончил свою «значащую» картину — «Последний день Помпеи», в которой проявились его талант и мастерство. Она написана под влиянием тех же чувств, которыми были проникнуты письма В.А. Перовского после посещения им вместе с Александром Брюлловым помпейских развалин в 1824 году. Хотя Карл увидел их впервые только три года спустя, сюжет картины, видимо, под влиянием очарованного Помпеями брата, у него к тому времени уже оформился.

Картина сразу принесла её автору европейскую славу. Она попала на Миланскую художественную выставку 1833 года, а затем её показывали и в других городах Италии. Везде она вызывала самые восторженные отзывы. Ученик Брюллова Г.Г. Гагарин вспоминал: «Города, где картина была выставлена, устраивали художнику торжественные приёмы; ему посвящали стихотворения, его носили по улицам с музыкой, цветами и факелами... Везде его принимали с почётом как общеизвестного, торжествующего гения, всеми понятого и оценённого[8]. Своим почётным членом Карла Брюллова избрали Академии художеств Милана, Флоренции, Болоньи и Пармы. Летом 1834 года картина «Последний день Помпеи» прибыла в Петербург. Приобретённая А.Н. Демидовым, она была преподнесена им Николаю I и заняла место в Эрмитаже. Столичная публика смогла познакомиться с ней в Академии художеств, где была выставлена, вызвав всеобщий восторг. А.С. Пушкин выразил свои впечатления в стихах:

Везувий зев открыл, дым хлынул клубом, пламя
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется, с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
Под каменным дождём, под воспалённым прахом
Толпами стар и млад бежит из града вон.

Сам Карл Брюллов вернулся в Россию в 1835 году. Он ехал через Грецию и Турцию, в декабре прибыл в Одессу, а в деся-

тых числах января 1836 года в Москву, где провёл несколько месяцев. Летом отправился в Петербург. На родине его ожидали торжественные встречи, поклонение любителей живописи и множество заказов от лиц, желавших быть запечатлёнными кистью знаменитого художника.

Зимой 1836-1837 года в столице К.П. Брюллов встретился с В.А. Перовским, приехавшим из Оренбурга в длительную командировку. Их старая дружба возобновилась и оставалась неизменной до самого отъезда заболевшего художника в 1849 году в Италию, где он вскоре скончался. Как вспоминает их современник, «Брюллов любил Перовского и никогда ни в чём ему не отказывал»[9]. Поэтому Василию Алексеевичу удавалось приобрести для своей коллекции работы мастера, среди которых был, например, портрет И.А. Крылова.

К.П. Брюллов написал три портрета В.А. Перовского. Из них широко известен поясной портрет, выполненный в 1837 году и хранящийся сейчас в Государственной Третьяковской галерее. Репродукция с него украшает обложку вышедшей в 1999 году в Оренбургском книжном издательстве книги «Оренбургский губернатор Василий Алексеевич Перовский»[3].

Копия с этого портрета находится в Оренбургском краеведческом музее. Недавно удалось обнаружить сведения о художнике, выполнившем эту копию. В газете «Оренбургский листок» за 19 октября 1897 года имеется заметка о состоявшемся 14 октября того же года заседании Оренбургской Учёной Архивной комиссии, на котором был принят в дар для музея комиссии «от В.П. Водопьянова портрет графа В.А. Перовского, писанный масляными красками жертвователем». Об этом говорится и в опубликованных протоколах заседаний комиссии, где перечисляются пожертвования для музея, сделанные в 1897 году[10].

В списках членов Оренбургской Учёной Архивной комиссии[11] значится, что Виталий Петрович Водопьянов был подъесаулом Оренбургского казачьего войска. Он активно участвовал в трудной работе по разбору документов архива оренбургского генерал-губернатора[12] и был автором статьи о миссии в Бухару, предпринятой в 1803 году Говердовским[13].

Третьяковской галерее принадлежит и другой портрет В.А. Перовского, на котором он изображён во весь рост, в мундире атамана оренбургского казачьего войска, на степном фоне и с конём на втором плане, которого с трудом удерживает казак. Этот портрет был написан Брюлловым также в 1837 году. Племянник Перовского, художник Л.М. Жемчужников вспоминал:

«Днём в большой гостиной я любил смотреть на портрет дяди моего Василия Алексеевича Перовского, изображённого во весь рост в атаманском казачьем мундире, в степи, на его серую лошадь и казака. Портрет этот подписан К. Брюлловым»[9].

Но вряд ли многие знают, что это произведение великого художника в своё время долго находилось в Оренбурге. Свидетельство тому мы находим в оренбургских газетах 1901 года, опубликовавших две посвящённых ему статьи.

Первая из них, принадлежащая известному краеведу С.Н. Севастьянову и появившаяся в «Оренбургской газете» за 2 ноября, озаглавлена «Портрет оренбургского генерал-губернатора графа Василия Алексеевича Перовского». В ней говорится, что в столичной газете «Новое время» появилась заметка «Забытый портрет», где описан находящийся в приёмной оренбургского губернатора портрет В.А. Перовского, в правом нижнем углу которого имеется подпись: «К. Брюллов». Высказывая опасение, что в частной квартире портрет легко может повредиться и погибнуть, автор заметки полагал, что он должен быть передан в Музей Александра III (теперь Государственный Русский музей).

Утверждая, что это невозможно, С.Н. Севастьянов приводит историю появления портрета в Оренбурге. Оказывается, 14 февраля 1883 года наказной атаман оренбургского казачьего войска М.М. Астафьев послал телеграфом ходатайство о передаче в Оренбург портрета Перовского, который предполагалось повесить в приёмной зале наказного атамана или в войсковом штабе. В ответной телеграмме от 24 марта сообщалось, что 15 февраля император пожаловал портрет оренбургскому казачьему войску. В Оренбург он был доставлен в октябре «при отзыве директора Императорского Эрмитажа от 13 октября 1883 года за № 434».

Севастьянов пишет: «Такова история передачи портрета графа Перовского оренбургскому казачьему войску. Из приведённых данных само собою вытекает, что портрет Перовского ни в коем случае не может быть передан в Музей императора Александра III без особого на то ходатайства войскового начальства и по воспоследовании Высочайшего соизволения на удовлетворение сего ходатайства; чего, конечно, ожидать едва ли возможно, так как это противоречило бы ходатайству, выраженному в телеграмме войскового атамана от 14 февраля 1883 года».

По мнению Севастьянова, собственноручная подпись К. Брюллова, которая якобы «едва уже заметна», и в петербургском музее «подвергнется тому же неумолимому закону времени». Утверждение же столичного автора о толстом слое копоти

от печки, покрывшем картину, как он считает, не имеет под собой никаких оснований.

Вторая статья на эту тему, написанная другим местным краеведом П.Л. Юдиным, автором исследования «Граф В.А. Перовский в Оренбургском крае», была опубликована в газете «Оренбургский листок» 2 декабря 1901 года. В ней излагается история создания портрета и передачи его в Оренбург, причём автор допускает ряд явных неточностей. Он ошибочно утверждает, например, что портрет был написан в 1841 году, после Хивинского похода. Далее он пишет, что из Зимнего дворца портрет был удалён по личному распоряжению Александра III «после несчастного случая, когда в заговоре против правительства была замешана Софья Перовская». П.Л. Юдин считает её «дочерью бывшего министра» (т.е. Льва Алексеевича Перовского) и племянницей Василия Алексеевича, тогда как она приходилась внучкой их старшему брату Николаю. Непонятно также, откуда автор заимствовал красочные подробности описываемых им эпизодов.

Однако относительно принадлежности портрета Перовского оренбургскому казачьему войску у П.Л. Юдина, как и у С.Н. Севастьянова, сомнений не было. Таким образом, следует думать, что и после 1901 года он оставался в Оренбурге.

Вопрос о дальнейшей его судьбе, возможно, и не возник бы, если бы не случайно попавшаяся на глаза вырезка из газеты «Пионерская правда» от 29 июня 1954 года.

В статье, озаглавленной «Вторая жизнь картин», заведующий отделом реставрации Третьяковской галереи М.Ф. Иванов-Чуронов рассказывал школьникам о работе по спасению повреждённых произведений живописи. Объяснив, что «время, недостаточно прочные краски, неправильное хранение, а иногда и несчастные случаи вредят некоторым картинам, портят их», он привёл пример из своей недавней практики.

«К нам в отдел реставрации — пишет Иванов-Чуронов, — принесли портрет героя Бородинской битвы 1812 года В.А. Перовского работы великого русского художника К. Брюллова. На снимке вы видите, в каком состоянии была эта картина». На приведённой здесь же фотографии — почерневшее, изуродованное трещинами и царапинами полотно, в котором с трудом угадывается знакомый портрет.

«Казалось — продолжает автор, — что произведение художника погибло безвозвратно. Но не так думали мы, реставраторы». Далее следует описание всех стадий проделанной работы и предлагается фотография картины после реставрации. Она вы-

глядит точно так же, как и на старинных репродукциях. Сейчас зрителю, увидевшему прекрасный портрет В.А. Перовского на выставке произведений К.П. Брюллова, невозможно поверить, что он существует только благодаря чуду, которое совершили художники-реставраторы. Хотелось бы знать, каким образом попал в их золотые руки многострадальный портрет, где он находился до тех пор и какой «несчастный случай» довелось ему пережить.

ЛИТЕРАТУРА:

1 Институт русского языка и литературы РАН (Пушкинский Дом). Рукописный отдел. 21088/ CXL V 6.7

2 Кубасов И. Архив Брюлловых, принадлежащий В.А. Брюллову / И. Кубасов. СПб., 1900.

3 Оренбургский губернатор Василий Алексеевич Перовский / сост. Е.Г. Вертоусова, Г.П. Матвиевская, А.Г. Прокофьева. Оренбург : Оренб. кн. изд-во, 1999.

4 Оль Г.А. Александр Брюллов / Г.А. Оль. Л., 1983.

5 Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины XIX века / А.Л. Пунин. Л., 1990.

6 Дорофеев В.В. Символ города / В.В. Дорофеев. Оренбург, 1993; Оренбургский губернатор Василий Алексеевич Перовский. Оренбург, 1999. С. 130—137.

7 Бларамберг И.Ф. Воспоминания / И.Ф. Бларамберг. М., 1978. С. 220—222.

8 Бочаров И.Ф. Карл Брюллов. Итальянские находки / И.Ф. Бочаров, Ю.П. Глушкова. М., 1984.

9 Машковцев Н.Г. К.П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях / Н.Г. Машковцев. М, 1961.

10 Протоколы заседания Оренбургской Учёной Архивной комиссии // Тр. ОУАК. Оренбург, 1898. Вып. 4.

11 Гос. архив Оренбургской области. Ф. 96. Оп. 2. Д. 49.

Отчёт о деятельности комиссии за 1897 г. // Тр. ОУАК. Оренбург, 1898. Вып. 4.

12 Водопьянов В.П. Неудавшееся посольство в Бухару поручика Говердовского в 1803 году / В.П. Водопьянов // Тр. ОУАК. Оренбург, 1897. Вып. 3. С. 1—23.



К.П. Брюллов
Портрет
А. Брюллова,
брата
художника
1823-1827 гг.



А.П. Брюллов
Автопортрет
1830 г.



А. П. Брюллов
Портрет
В.А. Перовского
1824 г.



К.П. Брюллов
Автопортрет
1823 г.

К.П. Брюллов
Портрет
В.А. Перовского
1837 г.





К.П. Брюллов
Портрет
В.А. Перовского в
мундире атамана
оренбургского
казачьего войска
1837 г.

Николай КУРОЕДОВ

НАПОЛЕОН ИЗ ПРОБКИ

(Отрывки из статьи «Николай Борисович Нагаткин»)

Занимаясь поисками материалов о двоюродном брате Сергея Тимофеевича Аксакова — герое войны с Наполеоном Николае Борисовиче Нагаткине, я нашла (на одном из Интернет-форумов) упоминание о статье, опубликованной в 1876 году в Москве в третьем и четвёртом номерах «Журнала Охоты», издаваемого под редакцией Л.П. Сабанеева. а написана, как следует из авторского примечания, в Уфе зимой 1875 года.

Статья прямо так и называлась: «Николай Борисович Нагаткин». Автором статьи является двоюродный внук Николая Борисовича Нагаткина, Николай Борисович Куроедов. Саму статью мне, хоть и не сразу, но удалось найти. Написана она была, как следует из авторского примечания, в Уфе зимой 1875 года.

Статья Куроедова, которую сам автор называет охотничьими эскизами, посвящена, большей частью, воспоминаниям о Николае Борисовиче Нагаткине как об охотнике. Но временами она выходит за рамки просто охотничьих рассказов, приятно удивляя самобытным языком, рассыпанными (забытыми) народными поговорками и охотничьими присказками, философскими пассажами, описанием деталей быта того времени и замечательных картин природы Оренбургского края. Природные местечки описаны Куроедовым так образно и в деталях, что так и хочется поехать и посмотреть, что же там сейчас! Ещё одна важная составляющая статьи — это запоминающиеся образы персонажей — охотников, жителей уезда в XIX веке. Некоторые из них играли полтора века назад заметную роль в жизни Бугурусланского уезда и губернии. Встречаются и неизвестные ранее сведения о судьбе некоторых героев произведений Сергея Тимофеевича Аксакова, и

их потомках. Даже авторские сноски и примечания в статье иногда не менее интересны в краеведческом плане, чем сам текст.

Я надеюсь, что предлагаемая вашему вниманию статья Николая Борисовича Куроедова добавит красок и дополнит ваши представления об историческом прошлом, в том числе о жизни героев аксаковских произведений.

Ольга Титова*

...Расскажу вам, господа, про моего двоюродного деда; про родного не стоит — он был не охотник. И расскажу не полную биографию сего ветерана времён Наполеона I, а просто-напросто о его характерной охоте, этой слабости, страсти, или как хотите, так назовите то непреодолимое влечение к истреблению всего живущего, которое преобладает в нас с вами иногда над всеми прочими желаниями.

Говорят, будто тут играет главную роль любовь к природе. Не думаю; да и странно, как-то не вяжутся меж собою эти два слова: любовь и истребление. А поумствовав поглубже, придёшь даже к такому заключению, что краса-то природы нередко ослабляет, так сказать, отбивает охоту, особенно у не очень ярых любителей пострелять, потравить и поудить. Проверим фактически.

Кто, например, из нас, господа, не испытал соблазна: отбросив охотничью сбрую, понежить усталое тело, напиться чайку на пригреве весеннего солнышка? Тут роща над тобой склонила едва зеленеющие ветви со своим таинственным шелестом и стоном вещуньи-кукушки; под ногами луговина, будто бархатный ковёр, расстилается вплоть до самого болотца у светлого озера, что как ртуть застыло, не шелохнётся; и только быстрый бег верховки, да звонкие всплески донной большаги-рыбы тревожат

Ольга Алексеевна Титова родилась в Свердловске, окончила математико-механический факультет Уральского государственного университета. Работает ведущим программистом в коммерческой фирме. С 2007 года занимается родословными исследованиями, является членом Уральского историко-родословного общества (УИРО) и Уральского генеалогического общества (УГО), автор статей по генеалогии и краеведению. Сфера интересов: изучение миграций и жизни семей заводских крестьян и мастеровых южно-уральских заводов, изучение родственных связей Сергея Тимофеевича Аксакова с дворянскими родами Оренбургской, Самарской, Уфимской губерний. Живёт в Екатеринбурге.

его спиральною зыбью, приятно пугая уши неожиданностью. А за озером степи раскинулись, горы туманятся, сливаясь с безоблачною далью... Привольно, тепло и покойно; так и манит на отдых и негу. Ну как тут не вспомнить про чайную флягу с таганцем? Отличное изобретение: в минуту кипит и клокочет китайское зелье с ямайской приправой, и, утопая на мягкой постели красавицы природы, благодушествуешь себе донельзя, услаждая вкус, зрение, слух и т.д. ...А солнышко уже на склоне, за горы, — вздремнуть захотело. Откуда-то и облако явилось над ним, понависло эфирным пологом и зарумянилось. Быть ветру завтра, думается; а теперь как тихо, славно!.. Вон бекас заблеял, чертя свои воздушные вольты над болотом, утки крякают за камышами; на озере гуси сереются. Дичи — бездна, и близко, и подойти отлично бы... Но как мирно всё это наслаждается жизнью, какой же я многогрешный! Успею ещё...

Нырнуло солнышко за горы, словно в пряташки заигрывает; и поползли от вершин тени длинные-длинные, как языки фельетонных сплетников. Чем-то пахнуло от озера, свежо так пахнуло — и зарябили воды с едва уловимым шёпотом; запел соловей в уреме... Обаятельны до истомы эти майские сумерки: так и лежал бы весь век, не шевельнулся бы, созерцая природу-красавицу!..

— Ах ты, косой чертёнок! — чуть шапку не сшиб зайчишка; и, прокортавив на выстрел от опушки, уселся хлупать лапками перед носом — фигура препотешная! Но уже дрогнуло ретивое охотничье, и невольно тянется рука за двустволкой... А впрочем, успею ещё: не миновать косому леса, вернётся; я же пока полежу, полюбуюсь. И ведь какой уморительный, бедняга, точно влюблённый жених перед свадьбой! Да уж полно, стрелять ли его весной-то? Непростительно, даже грешно... Тут безотчётно взглянешь на небо, а оно голубое, необъятное, близко так, тепло и любовно охватило тебя со всех сторон вместе с лесом, озером, степью и всею далью юдольною!.. Сумерки гуще и гуще, небо синее и глубже; звёзды блеснули, месяц затеплился, эхо звонче и торжественней; не достаёт только звуков Моцарта...

Но, чу! Крр-крр! — то вальдшнеп над тёмной вершиною липы. Жадно хватаешь ружьё и торопишься. Да уж не поздно ли, голубчик? И опять-таки жаль этого волокиту беспардонного: ведь он тоже жаждет любви и покоя!

Нет, господа охотники! Как хотите, не красота природы побуждает нас к кровожадной потехе.

I.

То же излагал мне и покойный дед, только своеобразно, отрывистой скороговоркой, сжато, сокращая даже буквы в слове. И резкая речь его имела ту особенность, что самая-то суть большею частию заключалась в конце, поражая своим неожиданным выводом и пересыпаясь всегда охотничьими терминами и сравнениями.

Сознательно вспоминаю я деда с первого свидания моего, проездом на Кавказ, из Питера, в юнкера. Тогда ему было лет под семьдесят. Высокий, худощавый, но стройный, широкоплечий, с гладко остриженной, круглой головкой, бодро держащейся на жилистой шее; баки только до усов, табачного цвета, по-татарски подровненные; взгляд быстрый, серьёзный, но до того добродушный и симпатичный, что невольно вызывает улыбку, а самого его я никогда не помню смеющимся, хотя редко было, чтоб он любую фразу не закончил чудно или потешно. Манеры его были порывисты и величавы, как и следовало офицеру 1812-го года.

Помню, сидел он на кожаном табурете с круглыми очками на носу, в короткой пепельной хламидке или хитончике, что ли, за сооружением какой-то рыбачьей снасти; перед ним у окна некрашеный стол, вроде верстака, заваленный рыболовными инструментами; под носом тавлинка, с боку походная чернильница на толстой тетради дневника, о котором я поговорю когда-нибудь как об очень интересном произведении и не только для одних охотников. Под рукой и шкафчик с книгами, в основном, естественного содержания, на нём чучела зверей, птиц и даже высушенные рыбки. За кроватью, на стенке — волчьи, лисьи, барсучьи и прочие шкурки, в головах охотничья амуниция, а в ногах, на самой постеле, — любимая борзая Вьюга, ловящая без ухода и без угонки.

— Ба! Здорово!.. Ты едешь на Кавказ? — спросил старик, отстраняя меня рукою, которую я целился облобызать по тогдашнему обыкновению.

— Дурак-драк! — поговорка его часто в ласкательном смысле, но на этот раз в досадливом — возьми ружьё, ступай в Ибрякино (чувашское село), скажи: вы не чуваши, земля не ваша, вы мои крестьяне, тащите ясак в сто заячьих шкур, не то сдеру ваши. Чуваши взбунтуются — стреляй: разбегутся, попрячутся иль убьют тебя из-за угла дубинкой, как бешену собаку! Кавказская война — разбойничья война!..

— Да помилуйте, дедушка!..

— Я не поп, тот милует... Тебя пустил отец? И отец — дурак, и ты — дурак, все — дурак!.. Если пойдёшь, то не будешь внук Нагаткина, сын Бориса, а пёсий сын!

Вот тебе и раз!.. Дед отвернулся к своим удильным аппаратам, ясно выражая тем нежелание продолжать со мною разговор.

Ну, дело плохое, когда уже «все дурак!», значит, осерчал старик не на шутку. Правда, он и ворчал как-то потешно. Но всё же, я был глубоко огорчён и озадачен таким неродственным приёмом, тем более что ожидал распростёртых объятий, как любимый внук.

Дед и в самом деле любил своего настоящего тёзку, как он звал меня, главным образом за то, что я непритворно сочувствовал ему в господствующей страсти к уженью, был ревностным учеником сего невинного искусства. Ещё ребёнком он таскал меня на реку Кинель ловить синьтявок для наживки жерлиц и от души забавлялся, старый, моим шутливым увлечением.

— Весь в меня, весь! такой же скорый, пылай, сумасшедший!.. приговаривал он, повествуя, как я, метнувшись за сорвавшимся окунем в воду, был вытащен им за шиворот.

И сколько хороших минут вспоминается из рыболовных похождений моих с чудодеем-профессором!.. Да, не на шутку огорчила меня суровость моего дорогого дедки. Но вскоре я успокоился, догадавшись, наконец, что она напускная. Он, как и отец мой, питал надежду: не убедить ли меня как-нибудь расстаться с безумною мыслию променять гвардию на Кавказ. Когда же дед, по своей проницательности, быстро уверился в неосуществимости своей надежды, то разом переменил тактику со своим бесшабашным тёзкой.

— Ну, чёрт тебя дери! Собаке — собачья смерть, ступай. А всё ж, чтоб ловчее было отгрызаться, вот тебе моя любимка — Клюгенталь. Заполучил её в Шалон-на-Марне, комендантом. Добрая сабля! Не испорть, после крови смажь елеем... Помни деда, не осрами, а то не будешь внук... и т.д.

После чего сошлись мы с дедом ещё теснее прежнего. И не забыть мне эти задушевные беседы зимними вечерами перед затопленным каминчиком: чего-чего только не наслушался я от моего чудного деда-охотника.

— Да-да, тёзка! Природа иногда бывает дрянь, урод природа: буран, изморозь, туман, свету вольного не видно; весь скот в хлевы жмётся... А мой Васька-шкурятник в поле; на башкастом Чумане и с одной дубинкой. Глядь, везёт волка!.. Что же его,

краса природы, пурга-то эта, заманила на охоту, или шкурки что ли, в самом деле? Нет, он любит их только на стенке, как память... И то раз смотал было их с похмелья: вишь, трофеи-то прежде штанов в глаза метнулись, а то бы он штаны спустил за шкалик. За это и дразню его шкурятником. Но он волчатины не жрёт и живого зверя не грызёт: видишь, за ним бегает лисёнок, как кошка? А ведь не любя, зверя не приручишь... Нет, не злой мой Васька!..

И вправду, добрым был этот бесценный товарищ охоты. Толковый, неутомимый, с чисто русской молодецкой сметкой, но жаден на зверя, и не клади пальца в рот — обцыганит. Да он и по наружности был тип красивого цыгана: овальное, бледно-матовое лицо с тонкими бровями и густыми, тёмными усами, из-под которых пунцовые губы своей добродушно-лукавой усмешкой так и манили на поцелуй, даже мужчину. Роста был выше среднего, талия высокая, движения ловки, энергичны, и ко всему этому такая решимость и смелость, что не знавал я, да и нет, чай, другого такого. Вот уж именно сокол-детина!..

— Ну, так значит, манит Васю на охоту не природа, не шкурка, не мясо, не злоба, так что же?..

— Что же, в самом деле, дедушка?

— Натура, внучек! Человечья натура — царская, царские и помыслы. Как ты щука ни хитра, ты, бекас, как ни быстёр, волк, медведь или там чёрт-дьявол, как ни силён, ни злобен, а я — человек; я вас всех умнее: найду, догоню, словлю или убью; — по завету Божию, я — царь над вами!

Призадумался я над этим философским речитативом, но возразить ничего не придумал.

— А кто из нас умнее, тёзка?

— Я, дедушка, думаю...

— Что ты, внук? Мне же думается, что я. А все эти Канты да наш поп, да Тошка-дурачок думают, что они. И всем нам охота доказать это друг другу словом и делом, только не кровью и смертью, как зайцам... Но есть человеки, что и на людей не похожи: царить над царями охочи, сами себя травят, безбожники! Брата готовы отпазанчить, и будь только шкурка на нём медвежья или бобровая, на стенку повесят, даже хуже: продадут, иуды, скорнякам сбудут!.. И все эти охотники на людей: Каины, Разины, Наполеоны — все они людоеды-шкурятники!

— И Суворов, дедушка? — кольнул я его любимцем.

— Врёшь! Суворов — добрый, борзой только, и любой истый

солдат тоже... А вот ты — выборзок, Борин Валетка! Не берут на свору, так к гончим урвётся, мышует по опушке, высуня язык, без толку, ни дать ни взять ты, тёзка! Ну, зачем идёшь на Кавказ? Ведь тебя не ссылают, на свору не садят? — Вот и вышел Валетка!

Не вкусно, а должен был проглотить, прикуся язычок и скрепя сердце.

Так думал, так и поступал дед, неизменно на всяком охотничьем поле, а над подводным царством — в особенности.

Ружьё он не всегда долюбливал, хотя и говорят, что в юности, когда не изменяли ему глаза и ноги, он слыл егерем не из последних. Да и под старость был не прочь от компании на такую стрельбу, где главная удача зависела от самого охотника или смышлёности собаки, а не от одного боя ружья.

— Фузея... Гм-гм!.. Наша кривая стряпуха Матрёна наступила на конец железной кочерги; та, конечно, другим концом — шлёп её по лбу! Рявкнула баба, да бац кулаком! — рука вдребезги, вой на весь дом, всех напугала... Злая дура, но сильная дура! — Охотник с ружьём, всегда помни, что «не ложкой, а едоком».

Не плоха и эта притча, как видите; в поговорку вошло у нас звать ружьё или охотника матрёхой или матрёшкой.

Не терпел дед и зря палящих, сорок и ворон стреляющих, и прозвал их бухалами (туземное название выпи). Вот это как было:

Несколько горячих егерей после серьёзной и добычливой стрельбы подходили к деду, сидящему уже за охотничьей закуской на пригорке, у высохшего болотца с редким тростником. На грех, с этого болотца поднялась целая стая нетегелей — и пошла баталия у молодёжи!

— Стой! Перестань! Дураки! Скоты!.. — раздалась команда взбешённого деда. Послушались, разумеется, — его все уважали, подошли с повинной.

— Воронники! Сорочники пустолобые! Ну зачем даром бьёте эту тварь?

— Да ведь её едят же...

— Изжарь и щепку в сметане — вкусно; жри и подавись ради вкуса!.. Врёте, не из-за этого вы палите...

В эту минуту, как нарочно, гулко раздались по вечерней зорьке богопротивные стоны выпи.

— Бухалы вы! Вот что. Вон, слышите, ваш двойник-товарищ отзывается — бухнет, как чёрт в лужу ухнет, и сам себе дивит-

ся: как это я, дескать, громко так, славно!.. Ведь это всё одно вот: взял фузею на плечо дулом к... затылку, и — бух!

Исполняя слово на деле, дед выпалил. И можете представить такую счастливую случайность, два веретенника из густой стаи шлёпнулись сзади деда замертво!?

— Гм, видите? И Бог за меня, и дура-фузея тоже! С этого времени гривку прозвали Нетегелиной.

Вот дельных охотников, ловких, смелых и с хитрецой вдобавок, старик уважал.

Раз собрались на бекасов: дядюшка Василий Николаевич, Чепурнов Иван — мой брат двоюродный и я.

— Взглянуть, как Вася с Ваней и Мордовка с Шельмой спорить будут.

И приехали мы в Богатую Луку ранним утречком. Денёк выдался серенький, пригодный для всякой охоты. Место недаром так названо: действительно, богатое; тут речка Кинельчик (Малый Кинель, по географии), делая петлю версты в четыре, заливает весной всю эту луговину с камышистыми озёрами, мелкой уремой и кочкарными болотами. Нагорный лесистый берег далеко и круто отходит полумесяцем, а противоположный, степной, граничит с поймой своей, двухсаженной плоской возвышенностью — и тоже огибает луку, на манер подковы, в самом узком месте, где чуть не сходится Кинельчик. Таким образом, выходит просторная круговина для охотничьего поприща. Но самое то бекасиное болотце, со ржавчинкой, тянется узкою каймою под увалом этой натуральной подковки, и со стороны Луки опушено куртинами густой чилиги, богородской травки и разного мелкого кустарника. Так что старому егерю, шедшему по самому увалу подковки, с левого фланга нашей охотничьей фаланги, вся стрельба была видна, как на ладони.

— Мудрит, Чепура: зашёл от солнца, да забыл про тучки; оно сейчас опять спрячется; а стрелять всё с левой руки вправо придётся, неловко, дурак-драк! Вот Васька ловко рассчитал: всегда выберет тропу так, что наступает на птиц, и от Вани лёт ей в кусты через него же, и переда забрал, мошенник! Этот набьёт больше.

Я шёл серёдкой, отстав маленько и без собаки, в роли посредника — чтобы решать споры при одномоментных выстрелах: дело нелёгкое. Конечно, и сам не дремал. Но, как ни быстра была моя взмётка ружья, а сосед справа не давал, как говорится, мне хода; слева же — донимал меня верностью глаза.

Чепура этот стрелял злодейски, особенно в одиночку, когда его не приводила в азарт чужая удача; и ходок был здоровый; места знал не хуже самой дичи. Но падок был на добычу анафемски! Сколько сцен выходило из-за этого. Человек он был среднего роста, средней красоты и средней нравственности. Несмотря на седлистую талию и лёгкую сутуловатость, его кроткое благообразие очень нравилось более мечтательным девам, до которых он был смертный лакомка, за что и получил прозвище моего легаша Дельфинки, такого же сластолюбивого прихвостня. Всегда тихий, осторожный, затаённый, он не смеялся, а хихикал; не плакал, а гнусил, не кричал осердясь, не дрался, а шипел и жалил, не как премудрый змий, а как благая муха. И всё же с ним любили охотиться: как-то приятно, хоть и накладно, было потягаться с таким метким стрелком и жадным охотником; конечно, не мне только, — я тогда едва начинал свою егерскую карьеру.

Охота шла без особых приключений, и вышла бы скучновата, разумеется, если б не стала перемежаться маленькими анекдотцами, вроде следующих:

В узких местах болота приходилось идти плечо о плечо, и выстрелы соперников стали сливаться каждый раз, узнать, чей в дичи — невозможно: обоим приходилось бить в угон, одномерной дробью. Ваня то и дело попискивал: «мой, мой!» Решили делить добычу по очереди, но это невыгодно было Нагаткину. На стрельбе красной дичи с подъёму, где так важна быстрота взмётки, он был лучший стрелок в околотке. Чепурнов всегда перед ним опаздывал, а тут, что ни выстрел, то вместе да вместе!?.. Чудно и мне показалось это. Морщился дядя, морщился и не выдержал, наконец:

— Ваня! Ведь ты лупишь в царя небесного, аж бы только успеть за моей взмёткой.

— Ври, дядя! Не ты ли палишь без дроби, ради экономии надеясь на мой глаз: наверняка, дескать, а дробь-то деньги стоит!

— Ну, ладно... — промурлыкал Вася, подходя ко мне закурить носогрейку. — На дробь: смотри, буду и вправду палить холостыми, а ты не стреляй, — шепнул он, отходя.

Штука дяди удалась как не надо лучше: на первом же бекасе оба выстрела грохнули разом.

— Мой, мой! — загнусил было Ваня. А бекасик улепётывает себе подобру-поздорову, преблагополучно пофыркивая, будто посмеиваясь. Дружный наш хохот смутил Чепурнова.

— Ничего, внук, ничего! Всяко бывает: иногда и Васька пуделяет; ну, а тебе и Бог велел, Бог простит! — утешал насмешливый дед с косогора.

— Да ведь мой-то пудель у Коли в кармане. Покажи-ка дробь-то, — кричал Вася.

И снова неудержимый раскат смеха заглушил бранчливое шипение неудачного мудрилы, даже серьёзный дед загмыкал себе под ус:

— Гм, гм! Ничего, за дело, за дело! Хорошо, люблю!..

Решили было стрелять по очереди, но эта скучная материя деду не нравилась. Положили бить из-под своей собаки только, чужой дичи не трожь, как прежде; мне же дозволялось всякую, на правах бессобачного. Ну тут дяде Васе приходилось совсем плохо: хотя у его Маркловки чутьё было верное, верхнее и дальнее, но сеттер — Шельма много брала ногами, чертовски была пората; рисовала свои неочертимые зигзаги на всём скаку, без устали, давая стойки то и дело, всегда прежде Маркловки. И, надо правду сказать, верные делала стойки, мёртвые, в прекартинной позе! И выстрел всё Ванин да Ванин...

Покрякивал дядя, похмурился, однако ненадолго. Видим мы, Шельма стала искать как-то вялее, будто нехотя, и беспрестанно оглядывается, только не на хозяина, а на соперника; всё жмётся ближе к дяде.

Что за диковина? Сорвала раз, подняла без стойки пару. Одного ухлопал Ваня, другого дядя. Остановились для заряда все, по обыкновению. Вижу, Шельма так и юлит около дяди. Я, как меньше всех заинтересованный в деле охоты, да и не занятый заряжанием, как Ваня, был похладнокровнее и, следовательно, наблюдательнее; отчего мне и удалось подметить незамысловатую штучку, настоящую цыганскую: рука дяди Васи украдкой протянулась на одну секунду к морде сеттера, и в этой руке мне почудилось что-то красное, кровавое.

«Ага, приятель! Вот оно что!» — смекнул я, припоминая завсегдашнюю привычку его на охоте: носит флакон сивушки с кусочком ветчины, столь вредной для чутья лягавой! Сказать-то ему прямо было совестно, признаться; я подошёл выпить водки и пренахально забрал себе всю закуску.

— Обжора! Оставь мне маленько...

— Тебе вредно, милый дядя! Больно пьётся с солёного-то. Я же ведь в понятых у вас, мне хоть и чутьё отобьёт, не беда: твоя Мордовка выручит, — проговорил я, подмигивая, мотай, мол, на ус!

— Ну поддень же, Колька!.. Молчи только, пожалуйста: Ваня сам передо мной свинья, как видишь, а я люблю невестке на отместку!

Я не совсем согласен был с дядей, но всё же сдержал секрет в тайне. Да от опытного и проницательного дедуси не укрылась эта злодейская выходка, как мы увидим после.

Болото подходило к концу. Переместившаяся дичь пугливо стала взрываться далеко, чуть в меру только для нагаткинского Старбуса, доставававшего через десятину стрепетов на моих глазах; а полным зарядом этот единорог бил баснословно, по словам деда, через десятину диагонально хватывал. Поэтому у дяди для каждой дичи и дистанции был особый заряд. И, надо полагать, он понадбавил его порядком: где ни взорвётся — лежит! Ване приходилось жутко. Но потом и Чепура стал укладывать на преизрядное расстояние. Дивимся, а догадаться не можем. Только вдруг слышим голос с увала:

— Ванька шалит: по два зараз палит!

— Так неужели же мне молчать перед этой чертовой пукой, дедушка?! Ну конечно, я покрупнил дробь и валю в два ствола разом, теперь пойдёт ровнее.

Довод логичен, Ваня был прав, по-моему, что подтвердилось и гласом свыше, то есть с увала.

Прошли подковку. Из самого конца взорвалось разом с десяток бекасов; никто не пропуделял.

— Браво, браво! — бормотал старый, спускаясь к нам для обзора добычи. У дяди оказалось двумя парами больше Чепурнова; у меня — треть его количества: семь носастиков. И то слава те, Господи! Я был на седьмом небе, особенно, когда получил всеобщее, столь поощрительное одобрение при возгласе деда:

— С полем, тёзка! Исполать тебе, молодец! Ты чужой дробью дичи не бил, по два разом не палил и ветчиной собаку не кормил, твои семь дороже их семидесяти семи... Ну а всё же грех похаять и этих ребят: оба — молодец, оба, даже и Мордовка! Вы стрелякайте, я же проеду на Авдюшин нос к двум затонам, поудить. Собирайтесь к вечеру там. А ты, тёзка, чай со мною? Я для тебя запасся твоей заморской удой; кстати, похвалюсь новым напловом.

II

Понятно, я не смел, да и не думал отнекиваться; любил и люблю эту созерцательную забаву чуть ли не больше всех прочих

охот. Чего бы, кажется, весёлого: торчать над водою пеньком, с сучком в руке, выпуча глаза на глупую пробку, точно весь мир в ней сосредоточился?! Многим смешно и удивительно: «Что, дескать, за терпение немецкое у этого автомата, уныние наводящего!» Но какое тут терпение и уныние — его и в помине нет! Тут самое живое, напряжённое состояние, борьба чувств: и робкое сомнение, и радостное, хотя часто тщетное ожидание: «Вот-вот клюнет! Сейчас потащу... Какая-то рыба, чай, огромная?.. Не сорвалась бы, да нет, у меня ли сорвётся!..» Вечная с трепетом сердца надежда, как сама рыбка животрепещущая! Ведь это жизнь, господа, и какая жизнь!.. Нет, не кабинетному флегматику понять рыболовский экстаз моего вечно юного деда-сангвиника! И ещё смеют смеяться над нами, рыболовами, профаны!

Однако надо докончить этот денёк без отступлений, он и то не короток: я нарочно выбрал такой, что по счастливой случайности резко выделяется из прочих дней своим разнообразием. Как видите, от стрельбы переходим к уженью.

Сели мы в так называемую люлю или люльку — меж длиннейших дрожин коротенький кузовок: низко и качко, как в зыбке: так и клонит ко сну. И заснул бы непременно, если бы дед, под влиянием егерьских впечатлений, не речитативил без умолку. А путь был не близкий, долго мы шагом кружили, огибая болотцы да ерики, пока, перебив луку диаметрально, не подъехали к Кинельчику.

В это время где-то за нами, далеко, раздались два глухих выстрела и за ними третий, как из мортиры.

— Слышишь? Первыми пропуделял Ваня, а последним Вася прикрыл, что бы это только такое? Ну, тёзка! Закалякался я с тобою на порядках, слову ж — час, а делу — время. Вон и мой излюбленный нос на виду, надо издали повысмотреть местечко, как удобнее будет по ветру и от солнца: не люблю, когда в глаза он лезет. Вишь, денёк разгулялся к полудню-то!.. Да, да, и место в охоте не меньше времени значит... Люблю мой родной Кинельчик! Приволье кругом: луга и горы, леса и степи, — просторно!.. Но есть, тёзка, ещё места богаче наших, царские места. Это под Уфой, около пристани на Белой, братьев Топорниных, что сродни ещё нам по жене племянника, Александра Нагаткина. Не обрисуешь этого раздолья ни пером, ни красками! Особенно озёра, с протоками в Белую... Что за рай земной для нас был с тобою там, внучек! Завещаю: непременно поживи там, поуди,

поохоться, ради памяти обо мне, старом дурне! Дед же твой полюбуется на тебя сверху или снизу, уж откуда придётся с того света.

Обещал я и крепко сдержал завет старика: пожил в сей охотничьей Палестине. И с вами, господа, поделюсь свежими впечатлениями этой жизни, отчасти и общественной... Но о будущем после, теперь же прошлое докончим.

Намалюйте красно-бурый нос в лежачем положении на левой ноздре и пририсуйте верхнюю губу с загибом: будто поцелуя просит или гримасу строит. Над голой, толстой бровью зелёный козырёк из тростника, с лопухами водяной лилии, параллельно хордообразной поверхности носа. Чертите в таком масштабе, чтобы прямолинейная низовина сего маленького члена равнялась саженям пяти, не более. Вот вам и Авдюшин нос! Верхняя сторона его, почти до острия кончика песчаная, сходит к воде на нет, как выражаются закройщики, полого, а нижняя, суглинистая, обрывом четверти в три, так этот обрыв и загибается ноздрёй, в виде французского S, чуть не до переносицы. От самого же завитка ноздри кудрявится черёмухо-таловый ус по губе, образующей между носом бухточку, — тихий, глубокий омут. С другой стороны, под нависшей хмурой бровью, тоже затончик, только не так глубок и с лёгким теченьем, под прикрытием тростникового козыря, длиною почти во весь нос, у кончика которого — самое русло реки и быстряк... В жизни я не видывал такой удобной для рыбалки местности по своему разнообразию, — на всякую рыбу и всякой снастью.

...Лов начался счастливо: пока старик рассаживался покомфортабельнее, я без всяких затей успел наживить себелька и забросить; чуть пала рыбка в воду, как окунь заглотил её, по выражению дяди, с ходу, и я выволок четверти в полторы, голубчика!

— Хорош—хорош! Молодец! — Ну теперь похвалюсь тебе обещанной выдумкой. Ты знаешь, я всё люблю, даже и поплавок, со смыслом, видишь?

Подал он мне изящно им же самим вырезанного Наполеона из пробки или осокори, ярко размалёванного масляными красками, в неизменном виц-фраке, треуголке и со сложенными на груди руками.

— Как лежал он на о. Елене, — пояснял дед. — Но там был под спудом, бедняга, а у меня на вольном свете веселиться будет, только по моей дудке, как других заставлял, пройдоха!

И дед, прикрутив Наполеона за горло лесой, насадил червя с приговором:

— Вот тебе теперешнего тёзку твоего в компанию, — и забросил.

Всё это делалось пресерьёзно, без улыбки, почему вышло ещё комичнее, когда клюнувшая рыба заставила маленького капрала привстать вверх ногами!.. Плавно покачал он ножками с боку на бок и потом порывисто, судорожно запрыгал, тыкаясь треуголкою в воду... Ну я вам скажу, господа! Как ни уважал я моего почтенного чудилу, а тут так-таки и покатился со смеху, не внимая его барабанному аккомпанементу.

— Ага! Ловко, брат, ловко! Хоть не по-русски, а всё ж вприсядку!.. Что, разбойник, вкусно? Ты Россию мучил, сгубить хотел... Ну так и я ж теперь тебя помучаю и утоплю!.. Но прежде всласть помучаю: окунь сорвется — не пожалею, а ты мучайся, казнись подольше!.

— Дедушка! Да вы лучше бы живого, нынешнего-то, Луи протанцевать заставили... А ведь, говорят, и в племянничке есть дух дядюшкин?

— Да, да, внук! Да, в нём есть дух Наполеона, есть, только... во рту падалью душит от того и от другого, как от сытого волка.

Вот тут и извольте не засмеяться!.. А Бонапартик всё ножками кверху да кверху.

— Уж сжальтесь, дедушка, хоть ради бедной рыбы!

— Нет! Он сам никого и ничего не жалел, даже себя, из-за честолюбия; ну и я не пожалею его, даже из-за окуня.

Однако судьбе угодно было пощадить непримиримого врага моего ярого патриота: с дребезгом забренчал колоколец на жереховой блесёнке, и дед, быстро вымахнув обоих страдальцев, то есть Наполеона и окуня, на берег, как ошалелый зашагал, спотыкаясь, к быстряку... Знать, рыбка-то своё взяла!

И картинка же была поза его с громадным удилищем в руке, так же, как и он, в коромысло согнутом! Рыба, видно, села не маленькая: неистово металась во все стороны, как злобный пёс на цепи, то, завернув по быстряку, упрямо тянула ко дну, то, разом ослабив и молнией скользнув против течения, уже опять туго рвалась к другому берегу... Долго наслаждался старый молча, сосредоточенно, да и боялся-таки, не умаяв рыбку, подводить близко к себе или отмели, как бы леса не порвалась. Наконец подтянув её разными зигзагами аршина на два от берегу, перехватил лесу в руку, в другую сак, ловко подсёк и лихо

шлёпнул на песочек, аж крякнув от удовольствия!..

— Вот так рыбка!.. А что, внук, с аршин, чай, будет?

— Будет, дедушка!.. — Без четверти, себе думаю...

— А добрая, добрая! И блесёнка — тоже: больно уж натуральна, чисто живая! Но я всё-таки спущу теперь на синьтявку: что ни толкуй, а природа всё же живее искусства... А речного пса (жереха) сади на свору — на кукан

— Да не лучше ли в садок: скорее будет и живее рыба?

— Этого-то и не надо: дорогой всё равно заснёт и на еду пойдёт. А в садке я только тех держу, которых потом на волю пущу, за то, что позабавили мою царскую натуру, покорились человеку. И я доволен: живи опять и веселись, как я же! Но самоеда съем сам, потому его на кукан. Вот окунишек малых тоже выпущу, к этим я слабость имею: хоть и обжора, да молодец рыба! Смела, нецеремонна, когда хочешь, утешит. И больших бы выпустил, да Катя кушать любит.

...Старых собак не покупай, не то обругают Племянниковым: тот к осени купит, на зиму повесит, не охотник — живодёр. Впрочем, в поле он малый весёлый. Выбирай щенками: лягаша — по щипцу да по ушам, гончурку и борзова — по правилу и ногам, а всех — по рубашке: сына — в мамашу, дочку — в папеньку. Но пуще всего — чтобы милые родители были без лигатуры... Сеттера, пойнтера et cetera, — не дурны, а наша старушка, настоящая Маркловка, лучше... Только если найдёшь такую, я Мордовку сбуду, а у тебя возьму щенка. Гончие, смотри, все эти арлекины и разных наций сыны, по-моему, не стоят одной доброй Кравковской ...В ней всё: добычлива, верна, парата и жадна, и на приездку податлива... Словом, любая на всякого зверя — вожак!.. Пара смычков на весь Муром хватит!.. Борзова пока возьми у меня: от Вьюги и вашего Колчана. Но если отыщешь у кого псовистее, — со мной поделись...

...Ну а лошадь купи себе в Бугульминскую ярмарку, с двадцатой версты, на скачке, — продолжал дед назидательным тоном. — Она будет у тебя сильна и резва, посовиста и кротка, как раз по нашим местам и охоте. Только попроси выездить Носа-Чепурнова, но чтобы не приучал плясать, как ногу в стремя: собак передавишь на своре.

При имени Чепурнова не могу воздержаться от небольшого отступления. Это младший брат описанного Вани, Николай, прозванный так за свой античный нос: до того симпатичная

личность, что, при одном воспоминании, так и хочется обнять его. Говорят, человек, не имеющий врагов, подозрительно опасен? Вздор это говорят, мне кажется: Николай Чепурнов был общий, если уж не друг, то закадычный приятель. Наружностью... Припомните, господа, кто видел головку Гейне с опущенными веками, — я до сих пор поражён сходством с портретом Чепурнова, снятого перед смертью. Да он и умер части от той же слабости, которая была причиной смерти поэта. Но господствующая страсть покойного была — борзый конь да резвый пёс при доброй компании, для которой он готов был вынуть душу, — царствие ей небесное!..

...От добра добра не ищут! Мест своих немало, добрых и нетронутых: Васька бережёт, а с ним шутки плохие, сам мастер до слёз подшутить!.. Зверя много; вытравлю, не хватит, к Борису поеду; с ним и в отъезд, пожалуй: хоть сам он старшой будет, а дядю не забудет; вспылю — уважит и в первом лазе не откажет...

Вот в этой последней фразе и скрывалась главная причина настоящей антипатии его к съезжим охотам. Во время же оно дед, говорят, был душою этих съездов, и не диво: был он такой толковый и лихой охотник, что даже сын Вася, столь популярный в нашем охотничьем мирке, только напоминал его, как выражались старожилы, добавляя при этом, что: «не знавал он неудачи, да и мы не упомним; всегда — с полем, везде первый!..» Поневоле, при такой поощрительной обстановке, всё сильней и сильней развивался и креп его своеобразный, не терпящий властей, горячий характер и доходил до вспыльчивости, да при удачах всё сходило, — не на что сердиться было... Но время шло и шло вперёд, а человек — по-рачьи. Старел Николай Борисович, дряхлел и устарелся до того, наконец, что глаз стал фальшивить, рука изменять, словом, всё тело как не своё, чужое стало, и конь уж не тот, и пёс не тот...

...Отец мой был очень привязан к Николаю Борисовичу, не по одной обязанности родства, а и от чистого сердца, оказывая уважение. Теплой души был покойник, рубаха-человек, как говорится, что не мешало ему быть умником того времени и разнообразно талантливым господином. При замечательной красоте и высоком, стройном росте, он был недюжинной силы и ловок, как гимнаст; первый танцор, музыкант, отчасти композитор, даже певец... Словом, по общительному и нескучному характе-

ру, любимец всякой компании, особенно женского пола... И сам покойник был к этому лакомству очень уж падок!.. Служил в военной, потом предводителем дворянства и, наконец, первоначальным деятелем при освобождении крестьян, которым непритворно сочувствовал, хотя эта искренность и ускорила его финансовую катастрофу... Но я некстати увлёкся слишком близкой для меня личностью. Не взыщите, господа охотники! Я должен бы сказать только одно, что отец мой был страстный стрелок и борзятник, один из толковейших из нашего околотка.

Не уступал ему в последней страсти и Николай Николаевич Самойлович, но по телесным свойствам, особенно по болезни ноги, не мог угоняться за его удачами. Зато поумствовать, помудрить на охоте был великий мастерище, и мудрил дельно, тонко, под маской простодушной откровенности, как истый хохол, да и наружность, манера, склад речи, — ничто не изменяло его малороссой породе: чисто пан вислоусый! И неудивительно: много лет прослужил он уланом в Украине. Особенно замечателен был красноречием охотничьего жаргона.

Кстати, и об остальном триумвире: Григории Ивановиче Пыхчеве. Это слишком не мелкая личность по своим обширным, многосторонним способностям, для того, чтобы уместить его подробную биографию в моих лёгких очерках. А жаль, да делать нечего — опишу, как смогу, покороче. Он был гвардеец, предводитель дворянства, председатель земства, и, вообще, завсегдатай, герой-воротило всех выборов дворянских и сословных. Деятельность его, не столько служебная, сколько общественная и частная, изумительна; энергия — безустанная: бессонная натура! Это живое перпетуум мобиле; это с исполинским духом маленький человек, без тела, — лишь кости да жилы! Недаром Нагаткин его прозвал юлою. Охоте предан был сердечно и толково, но пылок был и нетерпелив до крайности. При всём этом, в самом серьёзном деле не мог обойтись без комизма, без шута и вышутки; но не так любил одурачить природой обиженного, как одурять до смеха неглупого, да злого, тяжело-характерного субъекта. Грешили в этом, помогая ему, и остальные приятели, также сосед В.В. Племянников с Ф.П. Стрелковым.

А такого комика-рассказчика я и на сцене не слыхивал: уж очень мастерски он приноравливал мимику и дикцию к обстоятельствам и лицам анекдота...

...Отец до безумия увлекался гонкой. Раз, после двадцативёрстной скачки за волком по ранней пороше, он припёр его к Ки-

нелю; зверь с отчаяния махнул на чуть подёрнутую льдом речку и рухнул с головою. Отец не задумался, как был в ергаке и таких же шальварах за голенищами, бухнул на волка, отколол под водой, выволок, и привёз в ближайшее сельцо Подколки, к Самойловичу. Здоровый пунш да баня предупредили неблагополучие. Но часто и не даром ему сходило волкодавство; был такой случай: наскакав на волка, Батыр, по обыкновению, пригнул голову, и отец знакомым путём скатился через шею, но, поскользнувшись, упал и промахнулся рукой — вместо уха — в пасть зверю, прижав в то же время левым боком нож. Крепко сдавив правою рукою глотку волка, отец левою крутил ему язык, затрудняя дыхание, и таким манером имел терпение, не крикнув, задушить зверя насмерть. Зато рукою промаялся более полугода. Да и не перечесть всех его волчьих покусов... Однако я опять увлёкся, что делать, слабость сыновняя. Не взыщите, господа!

...Немало зверя брал дедка и по порошам. Уже очень удобно было ему: другим надо с полуночи подниматься, чтобы успеть к рассвету на места, а у него всё на виду да под боком. Через Кинельчик только — и, кроме своих колков, тут же Кокошеевские, Кирюшенские, Пополутовские, Канабеевские места, Пилюгинские уремы... Целые горы и долы лесного приволья! По сю же сторону реки, от самых окошек, всё степи, да степи неоглядныя... А летом-то, экое раздолье в степи! Чуть глаз обнимет — и всё-то ковыль и ковыль, словно волны на безбрежном просторе, колышется, с переливами из светло-зелёного в тёмно-жёлтые тени; хороши эти степи бесконечные! Да, на счастливом местечке было свито дедушкино гнёздышко!

Но порошную езду сам дед давно покончил, разве по разику в год, бывало, выедет, полюбоваться только — в санках. А верхом его просто-напросто силком не пускали, после того, как раз он в холодную, сырую порошу, увлёкшись съездкой русака, далеко отбился от охоты, умчавшейся за зверем, поднял зайчишку, затравил, сполз с лошади отпазанчить, да так и остался в глубоком снегу, не могши взобраться на лошадь: чуть не задрог, бедняга, пока его хватились! Прозяб до горячки. И тут опять со смехом горе: стал выздоравливать старик, да дело было в Пасху, — подметил он в растворённые двери, как в другой комнате спрятали в буфетный шкаф оставшегося от закуски поросёнка в сметане, — любимое его блюдо; соблазнился: сполз с кровати, на четвереньках добрался до поросёнка и, съев его всего, тут же у шкафа обезпамятел. Открылась возвратная горячка,

опять бред и, в виде предсмертной, икота. Лекарь только рукой махнул!

— Что это вы, дедушка, расхворались! Поправляйтесь-ка скорее, да на охоту отправимся, — утешал его один из посетивших внуков.

— Игм, нет — конец!.. Игм, шабаш!.. — бормотал, вперемежку с икотою, дед, — игм, в колок бросили стаю... погнала по-красному... дружно выставила зверя... все гончие на хвосту... игм, одна осталась... игм, сейчас выйдет...

Однако эта одна сейчас не вышла; могучая натура ветерана пересилила. И опять старик воссел на своего конягу-иноходчика с Вьюгою на своре, но уже с этого времени без конвоя не пускали его. Только раз, и в последний, —- урвался старый с глаз: «От Пилюгинскаго мы все по перелазу за волком метнулись, — рассказывал Василий Николаевич, — Игошку он послал за нами же; мальчишка соблазнился, а на него тем временем шумовая вылезла. Показал старик и сам понёсся на всех парусах, по обыкновению, затравил и схватил лису за трубу, да как только взметнул её наотмашь, Вьюга со Злорадом и хап на лету-то за уши! Повисли, свалили старика и зверя на нём растянули... Скачу, гляжу: а они дерут у него на груди лисёнка, аж клочья шерсти летят, да кровища в лицо ему брызжет! Я было арапником, — отрыщь! отрыщь!.. Куда тебе, так взъелся на меня старый, не приведи Господи! — Стой, не сметь, прокляну, шкурятник!.. Тебе жаль шкурки для отца?!. Я хочу потоптаться, вдосталь натешиться, — это, может, моя последняя лисичка!..

И правда, была последняя... Вскоре и конь его сдох, как нарочно. Затосковал старина, захирел от горя, осунулся; на целые сутки заперся в кабинете, и, правда ли, нет ли, а говорят, что вышел оттуда с опухшими глазами... Привязан он был к своему коняге крепко! Да и вообще, верховая езда составляла для него прямо потребность натуры. Ездок он был лихой, безустанный, кавалерист, каких мало!.. В бывалое время он только по крайней необходимости, и то в очень дальнюю дорогу, садился в экипаж, а то в гости ли, в церковь ли — верхом едет — да и всюду... Так и потягивает меня рассказать при воспоминании о его наездничестве, один характерный случай из жизни ещё не старого Николая Борисовича.

Он был женат тогда на Екатерине Дмитриевне Серебряковой, а покучивать не переставал ещё, сумасбродничая на порядках. Так что жена его частенько прибегала к посредничеству Веры

Борисовны Куроедовой, старшей сестры его, которую он любил, уважал и отчасти побаивался — за её светлый ум, доброе сердце и твёрдый, мужественный характер. Как-то, по жалобе Екатерины Дмитриевны, Куроедова вызвала к себе братца письмом. Тот прискакал в село Куроедово, за 12 вёрст, верхом по обыкновению, и застал сестру в разговоре со старостою на крыльце с перилами, обшитыми тёсом. Та, чуть дав взойти, сразу накрыла его: принялась урезонивать, стыдить и пугать, то со слезами, то с бранью, но до того красноречиво и убедительно, что братец покраснел, ошалел и засуетился, отступая бессознательно к перилам, за которые привязан был конь его.

— Ну-ну, Вера! Ну, пила-рыбица! Полно-полно... Не буду, не буду, ей-богу, не буду!.. Прости, прощай!..

И дед, вскочив верхом на перила, дал им шенкеля, и ну — лупить нагайкой!

— Нну, милый!.. Прости, Вера! Не буду, не буду... завтра приеду, буду... не буду!..

Совершенно зарапортовался братец, всё понукая перила.

— Сумасшедший! помешаный! Взгляни, на чём сидишь-то?..

— Ах, чёрт подери!.. дурак-драк... И сконфуженный куролес, молодецки перемахнув с перил на седло, умчался, провожаемый хохотом строгой сестрицы и сдержанным фырканьем старосты:

— Не мог, сударь, утерпеть, уж таково смешливо вышло это! — заключил последний, досказывая мне сей анекдотец, подтверждённый и моим родителем.

Как видите, дед был верчен до крайности. Однако же, при всём том никогда не терял присутствия духа, в серьёзно-опасных случаях не суетился и не ветреничал. Вот и пример: загорелся у него дворовый порядок ночью: булга, разумеется, страшная; перепуганный люд галдел и метался без толку, как овцы от волка! Вышел дед на крыльцо, понюхивает из табакерочки да бурчит себе под усы:

— А-а! хорошо-хорошо! рад-рад!.. Пусть горят скоморохи (так звал он дворню), мне не жаль, — избы мои; всё равно дам лесу... не жаль! А рад-рад: всё моё краденое, все ложки, плошки, штаны, хомуты, лукошки, — всё-всё сгорит! Огонь всё очистит и совесть их очистит: им же легче, и мне лучше... А лесу не жаль, дам...

— Николай Борисович! Что это ты, опомнись, друг мой! Да ведь наш дом рукой подать от пожара, и крестьянская улица чрез проулок только! Перестань чудить, голубчик, — помоги:

вели дом-то обливать, да крайние избы ломать, — всхлипывала Екатерина Дмитриевна.

— Дура-баба! Врёшь с перепугу: дом от ветра, а крестьянам помочь — время, помочь можно и должно, только ломать не надо: избы ломать, солому сносить — пожар кормить. Гей! Тащи из барского дома и от крестьян все ковры и кошмы, озямы, шубы — живо! Мочи в Кинели и колодцах, — крой за проулком первую крышу и стену, потом другую; да смотри за галками, — на каждую крышу — парня с ведром! Не суетись, да скоро! Не ори, да с толком!..

Через час пожар был потушен.

Крестьяне искренно любили деда; да нельзя было не любить. Он такие давал им льготы и послабления, к досаде соседей, что через это разорился даже скорее, чем бы следовало. Хотя он не принимал решительных мер для выхода из тогдашних отношений к крестьянам, но, по убеждениям, был вовсе не крепостник. Враг всякой неволи, он и это выражал по-своему, на особый лад:

— Смотреть не могу на зверя в цепях, рыбу в сетях, птицу в клетке и нашего доброго мужичка в ежовых барских рукавицах! — острогом пахнет.

— А ваш скворец в клетке?

— Добавь — в растворённой. Держу только тех, что и выпущу, да сами вернутся; значит, им понутру такая неволя, — привольнее... Знаешь ли: я смертный охотник был с соколом, но потому забастовал только, что душу мне коробило, глядя на выноску этой птицы — эмблемы свободы и удали!.. Как подумается: а если бы меня этак же на цепуру да под красный колпак?! Так даже мурашки в груди заползают...

Уж коли на то пошло, изменю слову охотничьему, коснусь слегка и служебной характеристики покойного после военной отставки.

Был он исправником и посредником по размежеванию. Ознаменовал себя погоней за известным в нашем краю разбойником Апопейкой, своеобычной расправой с конокрадами и оригинальной официальной перепиской...

В одно смутное время губернатор в предписании к нему выразился слишком уже кратко: «наблюдайте и доносите о всех свободно говорящих дворянах, вверенного вам уезда...».

— У меня в уезде все свободно говорящие, кроме помещика Татарова, — отвечает Николай Борисович рапортом. Начальник губернии встревожился, кстати, он и до этого ещё собирался в

Бугуруслан, поэтому прискакал немедля и прямо к Нагаткину, как к доброму знакомому, где случайно застал в гостях и Татарова.

— Вот, В.П., кстати, и Татаров, о котором я писал вам, — рекомендую!

— Че-че-есть им-мммм... замычал не свободно говорящий заика... Ну конечно, всё кончилось шуткой.

Жаловалась ему сестра на братьев — сонаследников при выделе части земли. Нагаткин напустился на них.

— Да мы ведь по закону, — четырнадцатая часть...

— Для вас закон не писан! Сестра же, вдова умная, да детей чуть не две дюжины. Значит, вы, холостые оболтусы, должны выделить ей не по писаному, а по закону природы — поровну.

Такими безапелляционными аргументами дед убедил-таки братьев и склонил на полюбовную, но плут-землемеришка помирволил младшему братцу-сутяге. Дед накрыл на землемера:

— Слушай, циркуль! Лучше кончим мирно, сейчас же признайся: где и на сколько сажен споткнулся? Честное слово — прощу, только вытолкаю. А не то, пошлю за племянником Петром (Куроедовым), тот ведь проверит пунктирно. Ну тогда, чур, не пеняй, суду не предам — жену и детей жаль, — а своеручно начерчу тебе препунктирную ситуацию на ланите!.. И циркуль повинился, унося свои кичливые ходули без оглядки. Э, да всего не перескажешь разом! Дед долго жил, немало начудил плохого и хорошего. Пора хоронить старика.

Умер Н.Б. Нагаткин на исходе седьмого десятка, от чего — Бога спросите. Говорят, от французских ран 1812-го года, говорят, от водянки, говорят, от старости... Опочил тихо, в совершенной памяти. И при последнем вздохе его, любимица — Вьюга, лежавшая в ногах, судорожно привстала, осмысленно-тоскливо вперила чудные глаза свои в умирающего хозяина и, дрожа, завыла точно человечьим голосом! За ней вся псарня хором.

И болел не долго. Только перед смертью собирался всё окуньков поудить... Помилуй, мой друг! Ты так слаб, пошевелиться не можешь, — уговаривала бабушка. — Поправься немножечко, а тогда...

— Ну хорошо-хорошо! Не пойду, Катя! Вели только поставить перед кроватью наш старый чан-сорокоушу и налить полный водой из Кинеля.

— Зачем это, голубчик!.. Уж не купаться ли задумал?! Но доктор...

— Дура-дура! Не понимаешь... Вася наловит мне окуней кругом, посадит в чан, набросает червей... А мне подай вон ту блесёнку, с коротким удилищем... Попробую в последний раз!

Последнее слово его было — каламбурная выходка о курносой, то есть о смерти: что она вовсе не так страшна, как её малюют, что есть курносые живые гораздо страшнее и смешнее смерти, например: вот такие-то...

А со мною последняя беседа его была «об охотничьем положении», составляемом Н.Н. Самойловичем. Сначала он, обыкновенно, поглумился без зла над многоглаголивым Гетманом, но потом благоразумно признал великую пользу такого предприятия.

— Да-да!.. «Законы охоты» — штука добрая, добрая, только больно мудрёная: много милосердия надо, милосердия к зверю и человеку — поровну!.. А наш Самойленко гнёт всё нам мировлить!.. Подождём лучше Екатерину, — не вторую, а другую... Пока же тёзка, по-моему, — знай только время, место и способ, — охоться на всё, кроме людей, их не бей. Каина можно — он не человек, и то, когда сам за горло схватит, а убежать нельзя... Тогда убей и панихиду не служи, — Бога обидишь...

Надо же и честь знать, наконец. До свидания, господа охотники! Если не наскучил — откликнитесь, ещё потолкую охотно.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Значения некоторых старинных слов и охотничьих терминов.

Бекас — небольшая птица с очень длинным, прямым и острым клювом. Небольшой кулик размером примерно с большого пёстрого дятла.

Тавлинка — плоская табакерка из берёсты.

Угонка — настижение зверя борзыми и поворот его в сторону. «Собаки «ломают» зверя — дают ему угонки».

Синтявка — (уклейка), мелкая рыбёшка.

Отпазанчить — отрезать у затравленного зайца пазанки — части ног до коленного сустава (в речи охотников).

Фузея — тип кремневого гладкоствольного дульнозарядного ружья.

Пословица: Не ложкой, а едоком; не лошадью, а ездоком.

Нетегели, веретенники — род куликов из семейства ржанковых с очень длинным, мягким, прямым или слабо изогнутым кверху клювом.

Ерик — узкая протока.

Себелёк - мелкая речная рыбка.

Осокорь — один из видов тополей, дерево с мягкой древесиной.

Пуделять — бить мимо цели, не попадать, мазать, стрелять в молоко, промахиваться.

Парата — наглая, бойкая, сильная, решительная.

Ергак — шуба из жеребячьих шкур шерстью вверх.

Et cetera — латинское выражение, означающее «и другие», «и тому подобное», «и так далее».

Урема — мелкий лес и кустарник, растущий в низменных долинах рек.

Жерлица — рыболовная снасть для ловли хищной рыбы (главным образом щуки, крупного окуня). Состоит из прочной лески с металлическим поводком, намотанной на рогульку, насадка — живая рыба.

Верченый — ветреный, взбалмошный.

Булга — склока, тревога, суета, беспокойство.



Пётр РАДЧЕНКО

ЛЕТО 1939 ГОДА... ХАЛХИН-ГОЛ

Пётр Михайлович Радченко родился в 1941 году в селе Копанском Буртинского (ныне Беляевского) района Оренбургской области. Окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище и аспирантуру Ленинградского высшего инженерного морского училища. Профессор Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, кандидат технических наук, доктор транспорта. Почётный работник Морского флота СССР. Печатался с историко-патриотическими статьями в газетах «Владивосток», «Золотой Рог», «Меридиан», альманахах «Сихотэ-Алинь», «Гостиный Двор», журналах «Оренбургский край» и «Слово Забайкалья». Живёт во Владивостоке.

76 лет назад далеко на востоке, на границе Монголии с государством Маньчжоу-Го разгорелись жаркие бои между советско-монгольским военным контингентом и вторгшимися на территорию Монголии японскими войсками, оккупировавшими в начале 1930-х годов северо-восточную часть Китая — Маньчжурию. Своей кульминации этот конфликт достиг в последней декаде августа 1939 года, когда 1-я армейская группа под командованием комдива Г. К. Жукова приступила к окружению японской группировки на восточном берегу пограничной реки Халхин-Гол и завершила её разгром 31 августа.

Халхин-Гол... Это слово я впервые услышал из рассказов четы Диденко Иллариона

Лукьяновича и Прасковьи Кузьминичны из рабочего посёлка Дубенское Беляевского района Оренбургской области, у которых я со старшим братом квартировали в период учёбы в тамошней средней школе. Дед Ларион был замечательным и увлекательным рассказчиком. Долгими вечерами (телевизора тогда ещё не было) мы заслушивались его волнующими повествованиями об участии в Первой мировой войне на Кавказском фронте в доблестном корпусе генерала Н.Н. Юденича, а также о службе в Красной Армии и трагической судьбе его старшего сына Петра Илларионовича Диденко, сражавшегося и погибшего в 1939 году в Монголии, в августовских боях на далёкой реке Халхин-Гол. Там же и похороненного в братской могиле. Где это произошло и почему наши войска сражались в Монголии, я — пятиклассник — не имел представления.

Только в старших классах, из учебников истории мы — школьники — узнали об этом кровавом инциденте чуть подробнее, но о его причинах, хронике и характере боёв, и тем более потерях, там упоминалось вскользь или совсем умалчивалось. Как и о зимней войне с Финляндией, случившейся чуть позже в том же году, о событиях на Халхин-Голе было запрещено писать больше, чем это разрешалось цензурой. Лишь с появлением Интернета и снятия грифа секретности с тех событий, стало возможным узнать о них без всяких прикрас.

Годы спустя, уже будучи курсантом морского вуза во Владивостоке, мне снова пришлось услышать об этом непривычном названии реки — на этот раз от одного из моих новых приятелей по этому вузу Альберта Некраша, отец которого Сергей Некраш (отчество не запомнил) — командир одного из подразделений Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) — тоже сражался на Халхин-Голе и там же похоронен в братской могиле. А несколько позже, уже в период учёбы в аспирантуре Ленинградского морского вуза, я познакомился и с семьёй моего товарища — матерью и сестрой, много рассказавших о своём погибшем муже и отце, в том числе и по сохранившимся от него письмам.

...Если быть кратким, причина напряжённости в отношениях СССР с восточным соседом таилась в неудовлетворённости правящих кругов Японии итогами русско-японской войны 1904-1905 гг., помноженной на неудачно завершившуюся для неё интервенцию на Дальний Восток и Забайкалье в годы Гражданской войны. Захват Маньчжурии в 1931-1932 гг. и последую-

щая захватническая война в Китае рассматривалась правительством Японии как прелюдия к вынашиваемым планам похода на СССР. Безуспешная трёхлетняя война в Центральном Китае, неудачи агрессора в которой во многом объяснялись материальной и военной помощью последнему со стороны СССР, вызывала ещё большее раздражение военных кругов Японии. Конфликты, спровоцированные японской военщиной на дальневосточном озере Хасан в 1938 г. и в Монголии на пограничной реке Халхин-Гол в 1939 г., должны были, по мнению японских советников божественного микадо — императора, явиться сигналом правительству СССР скорректировать своё поведение по отношению к войне Японии с Китаем.

Непосредственным поводом к началу кровавого монголо-японского инцидента явилось надуманное и неправомерное требование японской стороны о признании реки Халхин-Гол границей между марионеточным государством Маньчжоу-го и Монголией (старая граница проходила на 20-25 км восточнее, образуя Тамцак-Булакский выступ на правом берегу реки шириной по фронту 60—70 км. Одной из причин такого требования



Военный городок одного из подразделений 57-го Особого корпуса в окрестностях Баян-Тумена (ныне г. Чойбалсан)

являлось желание обеспечить безопасность строящейся японцами в этом районе железной дороги Халун-Аршан–Хайлар, проходящей западнее хребта Большой Хинган между двумя сильно укреплёнными районами в оккупированной Маньчжурии. Японцы придавали этой дороге стратегическое значение в планах будущей войны с СССР. На этом сравнительно небольшом участке и разыгрались основные драматические события летом 1939 года.

Местность представляла собой голую равнину с песчаными барханами и скудным травяным покровом без единого деревца. Колея грунтовой дороги вела из Тамцак-Булака (МНР) к реке Халхин-Гол, протекающей в 100 км к востоку от него. У западного берега реки на южном фланге выступа возвышается сопка Хамар-Даба. Примерно в 20 км к северу от неё на самом берегу реки находится другая возвышенность — сопка Баин-Цаган. Долина реки Халхин-Гол, берущей начало в отрогах Большого Хингана и впадающей в озеро Далайнор почти у самой границы с СССР, представляла из себя сильно заболоченную впадину шириной от одного до трёх километров. Ширина самой реки достигала 130 м при глубине местами до двух метров и сильном течении. Боевую технику через Халхин-Гол можно было перебрасывать только по наведённым понтонным либо паромным переправам. Для конницы были удобные броды.



Командующий 1-й армейской группой советских войск в Монголии комкор Г.К. Жуков. МНР, Халхин-Гол, 1939 г.

Вооружённому вторжению японцев предшествовали периодически повторяющиеся конфликты между монгольскими и маньчжурскими пограничниками, провоцируемые японской

стороной с момента оккупации вплоть до мая 1939 г. По этой причине по просьбе монгольского правительства на территории Монголии дислоцировались с 1937 г. части 57-го особого корпуса (ОК) РККА под командованием комдива Н.В. Фекленко согласно «Протоколу о взаимопомощи», подписанному правительством Монголии и СССР. А начиная с 8 мая, японо-маньчжурские вооружённые отряды приступили к попыткам завладеть силой восточным выступом монгольской территории, и к концу мая существенно потеснили пограничный рубеж к реке Халхин-Гол. Однако подошедшими частями 57-го особого корпуса РККА вторгшийся противник продолжал удерживаться на рубеже около 5—10 км к востоку от реки.

С самого начала конфликта в небе над Халхин-Голом разгорелись жаркие воздушные бои, протекавшие в первое время не в пользу советских ВВС. Необстрелянным советским лётчикам 100-й смешанной авиабригады 57-го ОК в составе 70-го истребительного авиаполка (иап) и 150-го бомбардировочного авиаполка (бап) противостояли опытные японские асы, прошедшие горнило многолетней войны в Китае.

На помощь 100-й смешанной авиабригаде из Забайкальского военного округа (ЗабВО) прибыло подкрепление: 22-й иап и





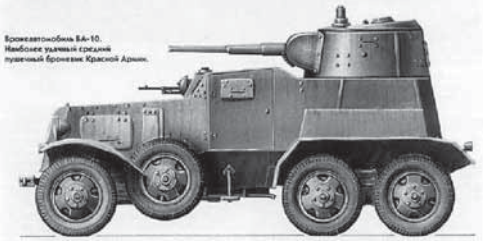
Герои Халхин-Гола — Кавалеры Золотой Звезды: комполка И.И. Федюнинский и комбриг М.П. Яковлев

38-й бап. К ним на усиление из Москвы 29 мая прилетела группа советских лётчиков-асов (48 человек), имевших опыт боёв в Испании и том же Китае, многие из которых имели звание Героев Советского Союза. Руководителем Халхин-Гольской авиагруппы был назначен заместитель командующего ВВС РККА комкор Яков Владимирович Смушкевич — легендарный генерал Дуглас (псевдоним в Испании). С прибытием подкреплений в воздухе установилось равновесие воздушных сил до конца июля.

Весь июнь и июль обе стороны накапливали силы для более решительных боёв. Вялотекущие оборонительные действия со стороны советско-монгольской группы не устраивали советское военное командование. В начале июня на место боёв был прислан комдив Георгий Константинович Жуков, а комдива Н. В. Фекленко отозвали в Москву. Начальником штаба корпуса назначили прибывшего вместе с Жуковым комбрига Михаила Андреевича Богданова.

К району конфликта стали стягиваться необходимые силы. Из западных округов войска подвозились по Транссибирской железнодорожной магистрали к станциям Улан-Удэ и Борзя, а далее по территории Монголии (около 750-ти км) они следовали первую половину пути на машинах, а затем — пешим порядком. На базе 57-го ОК и прибывающих свежих частей была сформирована 1-я армейская группа (прообраз будущей армии) — командующий комдив Г.К. Жуков, вошедшая в состав фронтовой группировки под управлением (из Читы) командарма 2-го ранга





Моторизованная техника, принимавшая участие в Халкин-Гольской операции: средний танк БТ-4, пулемётно-артиллерийский бронеавтомобиль БА-10

Григория Михайловича Штерна.

Среди пополнения находилась и 82-я стрелковая дивизия (сд). Сформированная в спешке на Урале, она оказалась совершенно неподготовленной к ведению боевых действий, многие её красноармейцы никогда не держали в руках оружия. Их пришлось в короткий срок обучать стрелять из винтовок, окапываться, бросать гранаты, ходить в атаку, действовать штыком. В составе этой дивизии воевали многие наши земляки-уральцы, включая и Петра Диденко из села Дубенское. В таком же положении оказались и другие аналогично сформированные в спешке дивизии в ЗабВО.

Вскоре после прибытия нового командования начальником штаба армейской группы М.А. Богдановым был предложен и детально разработан новый план боевых действий: ведение активной обороны на плацдарме за Халхин-Голом и подготовка сильного контрудара по противостоящей японской группировке Квантунской армии. Наркомат обороны и Генштаб РККА согласились с выдвинутыми предложениями Богданова.

Для закрепления господства в воздухе продолжали наращиваться и воздушные силы. Из западных округов в июле были переброшены 56-й истребительный и 56-й бомбардировочный авиаполки, некоторые отдельные эскадрильи, включая даже морскую, и отдельные экипажи. Несколько эскадрилий и отдельных экипажей были переброшены из 32-го бап, дислоцировавшегося на станции Бада ЗабВО и готовившего перед этими событиями лётчиков-добровольцев для направления в Китай*.

В первых числах июля японцы, пользуясь численным преимуществом, предприняли попытку форсировать реку Халхин-Гол и захватили сопку Баин-Цаган на её западном берегу. Командование 1-й армейской группы, имея в резерве на данный период только 11-ю легкотанковую бригаду из состава 57-го ОК под командованием комбрига М.П. Яковлева, принимает рискованное решение, используя внезапность, с марша атаковать прорвавшегося противника силами одной этой бригады без

---

* В 32-м бап, ставшим в годы войны с Германией 99-м Гвардейским Забайкальским отдельным разведывательным авиаполком служили многие выпускники Оренбургской школы лётчиков и летнабов (впоследствии ЧВАУ-1 и ЧВАУ-2), включая и моего земляка-поселковца И. Д. Злыденного, Героя Советского Союза (1944 г.), штурмана фронтового бомбардировщика, ныне полковника в отставке, проживающего в Москве.

поддержки пехоты. Успех сопутствовал смелому маневру — в «Баин-Цаганском побоище» танкисты при поддержке авиации ликвидировали захваченный японцами плацдарм, а вместе с подоспевшей уже позже пехотой 24-го мотострелкового полка под командованием комполка И.И. Федюнинского перенесли бои на восточный берег Халхин-Гола. Оба полководца стали в этих боях Героями Советского Союза, а Федюнинский — ещё и Героем МНР. К великому сожалению, в более поздних июльских сражениях комбриг Яковлев погиб. Похоронен был на кладбище в Чите, но могила, к стыду горисполкома, а позже мэрии этого города, безвозвратно утеряна.

Сосредоточив достаточные силы, 1-я армейская группа РККА 20 августа перешла в контрнаступление, упредив противника на 4 дня. Наступающие войска были разделены на три группы — Южную, Северную и Центральную. Главный удар наносился Южной автомотоброневой группой под командованием полковника М.И. Потапова, вспомогательный удар — Северной бронетанковой группой, которой командовал полковник И.П. Алексеенко. Центральная группа под командованием комбрига Д.Е. Петрова, состоящая из стрелковых дивизий, должна была сковать силы противника в центре, на линии фронта, и, тем самым, лишить их возможности манёвра. В резерве, сосредоточенном у сопки Хамар-Даба — КП армейской группы, — находились две бригады и танковый батальон. В операции участвовали, прикрывая фланги, и монгольские войска: 6-я и 8-я кавалерийские дивизии под общим командованием маршала Х. Чойбалсана. В ходе наступательной операции штаб армейской группы, используя маневренные механизированные и танковые части, неожиданными сильными фланговыми ударами при поддержке авиации и артиллерии окружил и уничтожил противника в районе между государственной границей МНР и рекой Халхин-Гол. Здесь впервые в мировой военной практике для решения оперативных задач по окружению противника в качестве основной ударной силы фланговых группировок использовались танковые и механизированные части. 31 августа разгром японской наземной группировки был завершён.

После 8 сентября японское командование уже не предпринимало действий наземными войсками, однако воздушные бои продолжались. В первой половине сентября в небе над территорией МНР состоялись 7 воздушных боёв, крупнейший из них

(120 японских самолётов против 207-ми советских) состоялся 15 сентября, за день до подписания перемирия. 16 сентября 1939 года боевые действия на границе были прекращены.

По итогам завершившихся боёв Г.К. Жукову были присвоены звания комкор и Герой Советского Союза. Вскоре он был назначен командующим Киевским ВО, а несколько позже — начальником Генштаба. Трём лётчикам — Я.В. Смушкевичу (командующему ВВС армейской группы), Н.П. Кравченко (командиру 22 иап) и С.И. Грицевец (командиру эскадрильи 22 иап) было присвоено звание Героев Советского Союза вторично. К всеобщему удивлению автор блестяще задуманной и спланированной августовской операции — начштаба армейской группы комбриг М.А. Богданов — был награждён всего лишь орденом Боевого Красного Знамени. Ещё более странно, что Великую Отечественную войну он закончил командиром дивизии в звании генерал-майора.

В заключении хотелось бы особо отметить участие в описываемых событиях земляков-лётчиков из Оренбуржья. В составе 56-го бап сражался младший лейтенант Иван Михайлович Харченко — штурман скоростного бомбардировщика СБ-2, родом из села Днепровка Буртинского (ныне Беляевского) райо-





Лётчики-бомбардировщики – выпускники Оренбургской школы лётчиков 1930-х гг., отличившиеся в небе над Халхин-Голом (слева направо): младший лейтенант И.М. Харченко, майор М.Ф. Бурмистров, капитан И.С. Полбин

на. О боевом пути И. Харченко повествует очерк в книге памяти Беляевского района[1]. С призывом в армию его направили в Оренбургскую школу лётчиков и летнабов (ОШЛЛ) имени К. Е. Ворошилова. После её окончания в 1932 г. служил в Ленинградском, а затем Белорусском ВО, откуда и прибыл в составе 56-го бап в район боевых действий. Этот полк принял участие в «Баин-Цаганском побоище» и в боях на заключительном этапе — августовском наступлении РККА. Советские бомбардировщики под прикрытием истребителей в течение обеих операций волна за волной «висели» на малой высоте над полем боя, громя противника с воздуха. За эти операции штурман-бомбардир Иван Харченко был награждён орденом Боевого Красного Знамени. Два года спустя в войне с Германией за оборонительные сражения в 1941 г. он был удостоен ордена Ленина. А в сентябре 1942 г., сражаясь на Волховском фронте в 4-м гвардейском полку пикирующих бомбардировщиков Пе-2, экипаж нашего земляка был сбит вражеским истребителем в районе Сенявинских высот.

Помимо И.М. Харченко в воздушных боях над Халхин-Голом принимали участие и другие известные в стране выпускники ОШЛЛ. Вот некоторые из них: майор Бурмистров Михаил Фёдорович (выпуск 1930 г.) — командир 150 бап, награждён Звездой Героя Советского Союза посмертно; капитан Полбин Иван Семёнович (выпуск 1931 г.) — командир эскадрильи того же 150 бап, награждён орденом Ленина, впоследствии удостоенный звания Героя Советского Союза дважды, погиб в 1945 г. в Польше под городом Бреслау; майор Грицевец Сергей Иванович (выпуск 1932 г.) — первый в стране дважды Герой Советского Союза.

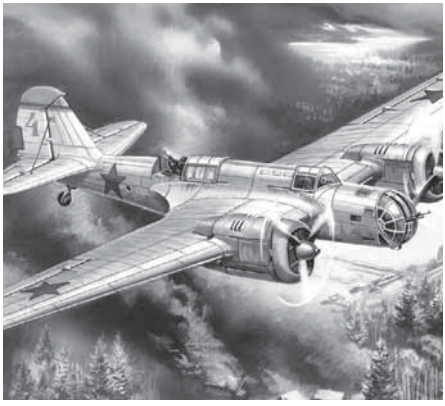
С.И. Грицевец, ещё будучи курсантом лётной школы, проявил исключительные для лётчика черты характера. В одном из учебных полётов у него отказал мотор прямо над центром Оренбурга. Сохранив самообладание в труднейшей обстановке, курсант Грицевец спас машину и сумел избежать человеческих жертв.

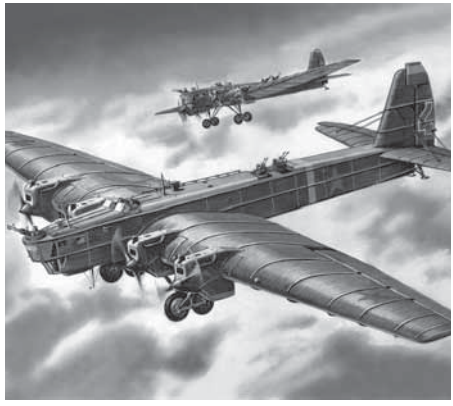
Писатель Григорьев Г.К. рассказывает:[2] «Он вёл самолёт над Оренбургом. Внезапно в ровную громкую песнь мотора вкрались подозрительные нотки. Потом он стал как бы заикаться, зачихал и, поперхнувшись, совсем смолк. Всё это произошло в считанные секунды. Что же делать? Спланировать на аэродром не удастся: он далековато, не дотянуть! Бросить машину и прыгать

с парашютом, как это предписывает инструкция? Жалко: новый самолёт и опасно. Внизу — центр города, в тёплый полдень на улицах много народа. Куда рухнет неуправляемая машина, неизвестно... Сергей судорожно двигает назад-вперёд сектор газа, но проклятый мотор не реагирует. Самолёт опускается всё ниже и ниже, мелькают крыши домов, палисадники. Надо садиться, но куда? Руки Сергея по-прежнему крепко держат управление, глаза зорко всматриваются в улицы и переулки, ярко освещённые солнцем. Вот впереди широкая пыльная и безлюдная улица — окраина города... Даже собак не видно. Самолёт уже совсем









Советская авиация, принимавшая участие в боях над Халхин-Голом: верхний ряд (слева направо) - истребители: моноплан И-16 и биплан И-153 «Чайка»; нижний ряд (слева направо) - бомбардировщики: фронтовой СБ -2 и тяжёлый ТБ - 3

низко... Вдруг впереди — телеграфный столб. У Сергея нашлись сила и воля у самой земли положить машину в крен и обойти препятствие. Удар. Сергей больно стукнулся лицом о приборную доску. Ещё удар, но меньшей силы. Видно, колесо попало в колдобину. Окутанный тучей поднятой им пыли, самолёт останавливается посредине улицы. И тут же со всех сторон бегут к нему мальчишки, спешат взрослые... Сергей спрыгивает на землю... Стирает ладонью пот с лица и видит, что рука в крови. Он выплевывает зуб, выбитый при посадке, и просит:

— Принесли бы водицы попить!

О выдержке и мужестве начинающего пилота, сумевшего сохранить самолёт, посадив его на улице, написала городская газета, назвав этот поступок подвигом. О нём рассказали срочно выпущенные боевые листки. На территории школы появился плакат: «Курсанты! Равняйтесь по Сергею Грицевцу!» Смущённо он принимал поздравления, считая, что не сделал ничего особенного».

Здесь, на Халхин-Голе, талант лётчика-истребителя С.И. Грицевца проявился в полную силу. Он летал на самолёте-истребителе «И-16», затем командовал отдельной группой новейших истребителей «И-153» («Чайка»). За период с 22 июня по 30 августа 1939 года в небе МНР он выполнил сто тридцать восемь успешных боевых вылетов, сбив двенадцать вражеских самолётов, и совершил изумительно дерзкий по своей смелости подвиг: спас командира 70-го истребительного авиационного полка майора Забалуева В.М., самолёт которого был подбит в воздушном бою японским истребителем. На глазах японцев, в семидесяти километрах за линией фронта, С.И. Грицевец произвёл посадку прямо в степи, втиснул Забалуева между левым бортом и бронеспинкой своего неуязвимого «И-16» и успешно доставил его на свой аэродром.



Лётчики 22-го истребительного авиаполка

К несчастью, Грицевец Сергей Иванович вскоре после замире-

ния на Халхин-Голе погиб на аэродроме под Оршей в сентябре 1939 г. в период подготовки к войне с Польшей, известной в нашей стране как «освобождение» Западной Украины и Западной Белоруссии.

Общепризнано, что победа СССР и МНР на Халхин-Голе, как и годом ранее на озере Хасан, сыграла решающую роль в ненападении Японии на СССР в годы Второй мировой войны и переносе наступательных действий Японии на Тихоокеанский театр.

Но помимо этого стратегического политического итога кампании, в боях на Халхин-Голе Красная Армия добилась целого ряда важнейших тактических успехов. Именно на Халхин-Голе многое было опробовано впервые :

— боевые действия советских войск в межвоенный период были первым примером, когда интернациональный долг перед другими странами выполняли регулярные войска РККА; в начале боевых действий советские солдаты не совсем понимали, за что они воюют, так что политическую работу пришлось корректировать на месте: был выброшен лозунг “Защищая границы МНР, Красная Армия обороняет территорию Советского Союза от Байкала до Владивостока, препятствует Японии превратить МНР в плацдарм войны против СССР”;

— впервые снабжение армейской группы осуществлялось автотранспортом за многие сотни километров по безлюдной пустыне;

— впервые на плацдарме была создана сплошная траншейная система обороны;

— впервые в воздушных боях участвовали десятки и сотни боевых самолётов;

— впервые для ночных действий была сформирована специальная группа в составе 20-ти самолётов ТБ-3;

— впервые были созданы так называемые «аэродромы подскока»;

— впервые предусматривалось создание внешнего и внутреннего фронта окружения;

— впервые по безводной степи на позиции противника мчались сотни танков и бронемашин, которые были использованы в качестве основной ударной силы фланговых группировок, совершавших окружение противника;

— впервые классическая операция по окружению и уничтожению крупной группировки противника осуществлялась не на командно-штабных учениях или манёврах, а в реальных боевых условиях...

И ещё многое было впервые. Так, например, сапёрная рота 11-й легкотанковой бригады М.П. Яковлева навела наплавной понтонный мост. Японцы его постоянно бомбили, и сапёры вновь и вновь восстанавливали. Тогда впервые было принято оригинальное решение — затопить весь мост. Понтоны сели на грунт, и вода поднялась на 30-40 сантиметров выше настила. Переправа по нему осуществлялась только ночью, и противник долгое время считал его разрушенным. Мост в течение полутора месяцев обеспечивал устойчивую переправу наших войск в условиях частых налётов авиации противника.

На пяти истребителях 22-го авиационного полка впервые были установлены 82-мм реактивные снаряды, которые позже применялись на знаменитых «Катюшах». А артиллерия (вплоть до 152-мм орудий) впервые действовала непосредственно в боевых порядках пехоты.

Впервые в истории советской авиации подбитый бомбардировщик, ведомый комиссаром 150-го смешанного бап майором Михаилом Анисимовичем Ююкиным, совершил огненный таран по наземной цели — скоплению вражеских войск; кстати, в этом же авиаполку, в эскадрилье тяжёлых бомбардировщиков ТБ-3, воевал в тот же период и Николай Гастелло.

Впервые с помощью танков создавались броневые укреплённые районы.

Впервые широко применялись мероприятия тактической маскировки и дезинформации с участием Звуковещательного отряда Политического управления РККА.

Впервые непосредственно на поле боя осуществлялся массовый приём в партию и комсомол, в которые было принято 7673 человека.

Впервые велась настоящая информационная война. В составе войск действовали подразделения по работе среди войск и населения противника, которые массовыми тиражами выпускали газеты и листовки на языках противника. Специально выделенные три бомбардировщика сбрасывали в расположении противника «агитационные бомбы» с листовками — деревянные кон-

тейнеры, раскрывающиеся на заданной высоте. Когда 23 августа кольцо окружения вокруг японских войск сомкнулось, специалисты-пропагандисты оперативно отпечатали 20-тысячный тираж обращения советского командования к японским солдатам, их которого японские солдаты узнали о факте окружения своих войск, скрываемом их генералами. Этот факт оказал на врага сильное деморализующее действие.

Впервые Забайкальская железная дорога в целях всестороннего обеспечения войск работала в режиме военного времени.

Командование фронтовой советско-монгольской группировкой и 1-й армейской группой максимально использовало провокационную авантюру, развязанную японской военщиной, в целях отработки новейших приёмов ведения войны в условиях того времени.

Честь и слава Героям и всем, кто остался живым и погиб в далёком 1939 году!

ЛИТЕРАТУРА:

1. Есть в памяти и боль, и благодарность /Книга памяти Беляевского района. — Оренбург: ООО Агентство «Пресса», 2005. — 272 с.

2. Григорьев Г.К. Две Звезды. — М.: Изд. ДОСААФ, 1970, — 232 с.



Алла ПРОКОФЬЕВА

НИКОЛАЙ ПРЯНИШНИКОВ И ОРЕНБУРГ

К 125–летию со дня рождения

Алла Георгиевна Прокофьева родилась в Оренбурге. Окончила Оренбургский государственный педагогический институт. Доктор педагогических наук, профессор кафедры русской классической литературы и методики преподавания литературы, заведующая литературно-краеведческой, научно-исследовательской лабораторией ОГПУ, автор более 150 научных работ, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской Пушкинской литературной премии «Капитанская дочка»(2003), премии «Оренбургская лира»(2014), награждена памятной медалью «К 100-летию М.А. Шолохова»(2005).

О связях литературоведов с Оренбуржьем, о трудах литературоведческого характера, созданных в Оренбургском крае или оренбуржцами, можно говорить начиная с XIX в. В 1847–1848 гг. в Оренбургском губернском правлении служил Пётр Петрович Пекарский, литературовед, впоследствии академик, автор 2-томного труда «Наука и литература в России при Петре Великом» (1862); жизнеописаний В.К. Тредиаковского, М.В. Ломоносова, книги, имеющей особое значение для оренбуржцев, – «Жизнь и литературная переписка П.И. Рычкова». Известны были в XIX в. его «Библиографические заметки о русской литературе первой половины XIX в.» (1855).

С июня 1861 года по июнь 1862-го в Оренбурге жил литературный критик и поэт Аполлон Григорьев. Служа в

Оренбургском Неплюевском кадетском училище, А.А. Григорьев занимался и литературной деятельностью. В Оренбурге им были написаны статьи о Л.Н. Толстом, Н.А. Некрасове, в Оренбургском благородном собрании прочитаны лекции о Пушкине.

Находясь в Оренбурге, А.А. Григорьев писал письма Н.Н. Страхову, литературному критику, известному своими работами об А.С. Пушкине (в том числе и о «Капитанской дочке»), И.С. Тургеневе и Л.Н. Толстом, Ф.М. Достоевском и др. В 1878 году Н.Н. Страхов приезжал с Л.Н. Толстым и его семьёй в заволжское имение писателя, побывал в Оренбурге, на Меновом дворе, в Бузулуке.

В 1867 году в Оренбург был сослан Николай Фёдорович Крузе (1825–1901), в литературе известный как сотрудник «Русского Вестника», «Русской Старины», «Санкт-Петербургских ведомостей», как цензор прогрессивного направления. Ему посвятил стихотворение Н.А. Некрасов, с ним переписывались И.С. Аксаков, А.Д. Галахов, И.А. Гончаров, В.М. и Н.М. Жемчужниковы, А.К. Толстой.

В конце XIX века после окончания Московского университета преподавал в оренбургских учебных заведениях русский литературовед Николай Михайлович Гутьяр. В Оренбурге вышла его книга «Из воспоминаний о Ф.И. Буслаеве» (1897). Основная его литературоведческая работа – о Тургеневе. Он был первым биографом Тургенева.

Оренбургскую литературоведческую линию достойно продолжил в XX веке Николай Ефимович Прянишников. Он сделал очень многое для изучения литературной жизни Оренбуржья, для выявления связей с ним многих русских писателей-классиков: Г.Р. Державина, И.А. Крылова, А.С. Пушкина, В.И. Даля, С.Т. Аксакова, М.В. Авдеева, М.Л. Михайлова, А.Н. Плещеева, Л.Н. Толстого, Г.И. Успенского и др.

Литературоведческая и краеведческая деятельность Н.Е. Прянишникова (1890–1963) в основном относится к первой половине XX в.

В 1930 году Прянишников переехал из Уральска в Оренбург, где были изданы основные его книги: «Проза Пушкина и Толстого» (1939), «Образ русской патриотки в художественной литературе» (1943), «Писатели-классики в Оренбургском крае» (1946), «Писатели-классики об Оренбургском крае» (1951), «Проза Льва Толстого» (1959), «Записки словесника» (1963).

Известны книги, к которым Прянишников писал предисловия,

послесловия: книга «Полынь» (Сб. стихов, 1930, Уральск); Пушкин «Капитанская дочка» (Чкалов, 1948 (послесловие). Он был редактором книги очерков В. Герасимовой «Родная земля», одним из авторов и составителем книг «Пушкин в Оренбурге» (1937), «Шевченко в ссылке» (1948).

В 1930-е годы он печатал статьи, рецензии в центральных изданиях: «Новом мире», журналах «Литература и искусство», «На литературном посту», «Книжные новости»; в оренбургской периодике (газетах «Оренбургская коммуна» и «Большевистская смена») часто появлялись его статьи к памятным датам русских писателей — 125-летию со дня рождения Н.В. Гоголя, 120-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, к 30-летию со дня смерти А.П. Чехова и др. и публикации краеведческого характера: «Как написана «Капитанская дочка» А.С. Пушкина («Оренбургская коммуна», 1935, 2/10), «О творчестве оренбургского поэта Ивана Бортникова» («Большевистский сигнал», 1937, 6/05), «Л.Н. Толстой в Оренбуржье» («Оренбургская коммуна», 1938, 8/10), «Плещеев в Оренбурге» (1938, 8/10), «Новое о пребывании А.С. Пушкина в Оренбурге» («Чкаловская коммуна», 1939, 6/06), «Записки несчастного» (Об одноимённой книге В.П. Колесникова. 1914 г. Из прошлого Оренбурга) («Чкаловская коммуна», 1941, 8/1).

Н.Е. Прянишников участвовал в создании и издании оренбургского альманаха «Степные огни», на страницах которого появились многие его краеведческие работы: «Публичные лекции о Пушкине в Оренбурге 60-х годов (№ 1), «Письма А.Н. Плещеева к Е.И. Барановскому» (№ 2), «Лев Толстой в Оренбургском крае» (№ 3).

В годы Великой Отечественной войны в работах Прянишникова усилилась патриотическая тематика: «Патриотизм Лермонтова»; «Рассказ Л. Толстого крестьянским детям о войне с Наполеоном» («Чкаловская коммуна», 1941, 9/08; «Отечественная война 1812 года» (по роману Л. Толстого «Война и мир»); «Родина в творчестве русских классиков» («Чкаловская коммуна», 1941, 25/11); «Салтыков-Щедрин о предках немецких фашистов» («Чкаловская коммуна» 1942, 15/1); «Пушкин-патриот», «Тургенев-патриот», «Басни Крылова о двенадцатом годе» и др.

В послевоенное время в оренбургской периодике Прянишников выступает довольно часто как литературовед, знаток русской литературы — статьи об А. Островском-драматурге май 1946; об Островском и Соловьёве («Женитьба Белугина»); о поэте-гражданине Некрасове; о Батюшкове как предшественнике Пушкина; о

Тютчеве; Радищеве, Г. Успенском; о Крылове как баснописце, М. Горьком. Иногда он выбирает своеобразные темы: «Дореволюционный суд в произведениях русских писателей».

Его явно интересует проблема «литература и театр». Он пишет как театральный критик о спектаклях «Волки и овцы», «Искажённый Островский» — о «Женитьбе Бальзаминова» (в ТЮЗе); об орском театре («Свет и тени»). В апреле 1947 г. в «Чкаловской коммуне» публикует статью «Три спектакля» — о спектаклях в областном драмтеатре «Последняя жертва» (реж. И. Щеглова), «Без вины виноватые» (А. Бурин), «Лес» (В. Менчинский).

Прянишников — автор 79-ти статей о театре, рецензий на спектакли и кинофильмы: о гастролях артистов Малого театра (1939), о фильмах «Воскресенье», «Живой труп» и др.

В периодике появляются и статьи о современной ему литературе: о повести Б. Горбатова «Непокорённые», К. Симонова «Дни и ночи».

Продолжает он заниматься и краеведением: в 1946 году пишет о Шевченко, указывает, что поэт жил сначала у Бутакова, потом у Герна (в несуществующем ныне доме на б. Косушечной ул., в Старой слободке); в 1948 году рассказывает о находке С.А. Попова, установившего, что Державин действительно оставил завещание, где был специальный пункт об освобождении его крестьян на основании закона о свободных хлебопашцах, но наследники игнорировали это завещание. (В книге Прянишникова приводится предание об этом, записанное со слов старожилов села Державино в XX в.).

В 1950-е годы Прянишников много писал о работах литературоведов, научных статьях: Об учёных записках Чкаловского педагогического института (1950), «Так ли строить историю литературы?» (О книге «История русской литературы», т. 6, 10. М-Л., АН СССР, 1953-54) — Литературная газета, 1955, 12 мая; «Неудачная помощь учителям» (О книге А.В. Бардина «Поднятая целина» Шолохова, Оренбург, 1958) — «Вопросы литературы», 12; «Сорок сороков... нелепостей» (О книге А.И. Поповкина «Л.Н. Толстой») — «Молодая гвардия», 1959, № 9; «Как не стоит писать о Чехове» (О книге А.Ф. Захаркина «А.П. Чехов») — «Новый мир», 1961, № 9; Фольклорный промысел («Чкаловская коммуна», 1946, 26 мая) и др.

В последние годы жизни Прянишников опубликовал ряд статей о русском языке и культуре речи: «Конфузное издание» (о книге В.Н. Головина «О культуре речи». — Вологда, 1953) — «Известия»,

1953, 23/06; «Недостатки важного пособия» (о книге «Современный русский язык. Морфология» под редакцией В.В. Виноградова. — М., МГУ, 1953) — «Известия», 1953, 18/12); «Берегите наш язык...» — «Урал», 1961, № 5.

Основная краеведческая работа Прянишникова — «Писатели-классики в Оренбургском крае», получившая признание многих литературоведов. Критические замечания были сделаны лишь в 1946 году в рецензии Н. Мещерского, краеведа, кандидата филологических наук, в связи с излишним использованием Прянишниковым сведений, почерпнутых у Д.Н. Соколова, опиравшегося на работы Н. Иванова, — недостоверный источник (к тому же Соколов по какой-то причине даже пытался дискредитировать воспоминания В. Даля).

Книга «Проза Пушкина и Л. Толстого» была высоко оценена К. Чуковским и В. Катаевым, после чего Прянишников был принят в члены Союза писателей СССР.

Эта работа заслуживает особого внимания. Прянишников рассматривает прозу Пушкина в разных аспектах. Вот некоторые наблюдения литературоведа. Говоря о такой черте Пушкина-прозаика, как лаконизм, Прянишников пробует разобраться, как он достигается, анализируя «Капитанскую дочку»: «В «Капитанской дочке» редкая вещь, однажды упомянутая, не появляется затем вторично в какой-либо новой функции, что делает эту повесть с одной стороны пределом лаконизма, при котором каждая художественная деталь «обыгрывается» максимально, но вместе с тем и образцом обстоятельности, при которой ничто не пропадает. Так, упомянутый в первой главе «придворный календарь», имевший свойство производить всегда в отставном премьер-майоре Гринёве «удивительное волнение желчи»», так что «матушка... всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подальше», в последней главе вдруг отыскивается и вновь попадает в руки старику, но уже не оказывает на него «обыкновенного своего действия» — до того, очевидно, ничтожной казалась ему былая досада неудовлетворённого честолюбия в сравнении с теми потрясениями, какие он пережил и переживал»[1].

Прянишников рассматривает целый ряд пушкинских деталей, подчёркивая их роль в раскрытии характеров героев «Капитанской дочки», их поведения и поступков: «Любопытно, что судьбу некоторых вещей автор повести прослеживает по возможности до конца. Вышеупомянутая пушка, так плачевно оборонявшая крепость от Пугачёва, оказывается потом в составе пугачёвской ар-

тиллерии: «несколько пушек, между коих я узнал и нашу, поставлены были на походные лафеты».

Письмо, вручённое Екатериной дочери капитана Миронова для её «будущего свёкра», в эпилоге повести фигурирует как фамильная реликвия в потомстве Гринёвых, хранимая «за стеклом и в рамке».

Не говоря уже о заячьем тулупе, который несколько раз «возникает» в повести и, будучи связан с личностью Пугачёва (как повод для некоторых его волеизъявлений), заключает в себе как бы главную пружину увлекательной фабулы «Капитанской дочки».

Следует отметить, что на книги Прянишникова «Проза Пушкина и Л. Толстого», «Писатели-классики в Оренбургском крае», «Писатели-классики об Оренбургском крае» ссылки можно встретить во многих академических изданиях и энциклопедических словарях, что свидетельствует о значимости этих книг и литературоведческой ценности.

Примечания:

1. Прянишников Н.Е.. Записки словесника. Оренбург: Оренб. кн. изд., 1963.

Виктория ПРОКОФЬЕВА

«ОТЕЦ ХОТЕЛ ОТДАТЬ МЕНЯ В ЛЮДИ...»

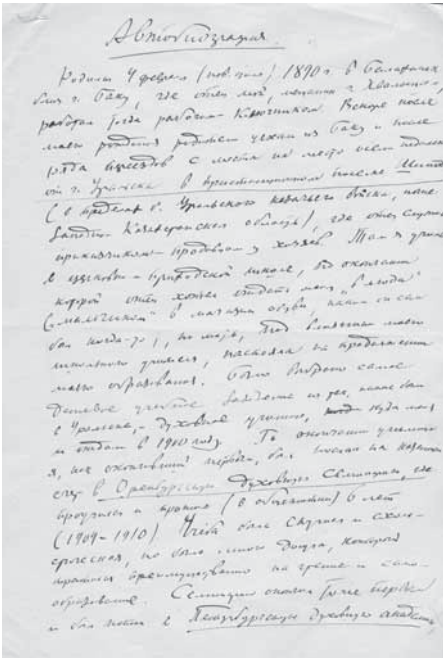
Из личных документов Н. Прянишникова

Николай Ефимович Прянишников (5.2.1890 – 21.4.1963, Оренбург) – известный оренбургский литературовед, краевед, театральный критик. Его книги (Писатели-классики в Оренбургском крае (четыре издания, первое – Чкалов, 1946); Писатели-классики об Оренбургском крае. – Чкалов, 1951; Записки словесника. – Оренбург, 1963) и поныне остаются востребованными оренбургскими словесниками и краеведами.

Представляем найденные нами в архиве Оренбургского Дома литераторов им. С.Т. Аксакова документы Н.Е. Прянишникова, в которых обнаруживаются некоторые подробности жизни и творчества филолога, краеведа, педагога, писателя. Сейчас держателем этих документов является Оренбургская областная научная библиотека им. Н.К. Крупской.

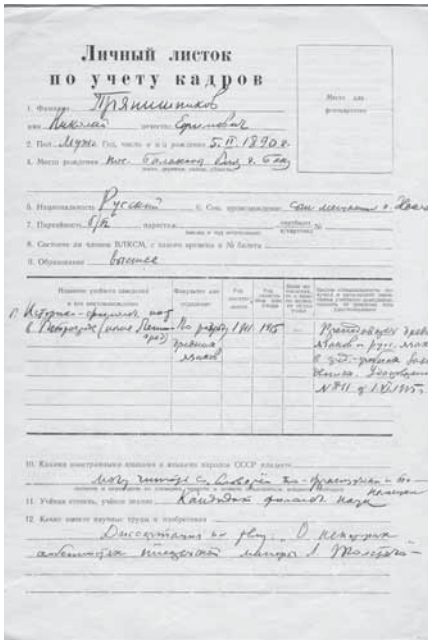
Автобиография

Родился 4 февраля (нов. стиль) 1890 г. в <пос.> Балаханах близ г. Баку, где отец мой, мещанин г<орода> Хвалынска, работал тогда рабочим-ключником. Вскоре после моего рождения родители уехали из Баку и после ряда переездов с места на место осели недалеко от г. Уральска в пристанционном посёлке Шипово (в пределах б<ывш>. Уральского казачьего войска, ныне Западно-Казахстанская область), где отец служил приказчиком-продавцом у хозяев. Там я учился в церковно-приходской школе, по окончании которой отец хотел отдать меня «в люди» («мальчиком» в магазин обуви, каким он сам был когда-то), но мать под влиянием моего учителя настояла на продолжении моего образования. Было выбрано самое дешёвое учебное заведение из тех, какие были в Уральске, — духовное училище, куда меня и отдали в 1900 году. По окончании училища я, как окончивший первым, был послан на казённый счёт в Оренбургскую духовную семинарию, где проучился и прожил (в общежитии) 6 лет (1904 — 1910). Учёба была скучная и схоластическая, но было много досуга, который тратился преимущественно на чтение и самообразование. Семинарию окончил тоже первым и был послан в Петербургскую духовную академию, но через год ушёл оттуда и — в поисках более интересного и более соответствующего моим запросам высшего учебного заведения — я поступил по конкурсному экзамену в б<ывш>. Петербургский Историко-филологический институт. Институт разочаровал, так как оказался довольно убогим и затхлым, но он был в Петербурге с его музеями, театрами, публичными лекциями, и это всё как-то компенсировало то, чего не давал институт.



Окончил институт (по разряду древних языков) весной 1915 года, а осенью того же года был призван на военную

службу. Сначала отбывал её вольноопределяющимся в Саратове, потом был командирован в военное училище в Киев (4-месячный курс), откуда был выпущен в чине прапорщика. Служил в течение нескольких месяцев в Петрограде в запасном полку и летом 1917 года был отправлен на фронт (в Белоруссию). Когда произошла Октябрьская революция, в полку, где я служил (518-й Алашкертский), в ноябре 1917 г. происходила чистка офицерского состава Советом солдатских депутатов, и я, помню, был горд тем, что мне при этом было оказано доверие и я был оставлен в полку на командной должности. В декабре 1917 г. из корпуса было получено распоряжение об увольнении из армии учителей, и я, как педагог по образованию, был демобилизован. Приехав в Уральск, где были жена и мать (отец умер в начале 1917 года) и где ещё существовала гимназия, я поступил в неё преподавателем русского и латинского языков.



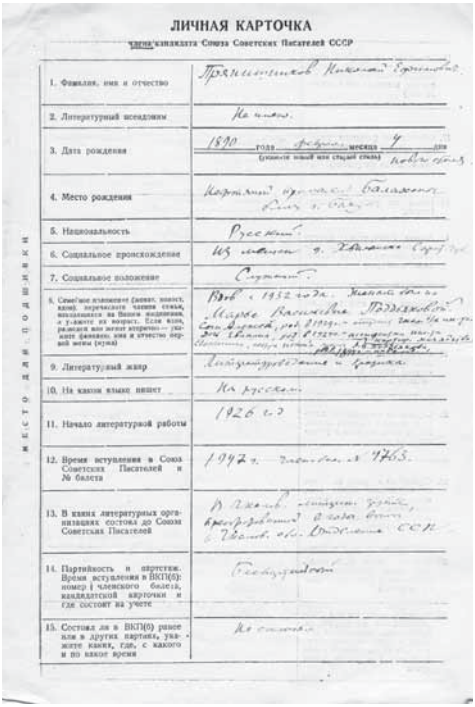
Личный листок
по учету кадров

Вскоре началась гражданская война. В январе 1919 года Уральск был занят частями Красной Армии и в нём, как и в области, была установлена Советская власть. Гимназия прекратила своё существование. Я поступил во вновь созданный в Уральске Губземотдел (работал в секретариате), но в августе 1919 г. был призван в Красную Армию. Служил сначала в Управлении начальника гарнизона и коменданта г. Уральска, а в апреле 1920 г. при реорганизации этого Управления был переведён на службу в Уралупродкомгуб, где служил сначала в должности контролёра, а потом начальником канцелярии или (как потом стала называться моя должность) начальником административно-хозяйственного отдела.

В июле 1922 г. я был уволен в запас и поступил на работу в Торговый Отдел Уральского Промышленно-торгового Управления, где работал секретарём в течение года. Осенью 1923 г. поступил в Уральскую губернскую Совпартшколу, где и прослужил в течение

6 лет (1923 – 1929 гг.) преподавателем русского языка и литературы. В 1929 г. перешёл в Казахский медицинский техникум (в Уральске), где работал год преподавателем русского и латинского языков.

Живя в Уральске, печатался в местной газете «Красный Урал», помещая в ней литературоведческие статьи, а с 1929 года стал изредка печататься в «Новом мире» (в отделе критики и библиографии) и некоторых других московских журналах. Весной 1930 года был послан в г. Алма-Ата делегатом на 1-й Казахстанский краеведческий съезд.



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА

Члена кандидата Союза Советских Писателей СССР

МЕСТО ДЛЯ ФОТОКАРТОЧКИ

1. Фамилия, имя и отчество
2. Литературный псевдоним
3. Дата рождения — 1890 года, месяца, дня
4. Место рождения
5. Национальность — Русский
6. Социальное происхождение
7. Социальное положение — Служащий
8. Семейное положение (живет, имеет, какой перечислите членов семьи, находящихся на Вашем иждивении, и укажите их возраст. Если вдов, разведен или живет врозь — укажите фамилию, имя и отчество первой жены (мужа)
9. Литературный жанр
10. На каком языке пишет — На русском
11. Начало литературной работы — 1926 г.?
12. Время вступления в Союз Советских Писателей и № билета — 1942 г.
13. В каких литературных организациях состоял до Союза Советских Писателей
14. Партийность и партстаж. Время вступления в ВКП(б): номер (членского билета, кандидатской карточки и где состоит на учете — Беспартийный
15. Состоял ли в ВКП(б) ранее или в других партиях, укажите каких, где, с какого и по какое время

Осенью 1930 г., после смерти матери, переехал с семьёй в г. Чкалов (тогда ещё Оренбург), где поступил на рабфак преподавателем русского языка и литературы. В 1932 году меня постигло большое несчастье – умерла жена. На руках осталось трое малолетних детей. Положение было тяжёлое. литературную работу пришлось прекратить.

Осенью 1933 года перешёл на работу в Чкаловскую Высшую Коммунистическую сельскохозяйственную школу преподавателем русского языка и литературы, прослужил в этой школе шесть лет (1933 – 39 гг.).

В 1938 году был приглашён на работу в Чкаловский госпединститут, куда через год и совсем перешёл – старшим преподавателем по литературоведческому циклу.

С 1937 года стал систематически печататься в газете «Чкаловская коммуна», помещал в ней литературоведческие и краеведческие статьи и театральные рецензии. Одновременно участвовал в местном альманахе «Степные огни» – во всех его выпусках. За последние годы Чкаловским областным издательством изданы три

моих книги: «Проза Пушкина и Л. Толстого» (1939), «Образ русской патриотки в художественной литературе» (1943) и «Писатели-классики в Оренбургском крае» (1946). Последняя книга ещё в рукописи обсуждалась в областной комиссии ССП в 1945 году.

После некоторого перерыва вновь стали появляться мои статьи и рецензии в Москве («Красная новь», «Литературная газета» и др.).

В 1943 году, чтобы располагать большим досугом для литературной работы, я уволился из педагогического института, но от педагогической работы совсем не отказался. В 1943 – 45 гг. преподавал русский язык и литературу на областных партийных курсах. Ныне состою внештатным лектором Областной партийной школы – веду краткий курс русской литературы.

В октябре 1947 г. защитил при Московском университете диссертацию на учёную степень кандидата филологических наук на тему «О некоторых особенностях писательской манеры Л. Толстого». Эта же работа обсуждалась на конференции-семинаре областных критиков и литераторов в Москве в ноябре – декабре 1947 года.

Дети выросли. Старшая дочь Ирина (род. 1919 г.) окончила литфак, работает сейчас в Чкаловском пединституте. Младшая дочь Евлалия (род. 1924 г.) окончила с/х академию им. Тимирязева и работает сейчас под Москвой ассистентом у проф. Лорха. Сын Алексей (род. 1929 г.) – студент 1-го курса Чкаловского с/х института. Во второй брак не вступал.

10/V 1948 г. Н. Прянишников



Валерий КУЗНЕЦОВ

«НЕВЕДОМЫЙ СЫН УДИВИТЕЛЬНЫХ ВОЛЬНЫХ ПЛЕМЁН»

Валерий Николаевич Кузнецов родился в 1941 году в Оренбурге. Окончил топографический техникум, Литературный институт им.А.М.Горького. Работал в полевых партиях, журналистом в областной газете «Южный Урал». Поэт, автор нескольких поэтических сборников, книги очерков литературного краеведения «Я посетил места...», редактор-составитель «Оренбург – «Всем азиатским странам и землям... ключ и врата». Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка»(2010), премии им. Валериана Правдухина альманаха «Гостиный Двор»(2010), региональной премии им. П.И. Рычкова (2014). Награждён серебряным крестом «За возрождение оренбургского казачества». Живёт в Оренбурге.

«Волею деканата заочного обучения Литературного института имени А.М. Горького полтора года совпадали сессии нашего курса и того, на котором учился Николай Рубцов. Я познакомился с ним весной 1968 года», — так начинались мои заметки «Тревожный житель земли» в книге «Воспоминания о Рубцове» (1983) — одной из первых в громадном ряду литературы о великом русском поэте.

Можно сказать, что общественное восхождение поэтической звезды Николая Рубцова совпало с выходом его первой московской книги «Звезда полей» (1967). Именно здесь появилось его большое программное стихотворение «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны, неведомый сын удивительных вольных племён», где так или иначе заявлены многие темы его лирики. При жизни у него вышли четыре книжечки общим тиражом немногим бо-

лее 40 тысяч. К 1990 году появилось около двадцати изданий его поэзии более чем 5-миллионным тиражом. После 91-го поэтические тиражи уменьшились на порядок, но книги Рубцова выходят почти ежегодно и на магазинных полках не залёживаются.

К его 50-летию в районном центре Тотьме, где поэт учился в лесотехническом техникуме, ему поставлен памятник работы скульптора Вячеслава Клыкова. Ни у кого в России не было такой стремительной посмертной славы — например, бюст Есенина на его родине появился лишь через полвека после его гибели. В 1998 году памятник Николаю Рубцову поставлен в Вологде, где он жил в зрелые годы и где погиб.

Великий композитор Георгий Васильевич Свиридов назвал творчество Рубцова «памятником целой эпохи». Поэт Глеб Горбовский уверен: «...Стихи Рубцова лишь для тех, кто, живя, страдал неподдельно, для сердец серьёзных, зрячих к своей и чужой боли».

Может быть, ни у кого из русских поэтов не было такого трагического начала жизни. Николай Рубцов родился в архангельском селе Емецке 3 января 1936 года. Война застала семью Рубцовых, где к тому времени оставалось пятеро детей, в Вологде. Исследователь жизни и творчества поэта, создатель его музея в Вологде, открытого к 70-летию со дня его рождения, Вячеслав Белков писал: «Видимо, в мае-июне 1942 года ушёл на фронт отец Михаил Андриянович. А вскоре 29 июня умирает мама, Александра Михайловна, главная опора и надежда для своих детей. Диагноз — хроническая болезнь сердца». Тот же автор привёл записанный в конце восьмидесятых рассказ сестры Галины Михайловны (в 1942-м ей было тринадцать лет. **— В.К**.) — сцены из российского Апокалипсиса: «...Ребят наших отправили в детский дом — Колю, Борю, Алика. Надя, маленькая, семь месяцев, умерла у меня на руках на второй день после мамы. Она всю ночь плакала и под утро. У неё, такой малютки, был разрыв сердца...». С такими не детскими впечатлениями бытия будущий поэт попал в один, дошкольный, потом в другой детский дом — села Никольского (Никола в его стихах) на берегу северной реки Толшмы в Тотемском районе Вологодчины. Нет ничего случайного в жизни истинного поэта: дошедшее до нас из глубины времён слово тотем — это язычески обожествлённое животное или растение, охраняющее род.

В чувстве родины для Николая Рубцова соединились все заповедные начала жизни. Вот откуда у него этот страстный призыв-признание:

Россия, Русь —
Куда я ни взгляну!
За все твои страдания и битвы

Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шёпот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Храни себя, храни!

Последняя строка как завещание родине выбита на увенчанном крестом мраморном надгробии вологодского Пошехонского кладбища, где поэт нашёл вечный покой. Тот же призыв-оберег — на мраморной доске, установленной в Петербурге на здании заводоуправления Кировского завода, где работал поэт.

Преодолённый трагизм жизни отразится позже и в его щемящих душу стихах для детей: «Ласточка», «Про зайца», «Медведь», «Воробей»:

Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит повозку с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зёрнышком бедным,
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему...

«Каждый великий поэт, — заметил Михаил Пришвин, — вершиной своего творчества соприкасается с душевным миром детей». В творческом наследии Николая Рубцова стихи для детей занимают особое место. Некоторые из них — это современные сказочные миниатюры, где звери и птицы поступают, как люди, и каждый их поступок оценивается в свете народной мудрости. При всей простоте языка и сюжета, доступной ребёнку, такие стихи уходят далеко за пределы детского восприятия, чтобы стать стихами-притчами и для взрослых. В 2006 году в издательстве «Оренбургская книга» вышли 5-тысячным тиражом «Стихи для детей» Николая Рубцова, иллюстрированные оренбургским графиком Владимиром Бобровым, и очень недолго пробыли на складских полках.

Перед призывом на Северный флот, «темы скитаний, жизни и смерти», названные в одной из его автобиографий, обострённо проявились в стихотворении восемнадцатилетнего Рубцова «Да, умру я...» (1954). Эта дата стоит под стихами, написанными в Ташкенте. Было ли это повторением путешествия любимого Рубцовым Есенина в Ташкент в 1921 году, выходил или не выходил Рубцов, как и Есенин, на оренбургском вокзале, но без этой

поездки вряд ли возник оренбургский исторический колорит в пронзительном по чувству стихотворении «Посвящение другу» (1969), обращённом, по одним свидетельствам, к журналисту Всесоюзного радио Энгельсу Федосееву, по другим — к вологодскому писателю А. Романову:

Замерзают мои георгины,
И последние ночи близки,
И на комья желтеющей глины
За ограду летят лепестки...
Нет! Меня не порадует — что ты! —
Одинокая странствий звезда.
Пролетели мои самолёты,
Просвистели мои поезда,
Прогудели мои пароходы,
Проскрипели телеги мои...
Я пришёл к тебе в дни непогоды,
Так изволь, хоть водой напои!
Не порвать мне житейские цепи,
Не умчаться, глазами горя,
В пугачёвские вольные степи,
Где гуляла душа бунтаря.
Не порвать мне мучительной связи
С долгой осенью нашей земли,
С деревцом у сырой коновязи,
С журавлями в холодной дали...
Но люблю тебя в дни непогоды
И желаю тебе навсегда,
Чтоб гудели твои пароходы,
Чтоб свистели твои поезда!

В ночь на 19 января 1971 года — на Крещение Господне в Вологде Николай Рубцов был убит «женщиной, которую собирался назвать женой».

После подготовленной им и уже посмертно вышедшей книги «Зелёные цветы» появились десятки других изданий (наиболее значительны «Видения на холме» (1990), «Россия, Русь! Храни себя, храни!» (1991), «Русский огонёк» (1994), трёхтомник издательства «Терра» (2000), исследования жизни и творчества поэта (особого внимания заслуживают работы В.В. Кожинова и В.Н. Баракова), публикуются неизвестные стихи и письма поэта, его лирика включена в школьные и вузовские программы, написаны песни на его слова, начиная с общеизвестной «Я буду долго гнать велосипед».

В Москве, Петербурге, Вологде, Дзержинске и других городах открыты музеи Николая Рубцова, библиотеки его имени, Рубцовские центры, в архангельском Емецке — памятник поэту (скульптор Николай Овчинников), его именем названы средняя школа и краеведческий музей; учреждена Всероссийская литературная премия «Звезда полей», имя Николая Рубцова носит одна из новооткрытых планет, его стихи переведены на многие иностранные языки.

В Вологде на доме № 3 по ул. Александра Яшина, где погиб поэт, открыта мемориальная доска, там же на Советском проспекте открыт памятник Рубцову череповецкого скульптора А.М. Шебунина, именем поэта названы сквер и улица. Третий памятник Рубцову на Вологодчине — бюст поэта — открыт в Череповце. Издан «Словарь художественного языка Рубцова», подготовленный череповецким филологом, профессором М.И. Сидоренко. Фильм «Поэт Николай Рубцов» в 2007 году получил Гран-при XVI Международного кинофестиваля «Золотой витязь» в номинации «Документальные фильмы». Вышел на экраны четырёхсерийный фильм о жизни и творчестве Николая Рубцова «Душа хранит» — воспоминания более ста друзей, сокурсников поэта, размышления писателей о его творчестве.

Слава поэта, уже неподсудная времени, развивается в народе по своим сакральным законам... Будем благодарны и «за всю любовь расплатимся любовью» к поэту, — он оставил нам в своей таинственной «Горнице» метафору горнего, мифологического света, которым освещено — и освящено — всё его творчество:

В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесёт воды...
Красные цветы мои
В садике завяли все,
Лодка на речной мели
Скоро догниёт совсем.
Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень,
Скоро у меня под ней
Будет хлопотливый день!
Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...

Лола ЗВОНАРЁВА, Лидия КУДРЯВЦЕВА

ГОРЯЩАЯ СВЕЧА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВА

Я отчётливо вижу, как жизнь моего отца
отражается в его работах.
Светлана Алексеева-Рокуэлл

Александр Алексеев был высок, сухощав, сероглаз и, несомненно, обаятелен. В опрощающемся Париже он выглядел аристократом. По-французски говорил со слегка рокочущим русским «р». В самом конце прошлого века его назвали у нас «безвестным русским или знаменитым французом». Между тем Алексеев — великий русский художник книги и великий аниматор. Его творчество буквально проросло русской классикой. Он едва ли не наизусть знал «Войну и мир», без поэтических строк Пушкина просто не мог существовать. Ему их читали вслух в часы отдыха, а он располагался в кресле кубистической формы, прикрывшись пушистым пледом. Алексеев создал непревзойдённые «сюиты» к «Братьям Карамазовым», «Анне Карениной», «Доктору Живаго». Лишь недавно эти романы изданы в России с его иллюстрациями.

С детских лет он смотрел на мир глазами художника. Первые пять лет жизни Александра пронизаны сверкающими солнечными лучами. Их вилла, принадлежавшая русскому посольству в Константинополе, — отец служил там военным атташе — располагалась над Босфором. Он запомнил мать в белом пеньюаре в кресле с книгой в руках и отца в чёрном фраке. Контраст чёрного и белого остался в памяти на всю жизнь.

Гувернантка Эстер говорила с мальчиком по-французски, Паулина, её сменившая, — по-немецки. «Простыми линиями он рисовал корабли, скользившие по проливам. Потом нарисовал корабли форта Румели Хиссар, его зубчатые башни — одну за другой. Потом (тоже простыми линиями) воинов, осаждавших крепость — одного за другим». Это из записок самого Алексеева, изобразившего себя в них под фантастическим именем Альфеони. Свою жизнь в Константинополе он назвал Раем.

И вот первые трагические впечатления. Снова художественно воспринятые. Мальчик увидел потрясённую мать — даму «без

лица», потом её «чёрное лицо» под вуалью, чёрные перчатки на тонких аристократических руках. Так он узнал о смерти отца — вдали от дома, в Германии, кажется, произошло убийство. Этот чёрный знак беды, эту голову «без лица», запечатлённые в детском сознании, нам предстоит встретить не раз в его мистических сюитах. Так же, как знаменитые тени, на которых в его монументальных циклах строится немало изображений.

Тени тоже пришли из детства. Они потрясли воображение мальчика-кадета, когда он пробирался к себе в спальню по длинному актовому залу, наполненному манекенами в военных формах, отбрасывающих зловещие тени... Первый петербургский морской кадетский корпус располагался в бывшем Меньшиковском дворце. Романтические тени сопровождали художника и в зрелом возрасте. Их образовывала листва большого дерева на стеклянном потолке его мастерской, по ночам виднелась луна, красиво и таинственно освещавшая ночное пространство.

Наверное, это совпадение, но Алексеев, уже в славе, иллюстрировал, используя именно этот мотив, «Образы Луны» Андерсена. Свобода формы и оригинальность фантазии восхитили художника в цикле сказочных миниатюр Андерсена. Образы Луны воплотились в бесконечную игру света и тени, в переливы серо-чёрных оттенков всего сущего, которые рождали наблюдения и его уникальное воображение. В этой бесподобной книге запечатлены не только «лунные» впечатления. В ней многое из того, что Алексеев пережил сам. В первую очередь — воспоминания о Босфоре, о бухте Золотой Рог.

В «Образах Луны» действие вечерних историй, о которых повествует Луна поэту, часто разворачивается на берегу реки или моря, вблизи водной глади, трепетно отражающей происходящее. Восемь офортов в цикле Алексеева связаны с водой. Офорты построены на играх с туманным пространством, зыбкими силуэтами гор, плывущими чёрными силуэтами лодок, кораблей, ковчега. Особенно впечатляют безлюдные пейзажи, наполненные романтической недосказанностью, и призрачно-невесомый лебедь, словно выплывающий из сказочного царства как наваждение, как видение.

Не малую роль в жизни Александра Алексеева сыграл театр. Оказавшись в Париже в начале 1920-х, он был одно время подмастерьем у модного сценографа Сергея Судейкина, отбывшего вскоре в Америку, работал помощником-декоратором в авангардных театрах Жоржа Питоева, Комиссаржевского, француза Жувэ.

Питоев интересовал его как ученик Всеволода Мейерхольда, которого наш Алексеев почитал великим реформатором театра и считал, что именно Мейерхольду он обязан своим «увлечением зри-

тельной новизной». Он и женился на характерной актрисе питоевского театра, прелестной Александре Гриневской, заинтересовавшей самого Станиславского.

Из тридцати двух рассказов Луны у Андерсена пять посвящены театру — он был его страстным поклонником. В одном из сюжетов, выбранным Алексеевым, мы видим Полишинеля в исполнении Мейерхольда. Это его носатый профиль, его долговязые артистичные руки. Безответно влюблённый Полишинель трагически преклонил колено на уединённом ночном кладбище перед могилой Коломбины. В чёрно-белом пространстве крупно светлым пятном — костюм, колпак, башмак с пушистым помпоном. Цветы в руке черны от горя. Нервные длинные пальцы раскрыты в мольбе, обращённой к Месяцу.

В одной из иллюстраций Алексеев вновь соединил темы театра и смерти. Вечер завершается самоубийством актёра и его безлюдными похоронами. Композиция построена на рифмовке цветовых пятен и на лаконичном контрасте чёрной лошади и чёрного колеса, зарешёченных окон погребального катафалка и больших проёмов с белыми решётками и входной аркой театра. Художник, развивая мысль датского сказочника, словно говорит: неудачный актёр из искусственного для него пространства сцены перебрался в столь же далёкое от жизни пространство катафалка. А вокруг — природа утверждает естественную жизнь по совсем иным законам. Крохотные мерцающие пятнышки-листочки цветущего дерева освещены лунным светом. Вертикально падает тень от высокой травы...

Алексеев был особенно чуток к природной игре теней в лунном свете. «Непостижимые фигуры, двигающиеся медленно, проникающие друг в друга, как те, что я наблюдал в потолочном окне моей студии в виде тени от листвы, залитой лунным светом...»

Среди нередко холодноватых эстетских композиций есть в «Образах Луны» несколько работ иного характера. В них заметно особое, тёплое, лирическое отношение к образу ребёнка, маленькой девочки. Он возникает трижды: девочка и курица — милое, круглое детское лицо с чёрными опущенными ресницами и куриный клюв; на фоне дерева — испуганный ребёнок, по диагонали, во весь рост; в тёмной комнате нарядная девочка в кресле с доверчиво растопыренными пальчиками.

Не видно ли в этом проявление чувства Алексеева к маленькой дочери Светлане, ощущение собственной отцовской вины? Художник считал, что был недостаточно внимателен к ней, особенно после развода с матерью, и уже в преклонном возрасте просил у шестидесятилетней дочери, тоже художницы, прощения: «Я был плохим отцом тебе, дочка! — его глаза наполнились слезами. Я взяла его руку

в свою и сказала: «Я так никогда не думала, ты сделал мне самый драгоценный подарок: ты научил меня работать».

Мотив дороги также важен для этого цикла картинок Алексеева и историй Андерсена. Дорога понималась ими как символ жизненного пути человека, особенно сильно это прозвучит в работах художника к трём русским романам. Но и здесь эта тема очевидна. Андерсен своим путешествиям по странам Европы и даже Востока посвятил немало увлекательных страниц, а в сказках и историях трансформировал их в философские притчи. Алексееву, дважды обрекавшемуся на вынужденную эмиграцию (в Париж из-за революции и в США из-за Второй мировой войны), пришлось пережить в нежелательных скитаниях немало невзгод.

В годы Гражданской войны он преодолел 300 километров зимнего пути с группой таких же юнцов с санным обозом от Уфы через Оренбург (30 августа 1862 года здесь родился его отец Алексей Павлович Алексеев, потомственный дворянин Оренбургской губернии) до Транссибирской железной ветки, а потом через всю Сибирь и Дальний Восток мучительно добирался до Владивостока. Оттуда — через Китай, Японию, Индию, Египет — в Европу. За весь этот путь, полный драматических потрясений, вплоть до испытания цингой, обморожением, голодом, нищетой — он «тысячу раз избегал смерти», видел, «как человек корчится на земле с пулей в животе».

Даже в эти трагические дни молодой человек, подобно миллионам русских дворянских мальчиков, нанизывавший до революции свои «юные надежды как игрушки на ёлку», смотрел вокруг глазами художника. Юный Александр воспринимал обрушившиеся на него испытания как ступени необходимого для творческого человека духовного роста: «Я не думал, что наш исход — это несчастье. Напротив, я считал, что это исследовательское путешествие и, значит, подарок судьбы. Я с любопытством наблюдал неизвестный мне мир, от которого ограждало меня изнеженное воспитание. Как я жалел, что не могу писать красками! Не желая прерывать своё обучение, я изобрёл следующее упражнение: надо было перечислить в уме всевозможные варианты смешения красок для изображения светлого и тёмного, как будто я уже написал все эти мои деревни. Я наблюдал, как сталкиваются, отражаются и проникают друг в друга световые лучи, посылаемые двумя необъятными поверхностями — небом и снегом, и локальными — деревянными стенами цвета грифельной доски и золотистыми кучами навоза. Бледные животы домашней скотины светлели, отражая покрытую снегом почву. Свет, размышлял я, как звук, что отражался когда-то эхом в рижских дворах-колодцах».

В 1920 году он покинул свою страну на корабле, уходившем из

Владивостокского порта.

В цикле к «Доктору Живаго» художник воскресит свои впечатления от взбаламученной революцией России и потрясёт всех точностью Пастернака.

Дорога для своеобразных романтиков Андерсена и Алексеева неизбежно завершается либо крахом (как у актёра-самоубийцы), либо триумфом. В изысканном офорте, посвящённом триумфальному возвращению друга Андерсена, скульптора Бертоля Торвальдсена из Италии на родину, Алексеев мастерски обыгрывает силуэты людей, восторженно машущих руками, отражение в воде праздничной иллюминации, колючие тени остроносых лодок. Пятна и силуэты образуют пышный венок прихотливой формы под тёмным небом, нависшим над водой. Парадно мерцают призывно освещённые окна вдали.

Алексеев жил в США, когда в оккупированном немцами Париже в частном издательстве «Максимилиан Вокс» вышла на французском языке книга Андерсена под названием «Образы Луны», впрочем, сам сказочник назвал её «Картинки без картинок». При переводах на русский название тоже претерпевало изменения. Французские издатели сообщали, что «процесс печати на печатных прессах завершён в Париже во вторник 5 мая 1942 года». Пафос уведомления был не случаен.

Издание — библиофильское, роскошное. Во Франции подобные книги вошли в моду в 20-30-е годы XX столетия. Их относят к раритетным, издаваемым обычно тиражом в несколько сотен, а то и десятков экземпляров, нынче на книжных аукционах они стоят бешеных денег.

«Образы Луны» вышли тиражом в 1080 экземпляров, они есть у коллекционеров в России (у петербуржского собирателя М. Башмакова, у москвича Б. Фридмана, увлечённого творчеством Алексеева и организовавшего осенью 2011 года в Государственном литературном музее выставку его работ, у швейцарского коллекционера Оливера Местелана, создателя международного фонда «Art ex east», открывшего свои отделения в Петербурге и Баку). В Ницце мы видели у Ренэ Герра 639-ый экземпляр нумерованного библиофильского издания.

В большом картонном футляре лежат несброшюрованные листы, объединённые в 17 тетрадей, по 12-18 страниц каждая. Бумага непривычная, она похожа на чуть шершавую плотную хлопчатобумажную ткань (впрочем, у неё есть название — для знатоков это «Chiffon de Lana a la Forme»). Края такие можно видеть в старинных старопечатных книгах — не гладко обрезанные, а лохматые. На отдельных светлых полосах с большими полями покоятся — иначе не

скажешь — алексеевские офорты с акватинтой.

Рассматривая их один за другим, мы чувствовали, как входим в «магическое царство Александра Алексеева». Изображения были похожи на сновидения. Один образ мог перекрывать другой, фигуры раздваиваться, таять, исчезать в туманной дымке. Тени, напротив, были резкие, выразительные, отражения призрачных силуэтов с расплывчатыми контурами становились более вещественными, чем реальные предметы.

Похоже, художник испытывал психоделическое состояние, находясь под завораживающем воздействием лунного света, который приводит его к неизбежному переживанию краткости земной жизни.

Андерсен на портрете Алексеева был столь же ирреально таинственным. Вот она «визитная карточка» Алексеева, сказали мы себе, не будучи тогда знакомы с его другими произведениями.

Однако надо сказать, что в оформлении «Образов Луны» Алексеев отдал дань и геометрическим формам кубизма. Каждую андерсеновскую главку сопровождают заставка и концовка, состоящие из условных двухцветных геометрических композиций, связанных с текстом. Текст набран крупно, курсивом, без красных строк. Вместо абзацев использованы голубые или розовые серпики луны, колонцифры того же цвета. Сообщение об окончании тиража даётся прихотливо — как треугольная шрифтовая композиция.

Это была далеко не первая книга Алексеева. Первой стали иллюстрации к «Носу» Гоголя, которые художник гравировал в 1926 году. Они не были изданы. Как и «Записки сумасшедшего» 1927 года. На деревянных досках он выгравировал ещё несколько циклов к произведениям французских писателей, изданных и тут же обративших на себя внимание. Ксилографии научился сам и, как говорят знатоки, внёс в неё нечто новое. Он не умел иначе работать. И как сам формулировал, что всегда хотел «сделать лучше, чем он может сейчас».

У кого же учился Алексеев, какую школу он прошёл? На эти вопросы нет прямого ответа. Он начал рисовать в четыре года, и уже тогда его «интересовала передача движения обобщённых фигурок, нарисованных всего несколькими линиями». «К семи годам я уже успешно изображал бегущих лошадей в профиль» и ещё — оловянных солдатиков. «Элегантность их внешнего вида и поз, которые немецкий мастер (из Нюрнберга — **авт**.) так хорошо сумел передать, были для меня великолепной школой рисования...».

Алексеев благодарно вспоминает кадетского учителя чистописания и рисования: тот учил рисовать по воображению, развивал зрительную память и поощрял его наброски в тетрадях, увлечение

иллюстрацией. Позднее он копировал слепки классических скульптур в Музее изящных искусств по академическим правилам, от которых впоследствии сознательно избавлялся.

Излагая биографию художника, обычно указывают, что он занимался в художественной школе Бурлюка в Уфе, куда в 1917 году приехал к своему родному дяде по матери Анатолию Полидорову, вскоре расстрелянному пришедшими красными. Алексеев к своему образованию отнёсся весьма иронично, назвав его посредственным. Он вспоминал: упражняясь на улице в рисовании лошадей, увидел объявление о «Школе изящных искусств под покровительством и шефством знаменитого художника Давида Бурлюка».

Заплатив за «весенние занятия» 300 рублей, которыми его снабдил дядя, юноша отправился на занятия, где обнаружил двух молодых людей, «трогательную особу с тёмно-синими глазами и некоего поручика, отважно мазавшего повсюду фиолетовые тени» — «шефство Бурлюка было простеньким предлогом для рекрутирования учеников...». Самого Бурлюка, судя по всему, он не видел.

Вскоре, «вследствие очередной смены режима (очевидно, прихода белых — **авт.**), школа навсегда закрыла свои двери», а бывший студент был «зачислен в состав полка, насчитывавшего всего-навсего двести человек». На восемнадцать месяцев художник погрузился в «кровавый хаос гражданской войны».

Рисовал он всегда, где и когда только мог. Иначе не привёз бы в Каир рисунки и не показал бы их Билибину, а тот не дал бы ему рекомендацию, с которой Александр и прибыл в Париж к Судейкину в 1921 году. Можно его назвать самоучкой? Слишком простенькое определение. Алексеев — безусловный русский самородок. Самостоятельно изучив почти все виды техники — резцовую гравюру, офорт, акватинту, литографию — он стал одним из самых оригинальных, блистательных гравёров XX века, выразив себя как художник книги и анимации.

Он ушёл из театра, почувствовав себя всего лишь исполнителем, но захватил с собой заинтересовавшие его методы театрального монтажа. Страстный книгочей, надолго погрузился в художественные образы, созданные в слове воображением писателя. Его основные книжные работы выстраиваются в единый ряд, создавая мистический мир Александра Алексеева. Будь это Гоголь, пушкинские «Пиковая дама» и повести Белкина, Андерсен, Толстой, ну и, естественно, Достоевский, Гофман, исполненные в самых разных техниках, — мы, идя за Алексеевым, прочитываем в них то глубоко важное для познания сути земного бытия, что содержится в классической прозе и поэзии.

Ну а восхищению самой формой, разнообразием владения ею

несть числа. Как-то дочь Светлана спросила, какая цель у художника. «Удивлять», — сказал отец. Удивлять своих зрителей он не переставал до конца дней.

Его «Братья Карамазовы» вызывают некий эстетический шок. Российские читатели смогли увидеть эту работу относительно недавно. В 2008 году петербургское издательство «Вита Нова» выпустило двухтомник, где помещено 200 работ Алексеева. А впервые он вышел в Париже в 1929 году в раритетном библиофильском издании, так будут позднее изданы «Образы Луны» Андерсена. Несброшюрованные листы, в футляре, тиражом всего 118 экземпляров. Работу над оттисками Алексеев осуществлял сам. В выходных данных указано, что это литографии.

Работал он, как всегда, исступлённо.

Разглядывая «Братьев Карамазовых», мы погружаемся в пространство, полное взрывов страсти, напряжения, острых и неожиданных ракурсов. Захватывающее зрелище! Не знаешь, какое изображение ждёт тебя дальше — Алексеев непредсказуем. Порой экспрессия достигает такой силы, что становится агрессивной. Тут трагедия повседневности, волновавшая Алексеева философия жизни и смерти, знаки неумолимой судьбы и Божественного провидения. Достоевский помог художнику найти выразительные символы неумолимо уходящего в прошлое традиционного мира дворянских гнёзд. К нему Алексеев, получивший обычное для людей его круга воспитание, успел прикоснуться.

В работах к «Братьям Карамазовым» нередко возникает образ птицы. Внимателен был к ним художник и в реальной жизни. В его мемуарах, озаглавленных «Изгнание», читаем: «Птицы вернулись с юга. Только они и праздновали весну: не слышны были больше голоса манифестантов...».

В литографиях Алексеева к «Братьям Карамазовым» белая горлица летает над затерянным в лесах монастырём, словно символ Святого Духа. Чёрной ворон, оборачивающийся символом близкой и неизбежной смерти, возникает в иллюстрации к части первой романа — «Истязание солдата-христианина». В сцене суда тот же крылатый образ вдруг преображается в двуглавого орла — символ российской государственности.

Важен для художника и повторяющийся мотив креста, постоянно возникающего то из перекрестья оконных рам, то из беспорядочно разбросанных кладбищенских, надмогильных памятников. Он подчёркивает христианское мироощущение большинства персонажей. Лейтмотивом проходит через алексеевские листы и образ-символ решётки — традиционного для России знака беды. Недаром популярная русская поговорка гласит: от тюрьмы и от сумы не зарекайся.

Исследователи часто подчёркивают знаковую роль образа рук в иллюстрациях Алексеева. Сразу пятнадцать рук ощупывают растерявшегося героя в литографии к третьей части романа — «Дмитрия обыскивают» (подпись к иллюстрации принадлежит самому художнику). Нередко руки существуют в работах почти самостоятельно. Тут очевидны отголоски знакового ряда русской иконописи (где издавна существовал культ Божьей Матери-троеручицы, перста Божьего и Божественной длани), а также — сюрреалистических новаций в европейском искусстве, сформулированных в популярном в то время в Париже манифесте Аполлинера.

Откровенно сюрреалистичен и решён как пластический гротеск образ субъекта в пиджаке и с галстуком-бабочкой, зажавшего между толстых колен кудрявую головку трогательного малыша, над чьим оголённым задом занесена рука с прутьями. На широких плечах мужчины вызывающе отсутствует голова. Художник озаглавил эту иллюстрацию ко второй части романа — «Истязания детей». В иллюстрации «Допрос» к третьей части героя окружают шесть зловещих фантастических яйцеголовых персонажей, лишённых лиц, хотя на гладких пустых овалах двоих из них и красуются очки.

В женских образах Алексеев подчёркивает таинственную, манящую инфернальность или откровенную, нередко даже эпатирующую зрителя чувственность, в мужских — опасную агрессивность и самоупоённость светских героев.

Чего стоит одна только жестокая сцена «Дмитрий избивает ногами своего отца» из первой части романа! Кажется, всё пространство, как в работах немецких экспрессионистов, пульсирует ненавистью и брезгливостью вокруг болезненно изогнувшегося с уродливой гримасой отвратительного коротышки. Пять пар остроносых сверкающих чёрных ботинок замыкают композицию в равнодушно-враждебный круг. В то же время в образах монахов и старцев («Старец Зосима») — молитвенная сосредоточенность, мягкая созерцательность, напряжённая самоуглубленность.

Особый интерес европейских интеллектуалов к русской классике объясняется стремлением разгадать волнующую их не одно столетие тайну русской души. Художник увидел её в неизменной двойственности русского человека: в душе его постоянно борются светлые и тёмные силы. Чёрное (в многочисленных градациях) и белое нередко предстают как две противоборствующие стихии, воплощающие для Алексеева мягкую уязвимость, самодостаточность Добра и наступательную изощрённость многоликого Зла. Единственная иллюстрация, изображающая распятие, имеет двусмысленное название — «Христос (Великий инквизитор)». В цикле иллюстраций постоянно появляются двойные портреты. Герои писателя

как бы отражаются друг в друге — «Сговор (Лиза и Алёша)», «Алёша и Грушенька», «Грушенька и Катерина Ивановна».

Живя в России, юный художник любил рисовать лошадей. В Париже — гоголевская тройка воспринималась им уже как символ безудержной удали русского национального характера («какой русский не любит быстрой езды?»). Этот образ трижды возникает в его работах к «Братьям Карамазовым» — в уже упоминавшейся «Истязание солдата-христианина», в гравюрах «Отъезд Дмитрия в Мокрое» и «Приезд в Мокрое» — иллюстрациях к третьей главе романа. Ну что же, Достоевский любил подчеркнуть свою глубинную духовную связь с Гоголем. Во всех трёх литографиях — острый ракурс, придающий кинематографическое движение изображению.

Мистик и символист Алексеев с каждой новой графической работой углублял и разрабатывал свой неповторимый стиль. Его талантливые ровесники, подлинные мастера в это же самое время в советской России, попали в зависимость от политической ситуации и вынуждены были работать под постоянным контролем оголтелой и бдительной критики, любящей выступать в жанре политического доноса. Так, попытавшиеся иллюстрировать в близком Алексееву фантастико-гротесковом ключе художники Борис Покровский и Е. Жак вскоре бесследно исчезают из профессионального круга. В советском искусстве официально разрешалось работать лишь в жёстких рамках одного государственно поддержанного стиля — социалистического реализма, господство которого продлится три десятилетия — с самого начала 1930-х по 1950-е годы.

Видный московский искусствовед Виталий Манин в книге «Неискусство как искусство» (Санкт-Петербург, «Аврора», 2006) точно указывает: «Соцреализм мыслился как единственная форма существования искусства в советской стране, ибо только при таком монополизме он мог выдержать конкуренцию. Ввиду того, что подобный замысел не мог осуществиться без государственной поддержки, художественный мир лишался права выбора и свободы творчества...».

Абсолютная свобода творческого поиска, духовная независимость, пережитые во время Гражданской войны и вынужденной эмиграции страдания дали возможность художнику посмотреть другими глазами на русскую классику. Теперь, подобно В. Ходасевичу, Алексеев ощущал себя её наследником. И, конечно, в ней искал ответы на главные вопросы бытия: что делать? кто виноват? В одной из литографий к четвёртой части «Братьев Карамазовых», документально нарисована сценка октябрьских событий 1917 года — «Будущее глазами прокурора», трактуемое писателем и художником как триумф бесовских сил.

В 1950 году Алексеев предложил в цветных офортах своё про-

чтение великого русского эпоса — «Слова о полку Игореве» — повести о поражении и унижении Руси, за которой мерцают будущие победы. Он неожиданно обратился к скифским барельефам и воссоздал в декоративных офортах брутальный мир древнерусских воинов, активное противостояние славян-земледельцев бурлящей первобытными страстями кочевой стихии половцев.

О достойном будущем для своей растерзанной и униженной большевиками Родине мечтал художник. Он больше не участвует в белом движении, но борьба идей продолжается не менее напряжённо в кругах парижских интеллектуалов — писателей и художников, с которыми постоянно общается Алексеев. И в Европе, увлечённой левыми идеями, горячо приветствующей Маяковского, художник ощущает себя оппонентом модным левым взглядам, поклонником Руси православной, дворянской, знаменитой своими монастырями, православными подвижниками, юродивыми и блаженными, постоянно возникающими в иллюстративных сюитах Алексеева.

Алексеев, подобно Зинаиде Гиппиус, ощущал себя «не в изгнании, а в послании». Он видел свою миссию в том, чтобы приобщить читающих европейцев к важнейшим пластам русской культуры, не смущаясь тем, что его монументальные иллюстративные циклы выходили крошечными «престижными» тиражами (118 экземпляров на французском языке — издание «Братьев Карамазовых», 225 экземпляров — «Повести Белкина» 1930) или годами оставались невостребованными в мастерской художника.

Рядом с русскими классиками Алексеев смог поставить из европейцев только Сервантеса — сделанный им огромный цикл иллюстраций из 120 офортов к «Дон Кихоту» не издан до сих пор.

Надо сказать, что постоянная работа над офортами — с кислотой для травления медных досок в собственной ванной комнате — драматически сказалась на здоровье художника, он тяжело заболел, ему удалили лёгкое.

Меньше, чем за десять лет Алексеев сделал более двадцати раритетных книг, снабжая их большим количеством иллюстраций, в которых никогда не видно уставшей руки. И почувствовал неудовлетворённость. Журналистам он так объяснял неожиданный поворот в своей творческой судьбе: «...я ушёл из книжной гравюры в анимацию потому, что в возрасте тридцати лет почувствовал, что всё больше становлюсь ремесленником, знающим, что он будет делать, уже имеющим репертуар своих трюков, своих понятий, своих концепций книжной иллюстрации или гравюры... Искусство только тогда является искусством, когда оно содержит в себе открытие. Что-то вроде открытия Таити».

Художник впервые свободно вводил в иллюстрации приёмы не

так давно появившегося кинематографа. Его увлекала динамика, движение, статичность иллюстраций его не удовлетворяла. Как найти способ, чтобы пришли в движение эти чёрно-белые пятна и тени? Как передать мимику лица, характерность поз? Он искал новые способы передачи одухотворённого движения.

И вот однажды, неожиданно для близких, попросил Александру Гриневскую, ради него оставившую сцену и занявшуюся иллюстрацией, сходить в соседний магазин и купить там иголки, самые обычные швейные иголки — пятьсот тысяч иголок. Когда Гриневская вторично пришла в магазин, так как иголок оказалось мало, на неё посмотрели как «на сумасшедшую русскую».

У Алексеева родилась мысль из тонких стальных иголок составить экран, на котором можно будет воспроизводить движение: тысячи иголок при неровном их выдвижении образуют задуманные тела на экранной поверхности из мягкого материала. А боковое освещение, когда источник света меняется и двигается, поможет созданию подвижных графических образов, включающих все оттенки от белого до чёрного. Экран их запечатлеет. Словом, рождалось новое анимационное кино, «ожившая гравюра», где одушевлялись, по замыслу Алексеева, «не предметы, а движения». Самоотверженно помогала в этом Алексееву талантливая американка Клер Паркер, ставшая вскоре его преданной женой.

Универсальная одарённость художника позволила ему не только создать своё главное произведение — «игольчатый экран», но и сделать 39 технических изобретений. Профессионалы из мира кино называли Алексеева «инженером и теоретиком французской мультипликации». Его изобретениями с удовольствием пользовались не только европейские кинематографисты, избравшие Александра Алексеева членом Французской кинематографической академии, но и американские аниматоры.

По мнению авторитетного Юрия Норштейна, Алексеев — «один из крупнейших в мире режиссёров-мультипликаторов... первый, кто ввёл мультипликацию в контекст мировой культуры, кто прозрел саму музыкальную стихию мультипликации, музыкальную в самом высоком трагедийном смысле. Его фильмы, снятые во Франции, — «Ночь на Лысой горе» по Мусоргскому (1933), «Нос» (1937) — это не карикатура, не комиксы, а драматическое действие, которым насыщено подлинное изобразительное искусство».

Художник начал работу в анимации не с литературы, а с музыки. Она звучала в его душе с той поры, как он слушал мамину фортепианную игру, читал и засыпал под звуки музыки... Русская фантастика снова позвала его — родная и волшебная стихия, памятная с раннего детства. Ей он и посвятил свой первый фильм «Ночь

на Лысой горе». А потом будет тоже фантасмагорический «Нос».

«Ночь на Лысой горе» вызывала детские воспоминания о матери, исполняющей на фортепьяно своего любимого Мусоргского. Он давно о ней ничего не знал. Андре Мальро, друг и писатель, обещал разыскать её, как только поедет в СССР. Разрешение на встречу пришлось просить у самого Сталина.

В Москве Мальро увидел старую, почти ослепшую женщину, жившую в полной нищете, но сохранившую прежнюю гордую осанку. Передал Мальро Алексееву сведения и о трагически погибшем брате Николае.

Образ матери возникнет в его многодельной сюите к «Анне Карениной». Над этими иллюстрациями художник работал целых шесть лет — с 1951 по 1957 год — и создал 120 офортов с акватинтой. В 1997 году его дочь Светлана Алексеева-Рокуэлл выпустила их альбомом тиражом в 90 экземпляров. Лишь в 2005 году офорты художника появились на страницах двухтомного толстовского романа, изданного петербургской «Вита Нова».

В нашем сознании иллюстрации сливаются с текстом, продуманном и виртуозно разработанным Алексеевым с величайшей, при этом артистической тщательностью. И возникнет Россия, её люди как мираж, как навсегда, навечно ушедшее. С горечью заметит Е. Федотова, составитель и автор сборника «Безвестный русский — знаменитый француз», что Россия останется для него тенью безвозвратного прошлого, «тени заслонят дорогие лица родных и близких, любимый город на Неве, куда он так никогда и не вернётся»...

Призрачные, почти невесомые образы-тени, матово-бледные композиции определят стилистику «Анны Карениной». Это подлинно поэтическая, вольная сюита, не претендующая на бытовую и костюмную точность. Кружатся в танце женские фигуры в фижмах, белеющие под огромными, бледно светящимися люстрами, взмахивают косами белеющие в утреннем свете силуэты мужиков; всё зыбко, эфемерно — вот-вот исчезнет.

И белые кресты, словно с кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, ритмически многозначительно сопроводят мчащийся куда-то поезд... Его ещё нет на форзаце, предваряющем весь цикл, — тут рельсы и прозрачные движущиеся тени, призраки, колдующие над шпалами. Безлюден накрытый стол со стеклянными бокалами, наполненными вином. Пуст ряд изогнутых кресел-призраков, дважды повторённый. Призрачны жокеи на несущихся вскачь прозрачных лошадях.

И неспроста открывает вторую часть романа в первом томе витиеватая хрустальная люстра с мерцающими свечами, а четвёртую — с уже обгоревшими, почерневшими... Для седьмой части второго тома останется одна настольная свеча в подсвечнике, заканчива-

ющая свою жизнь чёрной струйкой горького пламени... Негасима лишь свеча самого творца этих таинственно-мистических фантазий Александра Александровича Алексеева.

Размышляя над «Анной Карениной», Алексеев писал: «...я старался вникнуть в тот замысел, какой был у автора произведения, тема которого далеко выходит за рамки истории про супружескую неверность».

Александр Александрович так понимал глубокий смысл книжной графики: «Произведение искусства представляется мне некоей кристаллизацией отдельной части ...хаоса, неким упавшим с неба аэролитом. Необходимо большое усилие воли, чтобы вызвать такую кристаллизацию. А технический приём — одна из внешних причин, которая мощно влияет на эту кристаллизацию».

Не сразу решился Алексеев применить игольчатый экран в книге. Потребность возникла трижды — первым был «Доктор Живаго» Пастернака, затем «Игрок», «Записки из подполья» Достоевского. В конце 50-х интеллектуальный Запад зачитывался романом из страны, находившейся за железным занавесом. Успех его превзошёл бешеный интерес к «Лолите». В результате Нобелевскую премию получил Пастернак, а не ожидавший её Набоков.



Александр Алексеев

В 1959 году известное парижское издательство «Галлимар» выпустило «Доктора Живаго» с иллюстрациями Алексеева тиражом в 10 250 экземпляров, вслед за ним — «Пантеон букс» в Нью-Йорке. Мы не видели этот алексеевский шедевр до тех пор, пока всё та же «Вита Нова» не издала роман в Петербурге в 2007 году со всеми 202-мя работами мастера.

Послушаем самого Алексеева. «Я был потрясён, прочитав роман Пастернака. Возникло совершенно реальное чувство, что мой пропавший без вести старший брат после сорока лет молчания прислал мне письмо, написанное на шестистах пятидесяти страницах. Всё, о чём он рассказывал, было известно мне: выражения, чувства, мысли были моими, интимными. Я ни с кем в то время не мог поделиться. Кто поверил бы мне? В этом послании старший брат меня наставлял, подавал пример мужества: говорить правду! Главное — не лукавить! Стараться избегать пышных фраз, красоту подчинять

факту.

...С тридцати лет я иллюстрирую классику в роскошных изданиях. В этот раз мне не терпелось сделать работу, которая могла бы стать достоянием многих людей. Каждая строчка предлагала множество доподлинных образов Революции — такой, какой её увидели современники. Однако этих свидетелей становится всё меньше... В годы Гражданской войны я по воле судьбы жил в тех же краях, что и герои Пастернака, и моя цепкая фотографическая память могла бы воссоздать до мельчайших подробностей этот сорокалетней давности фильм. Фильм об исчезнувшем мире, об утраченной культуре, о пережитой трагедии. Именно фильм, думал я, моя вторая профессия, поможет решить задачу.

У меня уже был опыт оживления гравюр с помощью игольчатого экрана. Я решил его использовать в иллюстрациях, представляя события, действия, сцены в виде кадров. Объединяя серию схожих образов в эпизоды фильма того времени и пространства, в котором жил доктор Живаго. Итак, что у нас было общего с Живаго, какой жизненный опыт я с ним разделил?

...Сцены, описанные в «Пятичасовом скором», пробежки за кипятком на стоянках — это часть моего детства. Новогодняя ёлка — она была в каждом доме. Реки — каникулы проводили на берегах. Мундиры, в зрелом возрасте все их носили. Весна, 1917 год, разворот войны, поезда, забитые дезертирами, — я в них ездил со всеми. Пассажиры на крышах? Мы потеряли одиннадцать человек за пять дней... Товарняки с пассажирами, я их познал позже. Мне так хотелось показать эти вагоны изнутри, с их маленькой печкой и той обыденной жизнью, которая там текла!... Пастернак отводит железнодорожникам значительное место в своём романе.

Проще будет назвать, что я не разделил с Живаго, — его страх за жену и ребёнка (я был тогда слишком молод), но я это чувство узнаю позже во Франции, во время оккупации».

Какие интересные, далёкие от нас впечатления от текста эмигранта, давно покинувшего Россию...

А теперь впечатления Бориса Леонидовича Пастернака об иллюстрациях Алексеева, изложенные его сыном Евгением. «Он сообщил нам (сыну и его жене — **авт.**), что в первый момент был шокирован непривычным характером рисунка, но по мере медленного рассматривания и вживания в этот мир, увидел ритмически развёртывающиеся серии начальных слов текста и то же — в других местах, где изменения композиции рисунка соответствовали ходу повествования. Достигнута передача движения, близкая к замедленной киносъёмке. Алексеев сосредоточился на ключевых сценах повествования... Его взволновали многофигурные сцены похорон,

разгона демонстрации, очистки железнодорожных путей и другие, где следующие друг за другом картины передают временную постепенность и широкомасштабность действия. Художественность и технические способы раскрытия текста у Алексеева с неожиданной стороны вдруг напомнили ему близкие с детства иллюстрации к «Воскресению» Толстого его отца, художника Л.О. Пастернака».

На форзаце книги, которую Борис Леонидович получил из Парижа, была следующая дарственная надпись (в переводе с французского): «Борису Пастернаку этот первый отпечатанный экземпляр как свидетельство восхищения и любви. По поручению и от имени издателя, иллюстраторов, переводчиков Жаклин де Пруайяр, Париж, 16 октября 1959».

В ответном благодарственном письме Пастернак написал об иллюстрациях Алексеева, поразительно подметив их редкую стилевую особенность и не только: «Я не гожусь, чтобы судить о современном рисунке. Но мне кажется, что в книге я нашёл иллюстрации, выполненные в манере (или даже с мастерством) Энгра или Шассерио, это может показаться странным и старомодным. Алексеев отразил именно дух книги. Всё, что было сложного или таинственного (например, сон в главе «Против дома с фигурами»), схвачено и выполнено чудесно. Он делает гравюры даже из дыхания, из построения фразы, как например, в трёх двойных иллюстрациях в начале: «мы шли и шли, и пели вечную память...» Он мне напомнил обо всём, что было русского и трагического в нашей истории, что я забыл и недооценил...»

Александра Алексеева мало назвать «конструктором мерцающих форм». Это блистательно одарённый русский европеец, мистик и философ, создатель собственного русского мифа, давший самостоятельные изобразительные версии великих книг. Он опирался на слово, музыку и кинематограф, чтобы проникнуть в тайны человеческой души и говорить с читателем о самом главном — о Боге, о любви и смерти.

Даже своей смертью этот оригинальный человек сумел всех удивить. В восемьдесят один год 9 августа 1982 года в своей парижской студии на авеню Жана Мулена он ушёл из жизни по своей воле. Причины — глубоко личные: смерть 3 октября 1981 года любимой жены и постоянной помощницы Клер Паркер — годом раньше супруги отметили сорокалетие совместной жизни и напряжённого сотворчества (как оператор и ассистент-аниматор Паркер участвовала в съёмках всех, без исключения, фильмов Алексеева). Расстраивало мастера и отсутствие средств на реализацию новых замыслов.

Над феноменом самоубийства впервые Алексеев задумался ещё в отрочестве, живя в России, когда свёл счёты с жизнью его стар-

ший брат Владимир. Затем возвращался к этим мыслям в Париже на рубеже собственного тридцатилетия и гораздо позже — когда иллюстрировал «Образы Луны» Андерсена и «Анну Каренину». Сорок третью литографию к четвёртой части «Братьев Карамазовых» художник так и озаглавил — «Дмитрий хотел покончить с собой». Итак, свою свечу Александр Алексеев погасил сам.



А. Алексеев и Клер Паркер 1943 г.

24 августа 2011 года в выставочных залах Литературного музея «Дом И.С. Остроухова» была открыта выставка работ А.А. Алексеева из собрания Бориса Фридмана «Конструктор мерцающих форм». В рамках выставки были представлены одноимённый альбом, выпущенный петербургским издательством «Вита Нова», «Анна Каренина», «Братья Карамазовы» и «Доктор Живаго» с иллюстрациями Алексеева, а также монография авторов этой статьи «Сказки Андерсена и четыре русских художника-иллюстратора» («Вишера», 2010), где впервые полностью опубликованы иллюстрации Алексеева к обширному циклу датского сказочника «Образы Луны», изданному в Париже в 1941 году и давно ставшему библиографической редкостью. Выставка была приурочена к 110-летию со дня рождения художника.

Безвестный русский стал великим русским.

В собрании французского слависта Ренэ Герра хранится пять экземпляров редчайшего издания Э. По «Диалоги между Монос и Уна» («Colloques entre Monos et Una») с иллюстрациями Алексеева, выпущенного в Париже в 1929 году на французском языке тиражом 55 экземпляров. У Герра есть экземпляры всех книг, иллюстрированных Александром Алексеевым во Франции, одна оригинальная графическая работа, а также письма и автографы. Последние две книги — «Маленькие поэмы в прозе» — Charles Baudelaire «Petits Pomes en prose», изданные в Париже в 1934 году тиражом 148 экземпляров, и «Сказки» Э.Т. Гофмана — E.T. Hoffmann «Contes», выпущенные там же в 1960 году тиражом 475 экземпляров, приобретены в сентябре 2011 года.

Архив художника, в том числе 450 его писем — переписка с выдающимися французскими писателями, хранится в собрании Оливера Местелана в Швейцарии, обладателя нескольких десятков станковых работ Алексеева, выполненных гуашью. Сегодня в организованном Оливером Местеланом фонде «Art ex east» три тысячи

картин русских художников. В ближайшее время собрание Месталана разместится в одном из старинных швейцарских замков в десяти километрах от Женевы, где работам Алексеева будет отведён отдельный зал.

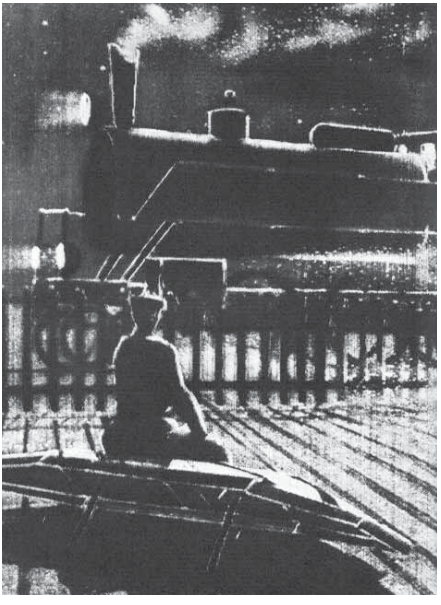
Когда всматриваешься в особенности линии Алексеева, обнаруживаешь в ней нечто, объединяющее его с графической манерой другого знаменитого русского художника, закончившего свою жизнь так же, как Алексеев, во Франции, Бориса Григорьева (1886-1939), ценившего в рисунке два качества — «одержимость линией» и «литературность». В оригинальном эссе «Линия» Григорьев рассуждал: «Сдвиг, пропуск, ироническая гипербола делают линию мудрой. Линия — самое минимальное средство в руках художника. Вот почему она требует и «культуры» глаза и изобразительной воли. Линия есть ближайший и скорейший изобразительный способ в творчестве... Искусство «глаза», искусство «видеть», обладая линией, через неё освобождается от формы немедленно. Её творческий процесс краток, как сама молния в сознании глаза».

Знавший лично Алексеева художник Михаил Шемякин увидел в работах признанного мастера особую питерскую черту — «лёгкую сумасшедшинку», отмечая деликатность в подходе иллюстратора к литературным произведениям: «В его иллюстрациях подкупает именно нежелание навязывать свои воззрения. При этом художник остаётся самим собой: взгляд на мир совершенно прозрачный и чёткий, ясно выраженный, практически отсутствует гротеск. Иллюстрации Алексеева раскрывают дух произведения и одновременно не давят! Именно это — деликатный и тончайший фактор, присущий только таким мастерам, как мой любимый Фонвизин, как Митрохин, Фаворский. В этом ряду наиболее значительных и действительно больших мастеров книжной графики стоит и Александр Алексеев. Уникальность его творчества очевидна».

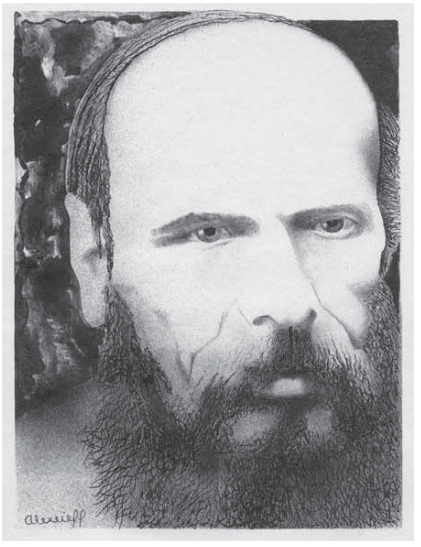
Побывав на открытии выставки художника в Государственном литературном музее 24 августа 2011 года (а до этого посетив галерею при Петропавловской крепости в Петербурге, где та же выставка работ Алексеева из коллекции Бориса Фридмана была показана частично), Герра так прокомментировал хорошо знакомую ему графику Алексеева: «Именно такой, в иллюстрациях Александра Алексеева, французская культурная публика открыла для себя русскую классику. Каждый просвещённый француз знает одну, а то и две-три книги, проиллюстрированные Алексеевым. Русские художники — Сомов, Добужинский, Фёдор Рожанковский, Иван Лебедев — внесли большой вклад в книжную иллюстрацию во Франции. Но Алексеев — из великих, у него свой почерк, который рождает совершенно новое восприятие книги».

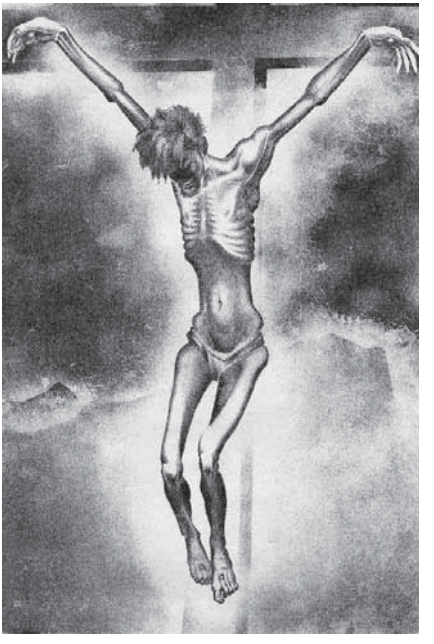


Александр Алексеев. Иллюстрации к роману Б. Пастернака «Доктор Живаго»









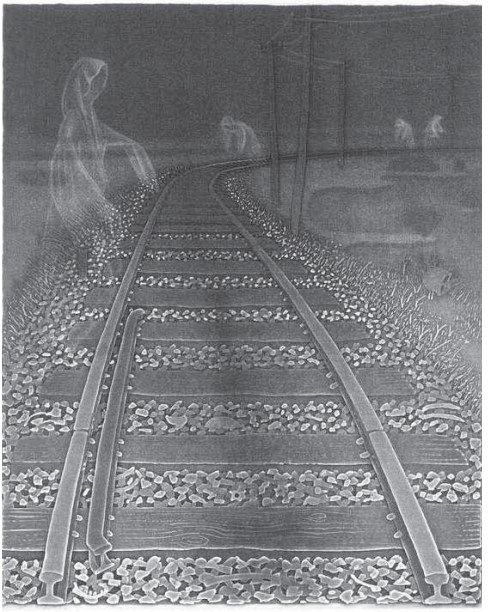
Александр Алексеев. Иллюстрации к роману Ф. Достоевского «Братья Карамазовы»











Александр Алексеев. Иллюстрации к роману Л. Толстого «Анна Каренина»

